

Urbi: *Литературный альманах. Выпуск четырнадцатый*

ОПЫТЫ

В

стихах и прозе

Санкт-Петербург, 1997

*20 октября 1997 года
в Санкт-Петербурге
писателю
Самуилу Ароновичу Лурье
была вручена
ежегодная Литературная премия
имени
Петра Андреевича Вяземского,
присуждаемая
редколлекцией альманаха «Urbis»
за лучшие произведения,
отвечающие идеалам
художественного аристократизма
и высокого дилетантизма*

из urbi возгорится orbi

Urbi

*Литературный альманах
издаваемый
Владимиром Саговским
по редакцией
Кирилла Кобрина и Алексея Пурина*

выпуск четырнадцатый

Нижний Новгород • Санкт-Петербург

ОПЫТЫ

В

стихах и прозе

Санкт-Петербург, 1997

ББК 84. Р2

У 69

У 69

Urbi: Литературный альманах. Выпуск четырнадцатый:
Опыты в стихах и прозе. — СПб.: АО «Журнал
„Звезда“», 1997. — 216 с.

ISBN 5—7439—0034—5

Почтовые адреса редакции:

Россия, 198005, СПб., а/я 69;
Россия, 603043, Нижний Новгород,
проспект Кирова, 4, кв. 9, Кириллу Кобрину

Набор *А. Г. Алимкулова*
Компьютерное макетирование *Н. П. Егоровой*
Корректор *Ф. Н. Аврушина*

Лицензия на издательскую деятельность
ЛР № 062572 от 29 апреля 1993 г.

Издательство «Журнал „Звезда“»
191028, Санкт-Петербург. Моховая ул. д. 20.

Подписано к печати 10.12.97. Формат 60х90/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 13.5. Тираж 300 экз. Заказ № 330

Типография АООТ «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».
195220, Санкт-Петербург. Гжатская, 21.

ISBN 5—7439—0034—5

© Кирилл Кобрин, составление, 1997
© Алексей Пурин, составление, 1997
© Владимир Садовский, составление, 1997

**ОПЫТЫ
В СТИХАХ И ПРОЗЕ**

Самуил Лурье

**ИЗ РЕЧИ НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ВЯЗЕМСКОГО**

Санкт-Петербург, 20 октября 1997 года

Мне приятно получить эту премию, во-первых, потому, что я очень уважаю людей, которые мне ее присудили, — Владимира Саговского, Алексея Пурина, Кирилла Кобрин; во-вторых, мне нравится Петр Андреевич Вяземский. Он нравится мне не только потому, что он замечательный русский писатель, но и потому, что он обладал рядом недостатков, которыми обладаю и я. Так, например, будучи на восьмьюшку шведом, наполовину ирландцем, он представлял, подобно мне, то существо, которое, с точки зрения патриотической антропологии, называется химерой. Он был типичная химера, и при этом один из самых русских писателей на свете. Во-вторых, он писал, подобно мне, изредка и кратко. В-третьих, не знаю уж, подобно ли мне, но иногда ему удавалось прорывать форму и написать — может быть, даже только один раз — но все-таки ему удалось написать такую строфу, которая совершенно ни на что не похожа в русской поэзии, в том числе и на его собственные стихи. Строфу, долгую, как вздох, как зевота, — и передающую что-то очень важное в нашей жизни:

*Бесконечная Россия,
Словно вечность на земле:
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и версты нипочем,
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.*

Тем не менее человек, получающий такую премию, должен отдавать себе отчет в том, что она дана, как сказано в дипломе, «за художественный аристократизм и высокий дилетантизм». И я долго думал, имею ли я право на эту премию. Мне кажется, что отчасти, только отчасти, но все-таки имею. Настоящая премия за высокий профессионализм и художественный демократизм, — такая премия называлась бы, конечно, премией имени Фаддея Венедиктовича Булгарина, — вот ее я, наверное, не мог бы получить и не мог бы принять. А что касается дилетантиз-

ма... — я думаю, да. И не только потому, что, как я когда-то подсчитывал еще при советской власти, литературным трудом после первых двадцати лет литературной работы я зарабатывал, кажется, в среднем около 25 рублей в месяц. В этом смысле и все русские писатели фактически были дилетанты, — а если мы вспомним двоих-троих людей, ну, максимум, десятерых, которые жили своим пером, как Белинский, как Писарев, как Достоевский или Глеб Успенский, — очень скоро выяснится, что только несколько лет это им удавалось, а потом, вообще-то говоря, они погибали и сходили на нет. При советской власти писатели жили на гонорары, но как бы это сказать, соержанка — это все-таки не настоящая профессионалка, будем справедливо.

Я дилетант, потому что пишу о предметах, подлежащих ведению так называемой науки, — так называемой, говорю я, потому что, при большом количестве настоящих ученых в разных вспомогательных дисциплинах, история литературы в России, особенно в советской России, живет слепыми, ложными схемами. Что-то вроде того, что знает каждый из нас — что литература развивалась путем превращения пассивного романтизма в активный романтизм, активного романтизма в критический реализм, критического в социалистический и так далее, — поэтому всю жизнь приходится с этой наукой как бы спорить, и не то что спорить, а ненавидеть ее, опровергать, смеяться над ней, — ее счастье, что она этого, так сказать, не замечает. И правильно делает, потому что я — тоже в этом подобно Петру Андреевичу — вообще-то в действительности всю жизнь занимаюсь пустяками. Но такими пустяками, которыми наука не занимается.

Вот такой простой пример, когда я пишу про повесть Гоголя «Нос», и мне надо понять, почему же этот майор Ковалев именно майор, и именно кавказский майор, и я имею такое подозрение, что дело связано с тем, что там, на Кавказе, во время завоевания Чечни гавали чины вне очереди... Я обращаюсь к историку, он обращается к еще более узкому и специальному историку и передает затем, что специальный и узкий историк сообщает: ничего подобного не было. Что делает дилетант? Дилетант идет в Публичную библиотеку, роется в Своде законов — и выясняется, что они-таки были, штук тридцать, и стать коллежским асессором, то есть майором, то есть потомственным дворянином, на Кавказе было — раз плюнуть, — вот почему Нос убежал именно от майора Ковалева и сделался статским советником. И передаю специалисту-историку, чтобы он своему другу, еще более узкому специалисту, передал, что все-таки такие законы были. Но я не слышал, чтобы кто-нибудь застрелился на истфаке.

Или вот случай с Полежаевым. В этой книжке есть такая работа — «История литературы как роман», где я говорю, что как-то так получается: те самые стихи, благодаря которым Полежаев вошел в пантеон русской, так сказать, революционной поэзии, те самые стихи, за которые советская наука, собственно, его и изучает, эти самые стихи не существуют в автогра-

фах Полежаева, и у меня есть подозрение, что их написал тот ненавидевший его шпион, гэбэшник, так сказать, из III отделения, который за ним следил. Высказываю такое подозрение. Есть же, знаете, светоч культуры, Пушкинский Дом, существуют академии, доктора наук, профессоры и масса диссертаций про этого самого Полежаева, — и вот я жду, кто же даст дилетанту по рукам и скажет, что он извратил факты; или, наоборот, может быть, прилетит курьер из Пушкинского Дома и принесет мне какую-нибудь узорчатую мантию, например. Ничего подобного, увы, не происходит; дилетант занимается пустяками, а наука идет своим торжественным путем. И когда выходит библиография всех существующих статей про «Капитанскую дочку», то моя статья 80-го года — вот она единственная туда не попадает.

Я занимаюсь пустяками. Никогда в жизни не забуду, как в издательстве «Искусство» много-много лет назад, когда я принес туда несколько своих сочинений про художников, человек, встретивший меня, — он был довольно большой начальник — вдруг начал цитировать наизусть мое сочинение про *Ватто*. Я, как глупый, улыбаюсь ему так доверчиво и говорю: «Вы знаете мои сочинения?» Он говорит: «Знаю! И как ненавижу!» И правильно. А чего ж ему не ненавидеть, когда существовала монография про *Ватто*, в которой разбиралась «Капризница». И поскольку картина называется «Капризница», то разбор, естественно, такой: «Как выразителен кавалер Капризницы! А она, надув губки, как ему отвечает...» — и так далее, — потому что есть же такое искусствоведение, которое интерпретирует названия. А тут приходит дилетант и говорит: «Обратите внимание, на этой женщине черное платье, и она сидит на кладбищенской плите, а название придумал Мерсье для своей гравюры с этой картины...» Очередная 600-страничная монография не упоминает о моей статье, как будто не было ее.

Я не заслужил оксфордской мантии или мантии Гуманитарного университета профсоюзов, но эту премию я, возможно, заслужил.

Что же касается аристократизма, тут дело гораздо сложнее. Потому что аристократизм все-таки предполагает — у него есть какой-то благородный, возможно, ореол, — но все-таки он предполагает некоторое высокомерие, основанное на некоторых предрассудках. И, честно говоря, моим политическим убеждениям это как бы претит. Но потом я подумал: кто, собственно говоря, первые враги аристократизма? Враги аристократизма — все, кто пытается властью, силой или авторитетом воздействовать на процесс мышления. Враги аристократизма — и лично мои — бессмертные богини Глупость и Пошлость. Они естественные враги каждого литератора, и ни один литератор их не победит, вся литература вместе никогда их не победит, но все-таки отвращение от пошлости можно назвать художественным аристократизмом, и оно, кстати, в высокой степени было свойственно Петру Андреевичу Вяземскому. Мы ведь помним, с каким омерзением он отнесся к патриотическим стихам Жуковского и Пушкина в честь победы над восставшей Польшей.

Я сегодня утром пошел на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры, имея при себе розы, положил на этот тяжелый гранитный сундук, под которым лежит Петр Андреевич, цветы. Там уже лежали живые гвоздики; тут я подумал, что это, наверное, «Urbi» меня опередил. Это единственное надгробие, на котором были цветы. На нем написано: «Блаженны милостиви, ибо ти помилваны будут». А поскольку там лежит и Вера Федоровна, урожденная Гагарина, она умерла через восемь лет и попросила ее похоронить в той же могиле, — там еще написано: «Господи, помилуй нас!» Я сказал мысленно Петру Андреевичу Вяземскому, что вот сегодня такая как бы церемония, и как бы его позвал, — понимая, впрочем, что это немножко похоже на пьесу Пушкина «Каменный гость». И я, вообще говоря, имею надежду, что он здесь среди нас присутствует. И, хотя я очень уважаю шуточный церемониал, все-таки одно слово скажу серьезно. Помоему, все, что я делал в жизни, — это была моя личная забава, игра, но все равно в ней была некоторая правда, потому что я в самом деле сильно переживал и переживаю до сих пор (иногда трудно вернуть это состояние) некоторую жалость к мертвым, ощущение несправедливости смерти, причем не только физической, а вот когда текст, ради которого жил человек, — текст, которым он стал, — обесмысливают благоговением, тупой юбилейной почтительностью, — вот это ужасно обидно.

Чтобы попасть на это кладбище, мне пришлось объяснить служительнице, в чем дело, она меня пропустила, а когда я уже потом выходил, она сказала: «Я вас поздравляю! И храни вас Господь!» — и что-то еще, и знаете, — я ей объяснил, что вот — Вяземский, вот — я, вот премия, — и в этот момент... Я убежден, что — да, мы все ничто по сравнению с этой огромной чернотой, но каждый из нас только это и делает, это и называется, если угодно, любовью, — мы чиркаем спичкой в этой тьме. Это то, что произошло сегодня утром на Тихвинском кладбище, то, что происходит здесь в эту минуту, — я думаю, что это и есть какая-то спичка, озаряющая эту невероятную темноту небытия. В такие минуты мертвые в самом деле живы, и это называется культурой.

Александр Леонтьев

САПФО И АЛКЕЙ

I. САПФО НА КИПРЕ

Месит пену морской прибой,
Словно глину свою — гончар...

О, Афродита!

Тот не может владеть собой,
Кто вкусил от любовных чар,

О, Афродита!

Облик девы смертной приняв,
О, зачем исчезаешь ты?

О, Афродита!

Я лежу меж высоких трав, —
Облака так белы, чисты...

О, Афродита!

Пена неба, — верни, яви
Златовенчанную глазам!

О, Афродита!

Кто вкусил от земной любви,
Тот вернет ее — небесам.

О, Афродита!

Но к тебе — горячей, живой,
Я тянусь, возмущая кровь...

О, Афродита!

Если б жребий мне выпал твой,
Я б любовью стала, любовь.

О, Афродита!

II. АЛКЕЙ — САПФО

Я тебе сказал бы, улыбчивой чистой деве,

Слово, Псапфа, да только промолвить стыдно.

Впрочем, что тебе в этом грубом мужском напеве...

И Эрот, отправляя стрелу на Лесбос, как видно,

Промахнется... Ах, и конницы, и пехоты,

Как ты пела, милее, Псапфа, мне... Я в разладе

Сам с собою... Ответь, молю тебя, отчего ты

На меня не смотришь? Иль хуже я всех в Элладе?

III. САПФО — АЛКЕЮ

Будь достойна цель твоя и прекрасна,
 Не тайлось если б в речи твоей позора,
 Ты взглянул бы прямо в глаза и ясно,
 И сказал бы мне то, что хочешь, не пряча взора.
 Ибо яблоку дева подобна... Под самой вершиной —
 Вон, краснеет оно! Садоводы его забыли?
 Нет, достать не смогли.. Знаешь, будь я, Алкей, мужчиной...
 Кто сравнится с моей Анакторией?! Уж не ты ли?!

IV. АЛКЕЙ — САПФО

Что бежишь от меня, как Сиринга, ты, или Дафна?
 Впрочем, будь Сирингой: лаврушка — коль не на древе —
 Всё одно завянет. Исчезнешь, тростинкой став, но
 Продолжая петь. Так любящий — в смертной деве
 Читит богиню. Ведь мы ж не венка на главу хотели,
 Но — самой гармонии, мелоса, Псапфа, лада.
 Пусть целуют губы, пусть воздух горячий в теле
 Тростника журчит. Чего еще в жизни надо!

V. САПФО — АЛКЕЮ

Всё одно, Алкей, у тебя на уме: губами
 Норовишь припасть. Мол, хоть вязом ты будь, хоть дубом.
 Ты — дубина, милый! Вспомню тебя — и сами
 Вдруг слова звучат на мужицком наречье грубом.
 О мужчинах, кстати! Думаю, очень мило,
 Что — где муж, там чаша. Вино, Алкей, не в ущерб ей,
 Ну а ты, гляжу, разбух уже, как точило:
 Надавлю — закаплет! А кто у вас виночерпий?

VI. АЛКЕЙ — САПФО

Ладно, Псапфа, кивать на Менона: мил ведь
 В самом деле мальчик. Но Псапфа еще милей мне —
 Та, что слова мне в простоте не желает молвить...
 Я лежу в траве, одинокий, согнув в колене
 Ногу, неге предавшись, лени... Пчелы и розы
 Поцелуй слежу... Эол, молю, не мешай им!
 О, представь себе, Псапфа, как мы, изменяя позы,
 Эолийский мед наслаждений с тобой вкушаем.

VII. САПФО — АЛКЕЮ

Негодяй! Как смеешь ты мне говорить такое:
Эолийский мед! Как намазано! Не про вашу
Честь! Когда ж, наконец, в покое
Ты меня оставишь?! Коль я тебя и уважу,
То лишь словом гневным. Сомлел, говоришь? И силы
Приложить, мол, некуда? Псапфу ему подай-де!
Коль Менон — Харибда, беру на себя роль Скиллы.
Приходи. Менон, уступи-ка дорогу дяде.

VIII. АЛКЕЙ — САПФО

Ляг же рядом, страстная Псапфа... О, помоги мне
Совладать с дремотой, что розе той — с ароматом,
Чей бутон извилист, как ветренный мозг богини:
Если быть здесь мыслям, то, видимо, лишь крылатым.
Посмотри, вспорхнула одна! Минута —
Прилетит другая, но, думаю, ненадолго.
И вот эта мудрость легкая почему-то
Мне милей размышлений тяжких о чувстве долга.

IX. САПФО — АЛКЕЮ

Ах, бесстыжий! Думаешь, я ничтожней
Этой розы алой, Алкей? Ничего, сейчас я
О шипах напому!.. Если не трус, то кто ж ей
Говорит «глупа ты», а сам-то, боясь несчастья
— ха! — царापинки, ранки, прячет в подол хитона
Руку — воин! — срезая стебель упругий,
То косясь на жала — как жалко бедняжку! — то на
Лепестки. Мы как раз их целуем, Алкей, с подругой.

X. АЛКЕЙ — САПФО

Не играй с огнем! Как Дедал говорил Икару;
Фазтону — Феб. И вот тебе, Псапфа, роза.
Приходи с Анакторией — шрам на руке на пару
Целовать: заживет скорее. Ну, право, что за
Церемонии! Назавтра же — как корова
Языком слизала... Другое у милой имя,
Но позволь мне Ио звать тебя. Будь здорова.
У подружки, кстати, столь же прелестно вымя?

XI. САПФО — АЛКЕЮ

Как твоя, Алкей, фальшивит сегодня лира!
 А губа — не дура. Отвисла, гляжу. Мы обе
 Так и видим, как ты волосатой ногой сатира
 Топчешь землю. Ну что ж, приходи — как Зевес к Европе.
 Как зарос ты шерстью! Мы, знаешь, за эту розу
 Будем рады — и это поставит нас в ряд с богами —
 Совершить с тобой подобную метаморфозу.
 И уже награждаем с подругой тебя рогами.

XII. АЛКЕЙ — САПФО

Псапфа гневная, твой язычок недаром
 Острым славится... ох, ну и повезло же
 Тем, кто это знает... Ну был бы я страшным, старым..
 Отчего ж не хочешь делить ты со мною ложе?
 Так давай хоть воздух певчий с тобой разделим.
 Ни к чему обиды нам. Что чудесней
 Может быть любви, предпочтившей земным постелям —
 Облака, обернувшись живо прекрасной песней?!

XIII. САПФО — АЛКЕЮ

Речь твоя пьянит — словно сердце хмелем
 Ты уви́л мне... Слаще Вакхова поцелуя.
 Как сказал ты, милый, — «воздух давай разделим»?
 Жарче Гелиоса коснулся... Ах, вся в пылу я..
 Как обнять я тебя хочу!.. Но имей терпенье.
 Совладать ты в силах с Музой, Алкей, любовью.
 Кто прекрасен внешне — радует нам лишь зренье.
 Кто же благ — прекрасным кажется сам собою.

XIV. АЛКЕЙ — САПФО

Что я слышу, Псапфа! Ужель к берегам Актийским
 Собралась бежать? О Фаоне каком-то слухи.
 Что стряслось? О, зачем покидаешь Алкея ты, с кем
 Так отрадно петь? Или попросту ты не в духе?
 Только-только с тобой сплели голоса мы в хоре
 Безмятежно-нежном, Псапфа.. И вот те — здарсьте!
 Как черно сегодня, пугающе-гневно море..
 Неужели оставишь лиру ты ради страсти?

XV. САПФО — АЛКЕЮ

Как мне быть, Алкей, я не знаю... Но два — о, мука! —
У меня решения... Псапфа свое отпела.
Пред купаньем смертным последним своим сниму-ка
Я тоску с души, точно эту тунуку — с тела.
Что такое жизнь? То поём невпопад, то спорим.
Так, Алкей, хотелось тебе рассказать о многом...
Но помни: любовным счастьем — и даже горем! —
А не пеньем — любящий может сравниться с Богом.

XVI. АЛКЕЙ НА ЛЕВКАДЕ

Музу десятую — за Киприду —
Нам принести
В жертву пришлось. Как снести обиду?
Псапфа, прости.
То-то меж небом стоит и морем
Эта скала,
Где синева, не считаясь с горем,
Заволокла
Всё, отражаясь в себе; где пена
Неба — легка!
Попеременно, попеременно —
То облака,
То белоглавые волны, тая,
Гаснут вдали...
О, как божественна ты, простая
Песня земли!

Сергей Денисенко

КОТ НА КОТУРНАХ

Кто ты, кот на котурнах?
Зачем проходишь мимо
Цветущих хризантем?

(Автор приписывает это хокку Басё.)

Это не я — кот на котурнах (хотя котурны — мои). Я не хотел бы исполнять роль, которая уготована ему в моем повествовании. Пусть каждый исполняет свои роли. Кот на котурнах — обрамляющий сюжет. Это — мой кот. Котурны (башмаки на высокой подошве) подвязывали греческие актеры для того, чтобы публика сразу могла понять: будет разыграна трагедия. В моем повествовании мне принадлежат четыре котурна, поскольку кот ходит на четырех лапах. На двух котурнах я не выпущу на сцену кота: он будет хромать, всем своим видом станет ломать комедию, чем и вызовет у публики неуместный смех. Я не хочу ходить на котурнах один. Остаться в одиночестве, конечно, трагедия. Но не высокая. И не классическая. Поэтому, когда мне самому придется встать на котурны, два других я предложу второму актеру. Только **двоих** в моем повествовании должен покарать рок неумолимый, *deus ex machina*. Что, непременно, и случится. Но

Кто ты, кот на котурнах?
Зачем проходишь мимо
Цветущих хризантем?

КОТ НА КОТУРНАХ

Повествование в жанре декабрьских котурналий
(Ор. 13)

Мой черный кот прошел на котурнах. По первоначальному замыслу, он должен был быть черной кошкой («Кошка на котурнах»). Но в греческом театре все роли исполнялись мужчинами. И в моем повествовании кот — не герой, а исполнитель роли. Можно было бы, конечно, пойти на компромисс и заставить кота исполнять роль кошки — но я решил не усложнять действия. Так я буду поступать и дальше. Что касается созвучия КОТа и КОТурнов — это вышло непреднамеренно. Я не могу заменить кота на собаку, котурны на башмаки, а тем более на сапоги.

Никакой мистической символики за абсолютно черным котом не подразумевается.

Черный кот прошел на котурнах в сортир. Я люблю именно это слово: ни «туалет», ни, тем более, «клозет» мне не нравится, морское «гальюн» слишком специфично, а «уборная» не звучит. У двери в сортир кот оставил котурны — там они бы противоречили законам жанра. Кот улегся в удобной позе сфинкса внутри голубого унитаза. Абсолютно черный кот в абсолютно голубом унитазе. Он прав, это красиво. Поэтому все мое эстетство я без сожаления отдаю ему. В подборе расцветок (черный на голубом) также прошу не усматривать символики. Ее нет. Это не «голубой кот в черном унитазе». Я не позволю себе такого упадничества. И кот себе не позволит. Можно, конечно, рассмотреть и другие варианты. ЧЕРНЫЙ КОТ В ЧЕРНОМ УНИТАЗЕ. Очень монохромно. ЧЕРНЫЙ КОТ В БЕЛОМ УНИТАЗЕ. Почти непристойно. ЧЕРНЫЙ КОТ В РОЗОВОМ УНИТАЗЕ. Весьма пошло. И пошло смотрится не черный кот в розовом унитазе, а сам розовый унитаз. Да и откуда взяться черному коту в розовом унитазе, если у меня есть только черный кот и только голубой унитаз.

Мой черный кот в моем голубом унитазе превращает мой сортир в вечно занятый сортир коммуналки. А четыре котурна делают мой коридор прихожей высокой классической трагедии. Но жизнь моя не превращается от всего этого в чепуху и чушь. Потому, что она и так всегда была чепухой и чушью. Все равно, все равно никому этой осенью я не буду нужен, и не полюбит меня никто этой осенью. Будет ли лежать мой черный кот в моем голубом унитазе, будет ли ходить мой черный кот на моих трагических котурнах, буду ли я плакать мои слезы.

Не возбраняется подолгу сидеть в сортире, но зачем же, о боги, бессмысленно и долго там лежать! Ведь кот не дерьмо.

Тем временем я расскажу короткую забавную историю не о любви.

(Котурны оставим стоять перед дверью сортира.)

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ НЕ О ЛЮБВИ, А О ПОДАРОЧКЕ

Я был намерен не спать всю ночь. Я хотел этого. Я тщательно готовился к этому. В конце концов, для того и собирались. Однако получилось так, что заснули через пять или семь минут, при разочаровании (моем). Утром, когда мы проснулись, мне рассказали сон. Я приготовился слушать со вниманием (хоть сон расскажут, все же какая-то польза). «Мне снилось, что мы с тобой идем по городу зимой. Кругом — чистый, белый и невинный снег. Только что выпал. Очень красиво. *(Далее следовало подробное описание великолепной русской зимы, которое опушу, потому что сам никогда в книжках не читаю «словесных пейзажей».* Тем более скучно это описывать. Представьте, что в этом месте вы пролистнули страницы четыре. — Автор.) И вдруг — праздник:

святки не святки, масленица не масленица. Среди прочих развлечений — народное русское: гладкий высокий столб, на который нужно залезть и ухватить подарочек». — «Какой это был подарочек?» — поинтересовался я, а кот в унитазае мяукнул «со значением». — «Не знаю. Да и какая разница. Ты решил достать этот подарочек. Залезаешь на столб и соскальзываешь. Залезаешь — и снова соскальзываешь». — «Как интересно», — заметил я невозмутимо, а кот в унитазае, по-моему, поперхнулся. — «Вот так ты пытался залезть много раз, но ничего у тебя из этого не получалось. Слез ты со столба, отвернулся от него, махнул рукой. Сказал: «Ну и ... с ним!»¹ — и мы ушли. А вот что было дальше, я и не помню». — «А вот что было дальше, уже и не важно», — отвечал я, а кот в унитазае, давсь от гнусного неофрейдистского смеха, попытался спустить себя в канализацию.

Ко всякому разочарованию надо относиться с чувством юмора. Сны этому очень споспешествуют. Или я слишком буквально все воспринимаю? Но ведь не мне снился этот сон.

Я взял тушечницу и кисть и написал:

В десятый день девятой луны после неутомительной ночи мне простодушно рассказали сон, в котором был я и мое утреннее настроение. Ничего не совершается зря.

*Хочется рыбку съесть?
Посмотри: блестят ли
Ее чешуйки на солнце.*

КОНЕЦ КОРОТКОЙ ИСТОРИИ НЕ О ЛЮБВИ

Когда я понял, что могу писать стихи профессионально, я перестал их писать. Это случилось на первых курсах филфака. Последнее, что я сотворил, был «венок сонетов», форма, технически достаточно сложная. Я разочаровался в стихосложении, но хокку сочинять продолжаю. Мои русские хокку соответствуют законам жанра, я только не отсчитываю определенного количества слогов по принципиальным соображениям.

*Жаркий полдень.
К быстрой реке наклонилась
Сухая сосна.*

Когда мне подарят черное японское кимоно с нарисованною тенью бамбука? Кто нежно погладит меня по спине во время цветения хризантемы?

Хокку — мой греческий хор. Без хора не будет классической трагедии. Надо выгнать кота из унитаза — нет, уже не надо:

¹ Я не могу на бумаге употреблять табуированную лексику, пусть великодушная публика простит мне мою старомодность. Заменять отточия прозрачными эфемизмами, всякими там «хренами» и «херами» тоже не могу.

слышу, как он ковыляет на котурнах по коридору. Передвигаться на них неудобно. Но пусть немного помучается для образности, а во время лирических отступлений я разрешу ему отдыхать в голубом унитазе.

Все готово. Теперь можно улыбнуться себе, любимому, в зеркале.

Пора на сцену. Я одеваюсь и выхожу в осенние улицы.

Котурн первый (без участия кота на котурнах): ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

Я выхожу в осенние улицы.

Если бы я посетил многие города мира, побывал бы во многих странах, все равно — никогда, никогда не выбрал бы этого города для моей жизни.

Здесь не бывает солнца. Его похоронили еще до нас. И сделали аккуратную запись. Да, этот город можно любить — любовью некрофила.

Здесь *эта* сторона улицы и *та* сторона улицы наиболее опасны.

Здесь необходимо ходить уверенной быстрой походкой, чтобы не утонуло в трясину. Я стараюсь, но я хромаю на один котурн. В то время как мой кот хромает по моему дому на трех оставшихся. Но у него в жизни есть известная всем отдушина. У меня же —

Ты!

Ты живешь в другом большом городе. У тебя — суета. У меня — томление духа. Такая разбросанность. Я никогда-никогда не поеду собирать свои камни. Я не умею собирать камни. Я ничего не умею. Я даже не умею быть любимым. И меня не удивляет неспособность отдельно взятого человека любить меня.

Древнему китайскому мудрецу Чжуан-Цзы приснилось, что он — бабочка, которой снится, что она — Чжуан-Цзы. Оба проснулись в недоумении. Мне приснилось, что я рядом с тобой.

Я иду по большому городу. Девушки кокетливо опускают глазки. Женщины прибавляют себе энтузиазма в бедра. Гомосексуалисты в своей чрезмерной сексуальности пытаются взглядом перевернуть мои внутренности. Марлен Дитрих низким голосом поет, что вот, мол, идет она по большому городу одна и не знает, что выбрать: быть счастливой или быть несчастливой в своем одиночестве. Я не выберу ни того, ни другого. Я давно заказал себе мемориальную доску: здесь жил изысканный и изящный,

¹ Самый реальный персонаж. Его роль никому не нужно исполнять: у него нет роли. Мне достаточно того, что этот персонаж существует. И потому я до недавнего времени оставался счастливым человеком. Без котурнов.

тонкого ума и т.д. Только большое сомнение вызывают благодарные потомки. Не слишком доверяю я и благодарным современникам. А посмертная слава мне очень нужна, она помогает направлять плечи и шагать пружинистой твердой походкой.

По пути я захожу в чайный домик. Прошу тушечницу, кисть и бумагу:

Во время моего долготного путешествия я часто останавливался. Когда мне не хватило бумаги, я начал записывать мои мысли на старом дорожном посохе. Пошел дождь.

*Вот неприятность: мои следы
Смывает осенний дождь.
А я все иду и иду.*

Я выхожу на большую площадь, почти смытую дождем. Вознесшийся ангел с крестом стоит на своем чрезмерном котурне. Иногда мне кажется, что это не котурн, а огромный фаллос. Но выражение лица ангела, его безрадостность говорят о том, что все-таки это — котурн¹. Кто куда возносится на этой площади, я не очень хорошо понимаю. Тем более в дождь.

В дождь город напоминает мою графику. Черное и белое исчезают. Наступает серебро. Небо соединяется с землей, размываются четкие очертания. Большая площадь делается похожей на аквариум, в котором по траекториям, начертанным роком, проплывают навстречу друг другу редкие рыбки-прохожие. Серебристые карпы. Здесь уместно вспомнить историю о монахе и о карпах.

Монах был замечательным художником и рисовал только серебристых карпов. Так искусно, что многие принимали его рыбок за настоящих. И вот однажды ему приснился сон: он превратился в карпа и стал плавать в пруду. Его поймал лучший друг и приготовился изжарить. Тщетно бывший монах открывал рот, ничего произнести он не мог. История, впрочем, закончилась счастливо: монах проснулся. Утверждают, что его спасло чтение сутры Лотоса в трехтысячный раз. С тех пор он перестал рисовать, а его друг перестал есть рыбу. После смерти монаха все рыбки с его картин ожили и плавают в пруду.

Дальше я рассказал бы вам о том, какое отношение имеет история о монахе и о карпах к моему повествованию, но, увы, никогда не смогу этого сделать. Потому что как раз в этот момент пушка на Петропавловской крепости возвестила о наступлении полудня. Я остановился, чтобы сверить свои карманные часы. «Вы не скажете, который час?» — спросили у меня. Я поднял голову с тем, чтобы ответить, что раз пушка стреляла, то ровно двенад-

¹ Раньше вокруг этого места бродили следующие строки: «На фаллосе не стоят. Да и не бывает таких фаллосов. В снах, разве что. Ангел же — реальный. И я реальный. С моей реальной, но посмертной славой», но я не пустил их в основной текст.

цать, стрелять в двенадцать — это в нашем городе традиция такая, а вовсе не приглашение на казнь; а вообще-то — «вечность», что и так понятно; впрочем, я не Батюшков, а вы — не Мандельштам. И я поднял голову, но ничего не сказал, потому что...

Потому что

рядом со мной стоял человек, высокий и изящный.

Потому что

он смотрел на меня, улыбаясь.

Потому что

мы были с ним похожи, как две капли воды.

Потому что

мы оба в один миг осознали свое сходство и, как пишется в таких случаях, «остолбенели».

А ведь была не полночь, был полдень! Подчеркиваю для любителей русской фантастической повести.

И вот здесь я сделаю перерыв. Я слишком разволновался. Мне нужно высушить котурн, проверить kota и унитаз (или kota в унитазе). Я расскажу вам какую-нибудь забавную историю. НАС я пока оставляю столбенеть на площади. МЫ не проможем. У НАС есть зонтик. И ангел с крестом рядом тоже есть.

ПЕРЕРЫВ В ДРУГОЙ ИСТОРИИ

Теперь можно расслабиться и отдохнуть. Странствия по дождливому городу сами по себе утомительны.

Мой кот подошел ко мне, забрался передними лапами на стол, поцеловал меня в щеку, неодобрительно покосился на рукопись «Кота на котурнах». Наступило время лирического отступления. И опять протопали мои старые котурны по прихожей до двери сортира. Сиди, милый, сиди себе в унитазе. У каждого свои странности. Хождение на котурнах в сортир не более нелепо, чем писание «Кота на котурнах», и, тем более, чтение «Кота на котурнах».

Мне уже давно говорили, что встречается в городе человек, очень похожий на меня, но я не придавал этому особого значения. Встреча со своим двойником сулит либо скорую гибель, либо (что будет уже чистой литературщиной) подмену его собой. Однако период моей посмертной славы еще не наступил, и публице это хорошо известно. Да и какой он «двойник»? Какой он «черный человек»? Удивительно похожий на меня, он все же и отличался: он не хромал на левую ногу и не одевался в черное. Он улыбался по-другому. Никакого демонизма.

Если чего-то очень ждешь, оно непременно случится. Нужно только все угадывать и угадывать.

*В осеннем пути
Встретились двое — и не разошлись.
Такое бывает?*

Но я обещал рассказать вам короткую забавную историю. Так вот:

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ ПРО БАНДИТОВ, МУРАВЬЕВ И ОСЕТРИНУ

Это случилось давно в небольшом и культурном городе Тарту. Я был захвачен бандитами: не то меня с кем-то перепутали, не то я кому-то помешал. Скорее всего, последнее. Во всяком случае, я так думаю — всегда хочется ощущать свою значимость. Я находился под арестом в старой квартире, где бандиты жили. Возможность побега была, но привязывала уверенность, что все равно меня найдут. К тому же мне было интересно, чем все это закончится. И щекотало нервы: обычно в жизни так мало подвигов и развлечений. В самом начале меня посадили на стул лицом к стенке. В то время как двое флегматично держали меня за руки, третий прикоснулся к затылку холодной сталью. Я судорожно попытался вспомнить, какую молитву читают перед смертью, но ничего, кроме «Gaudeamus igitur», на ум не приходило. И правильно, что не приходило: убивать меня не собирались, просто на затылке выбрили аккуратный треугольник. Я не проходил обучение в тартуской филологической школе и почти не читал их труды по знаковым системам. Так что семантику этого треугольника я объяснить себе не мог.

Относились ко мне в общем-то доброжелательно, но два неприятных инцидента все же произошли. Первый: когда я съел их осетрину. Бандиты крепко ругались по-эстонски (я даже испугался) и дали мне понять, что не все, что положено им, дозволено их пленнику. И второй: когда самый гнусный и мерзкий из них грубо приказал мне стелить ему постель. Что ж, удел пленника — подчиняться. Занимаясь этим унизительным (в данной ситуации) делом, я услышал, что вот сейчас он меня изнасиловал, а мне, мол, и сопротивляться незачем, потому как это мое последнее удовольствие перед смертью. О, ужас! Отчего-то намерение изнасиловать всегда исходит от самого гнусного и мерзкого. К моему счастью, ничего у него не получилось, ибо аппарат насилия был весь изъеден муравьями, которые висели на нем рыжими бесформенными наростами и копошились. (Зрелище, достойное кисти Сальвадора Дали, но не моей.) Бандит же, обнаружив это, равнодушно убрал свою мерзость обратно со словами: «Не понадобилось». Тревога моя росла, но я еще беспокоился и за тех, кого тревожило мое вот уже почти двухдневное отсутствие. Мне необходимо было позвонить и что-то объяснить. Бандиты молча указали на телефонный аппарат. Он работал. Но выглядел отвратительно: телефонная трубка была разломлена пополам и соединялась многочисленными проводками, а телефонный диск был прибит к дверям гвоздиком — но при этом вращался! Вся сложность заключалась в том, что дырочки на диске были маленькими и набрать номер даже моим тонким мизинцем не представлялось возможным. И тогда я вдруг понял, что означал треугольник, выбритый у меня на затылке! Таким изуверским способом меня приговорили к расстрелу. К белому и невинному

месту должно было быть приставлено холодное дуло пистолета. И мне сделалось страшно. Через какое-то время я все же улизнул из квартиры и уехал на вокзал. Стояло раннее осеннее утро. Народу было много. Все куда-то ехали, но куда — понять было нельзя: надписи, объявления по радио, ответы окружающих звучали только по-эстонски. Я проклинал свое образование, давшее мне знание латыни, церковнославянского, польского, английского, французского и русского языков (во всяком случае, так записано в дипломе), и пытался хоть что-то понять, каждую секунду ожидая пули. Наконец, очень медленно подошел поезд. Очень медленно открылись двери. Очень медленно население стало заходить в вагон, бережно неся свои котомки, кошельки, чемоданы, саквояжи, узелки и сумочки с бантиками. Пробрался в вагон и я. Поезд тронулся! Уже из окна я увидел, как по перрону бегут мои бандиты, и мысленно попрощался с ними. Вскоре я благополучно прибыл на глухой эстонский хутор. Там женщины кормили меня хлебом и поили молоком. Парни снабжали махоркой и неодобрительно качали головами, поглядывая на выбритый у меня на затылке треугольник. Я провел несколько скучных, но приятных дней и вскоре смог отправиться домой.

*Ива роняет листву
В пересохший ручей.
Камни, разбросанные там и тут.*

(Перевод хокку Бусона с японского — автора.)

Но каковы бандиты! Им стало жалко для меня, приговоренного к расстрелу, кусочка осетрины! И эти рыжие муравьи... И эти труды по знаковым системам...

КОНЕЦ СТРАШНОЙ ИСТОРИИ

Однако мысли мои и чувства мои сейчас на смывтой дождем площади. Я не в состоянии ни о чем думать, я оставляю моего черного кота безнаказанно блаженствовать в унитазе и устремляюсь *туда*, наскоро подвязав

котурн первый и котурн второй (без участия кота на котурнах): ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

Что ж, на площади все мои дела, планы, встречи оказались забыты. Единство времени, места и действия нарушилось. Город сгинул, растворился, затонул. Все прошлое стало казаться нелепым. Стало казаться смешным все будущее. Не стало *ничего*.

О, этот головокружительный миг настоящего! О, это сладостное схождение с ума!

Мы глядели друг на друга, и зонтик наш долго омывался дождем. А потом мы пошли пить коньяк в Дом Ученых, что после полудня не противоречит правилам хорошего тона.

Боги мои! Как я не хочу, чтобы разворачивался этот сюжет! Как я не хочу, чтобы закончилась очередная история! Я люблю любить в настоящем времени. Мне страшно, когда: «была любовь» или «будет любовь». Дано ли мне право просто смотреть в глаза и говорить ни о чем — и чтобы мне смотрели в глаза и говорили ни о чем? И нужно ли описывать это?

Но я обещаю, обещаю: события будут. Ведь мое повествование в жанре декабрьских котурналий предполагает фантазмагорическую встречу Нового Года с масками, баутами и влажными стеблями новогодних роз. Простите мне мою слабость, позвольте потянуть время лирическими отступлениями. Тем более, что в прихожей звонят. Мне докладывают о визите. А я сегодня принимаю.

ВИЗИТ С ГРИВУАЗНЫМИ РАЗГОВОРАМИ

Это была А. А., пожилая петербургская дама. Короткая седая стрижка, высоко поднятый подбородок, откиннутые назад плечи, молодые глаза и неизменные папиросы. Мы могли беседовать часами, и я находил в этих беседах приятность и удовольствие.

«Черный кот, Сережа, хорош уже сам по себе, — сказала она, поглаживая моего кота. — И ни к чему рыдять его в свои котурны и отправлять в туалет. Этими шутками сегодня вы никого не проймете. Вам не удастся скрыть хрупкость храма вашей души. Его может разрушить каждый, даже не притрагиваясь пальцем. Пока я здесь, кот будет сидеть рядом со мной.

А ваш будущий финал! Когда вы провалитесь под сцену, публика вас освищет. Напишите лучше детектив, в котором женщина убивает мужчину. Мне нечего читать во время бессонницы. Впрочем, ваши котурналии мне передайте, я хотя бы исправлю стилистические погрешности и орфографические ошибки». — «Слушаюсь». — «А я вам рассказывала, как единственный раз в моей жизни я выругалась?» — «Нет». — «Это (как вы пишете) короткая забавная история не о любви. Я тогда была очень молода, еще моложе вас. Долго копила деньги и, наконец-то, купила себе шубку. Однажды вечером в моей новой шубке я проходила по Невскому». — «Я думаю, вы были неотразимы». — «Вы, Сережа, комплименты отвешиваете так же быстро, как я — пощечины. Так вот. Падал снежок. Народу было мало — времена стояли смутные, как и всегда у нас. Вдруг слышу — меня догоняют. Я обернулась. Боже! По внешнему виду преследователя я сразу же определила, что ему нужна не я, а моя шубка. Это был элементарный бандит. Но я страшно перепугалась! Помимо воли, у меня вырвалось: «А пошел ты на ...!» (Сказала это без купюр.) И отправилась дальше. Он, видимо, ошалел: услышать такое от приличной барышни! Догонять меня не стал и только крикнул мне вслед: «Попадись еще на Невском, стерва!» — «Ну и что, вы перестали ходить по Невскому?» — «Я бываю там почти каждый день, ведь я живу недалеко», — и она величественно пожала пле-

чами. «Ах, А. А., какие ужасы вам пришлось пережить в вашей жизни!» — заметил я иронично. «Это — не ужасы, ужасов в моей жизни было достаточно, но потом. Кстати, вы слышали старый анекдот про ужас и хозяйку борделя?» — «Нет, что-то не припомню». — «Если вы придерживаетесь литературной традиции, то история о посещении борделя вами и вашим двойником необходима. Но вы не пойдете с ним в бордель?» — «Нет». — «Тогда слушайте анекдот. Шел однажды по вечернему городу роскошный молодой военный. Все у него было при нем. И заглянул он, как водится, в бордель. Ему выстраивают девочек, он выбирает самую молоденькую и хорошенькую и ведет ее в номер. Однако через несколько минут девочка прибегает вся в растрепанных чувствах с криками: «Ужас, ужас, ужас!» Что ж, хозяйка выбирает другую, более опытную, и напускает на клиента. Тот же результат, только вопль на два тона ниже: «Ах, ужас, ужас, ужас!» Репутация заведения почти подорвана! Тогда хозяйка гасит сигарету и со словами из популярной английской песенки «Каждый убивает того, кого он любит» отправляется спасать честь дома. Надо ли рассказывать, с каким нетерпением ждали ее девочки! Через час мадам появилась. «Ну, как, что?» — наперебой спрашивают ее. «Да, конечно, ужас, — с достоинством отвечает она, — но уж не «ужас, ужас, ужас!» Но лучше я расскажу вам историю, случившуюся очень давно со мной. Это

ИСТОРИЯ О ХОРОШЕМ ЛЮБОВНИКЕ И О КОРОТКОМ ПАЛЬТО

«Боже мой, оно было настолько коротким?»

«Да, нет же. Я не сяду играть с вами в карты, вы все время передергиваете. Слушайте историю.

Можете ли вы мне поверить, много лет назад у меня был очаровательный любовник. Это был самый лучший любовник в моей жизни». — «Неужели у вас могли быть плохие любовники, дорогая А. А.?» — «Без этого нельзя. И от плохих любовников не удастся избавиться. Разве что в детективах. Они страшные зануды. Я хороню их и забрасываю землей. Но они время от времени тянут ко мне из могил свои дрожащие ручонки. Тени минувшего счастья уснувшего! Третьего дня один вновь прорезался по телефону. Говорил, как он болен мной, как ему плохо. «Лечись, милый, лечись», — что я могла еще ответить? — «А осиновый кол и серебряную пулю вы пробовали?» — «Всегда вы меня перебиваете, Сережа! Так вот: я всем дала отставку, я предоставила себя только ему. Был бы он декабристом — я поехала бы за ним в Сибирь. Босиком бы пошла. Но он не был декабристом...

Как ни грустно мне и ни горько мне? Мой милый меня покидает. Не лучше ль было бы нам никогда не знать друг друга? Я

не ведала бы горя, ни тяжких вздыханий, ни слез разлуки; моей груди не было бы так больно, моя кровь не кипела бы, и я не сожалела бы о нем. Пойду я на новое крыльцо, обопрусь на перила, прикроюсь шубкой, зальюсь слезами и стану смотреть на пустую равнину. А в пустой равнине соболев с куницею играет. Вот так же и мой милый играет теперь с гругой... Был ли бы мой милый доволен, если бы и я играла с гругим?

(Из дневника покинутой японской дамы XVIII века. Перевод с японского — автора.)

Давайте, милый мой, выпьем за любовь, которую мы убиваем и придумываем, убиваем и придумываем снова. У вас удачно получилось про мотылька и нарисованную хризантему». — «Мерси, но это — в первой редакции моего повествования на шестой странице. В окончательном тексте хокку нет». — «Так поставьте его здесь!»

И я ставлю хокку здесь.

Я нарисовал картину, и вот уже много лет люблюсь ею.

*Ночной мотылек
Снова присел отдохнуть
На цветок, нарисованный мною.*

«Но я продолжаю. У него было длинное красивое пальто. Я и полюбила его за пальто, вернее, «его в пальто». Оно было для меня тем, что сейчас называется «сексуальным символом!» Фетишем! Но счастье длилось недолго... Он стал мне изменять, и я об этом вскоре узнала. За несколько дней до нашего расставания он рассказал мне смешной сон. Сон про то, как он купил новое пальто и пришел ко мне: «Я приобрел новое пальто, посмотри, идет ли мне?» — «Но оно тебе очень коротко и жмет. И я знаю, что ОНА старше меня на десять лет, некрасива и стервозна!» — «Но она богата», — отвечал он. Вот и все. И ушел. И даже больше никогда не звонил мне по телефону. А я ждала». — «Не очень понятно, А. А., где здесь сон?» — «Сон закончился, когда он ушел. Я вам советую, всегда уходите первым и вообще любите сильно только себя».

Стало темнеть. Пожилая петербургская дама растворилась в моем зыбком городе.

Я не буду слушать советов А. А. Так один молодой человек когда-то послушался советов пожилой петербургской дамы и, в результате, попал в Обуховскую больницу.

Я тоже не сяду играть с ней в карты.

На этом —

КОНЕЦ ГРИВУАЗНЫМ РАЗГОВОРАМ

и продолжение котурна первого и котурна второго
(без участия кота на котурнах):
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

.....
.....
.....
.....¹
и прекратился дождь. И туман поднялся с болот. И сквозь черную многовековую жижу проросли лотосы. И бутоны их распу- скались один за другим.

Расставаясь, мы договорились, что он мне позвонит.

Когда мне говорят: «Я, *может быть*, тебе завтра позвоню», я равнодушно отвечаю, что, мол, *наверное*, я завтра буду дома. А сам прихожу задолго и отменяю все дела. Конечно, следует переключиться, чего никогда у меня не получается. Я жду всем моим существом: десятки раз проверяю, работает ли телефон, мысленно убиваю каждого, кто пытается в это время прорваться ко мне. И все валится из рук. И все мне плохо. В конце концов, я ложусь и кощунственно тороплю время...

Не говорите мне: «Я позвоню тебе завтра вечером». Я доверчивый: я буду ждать.

Но томительного ожидания не случилось. Он позвонил, и мы встретились много ранее назначенного часа.

В начале наших встреч, во время долгих блужданий по городу, я чувствовал, что наше сходство волнует его. Я часто ловил на себе пристальный взгляд, а когда сам неожиданно заглядывал ему в глаза, он отводил их. Но очень скоро его беспокойство угасло. И он просто получал удовольствие от общения со мной.

Как реагировали окружающие на наше сходство? Они его просто не замечали: для влюбленных и разлюбивших внешний мир не представляет интереса. Тем немногим, кто искал любви и все замечал... Но что нам до них?

Я еще не представил моего спутника. (Имени его не буду называть: произнесение имени имеет смысл только при обращении к человеку. Я не хочу, чтобы эти звуки артикулировались чужой гортанью.) Он был музыкантом. Исполнял на фортепьяно классический репертуар и был известен в музыкальных кругах. Я начал ходить на все его концерты (впрочем, немногочисленные). Его выступления — я это чувствовал — посвящались мне. На поклонях он отыскивал меня взглядом и улыбался своей светлой улыбкой. Ему дарили цветы. Пахнущие осенним холодом хризантемы с закручивающимися лепестками, стройные и трепетные ирисы с фиолетовыми прожилками, нежные лилии, отгоняющие

¹ Это традиционные для петербургских повествований пропущенные строки.

сон. Он бережно кутал их в пальто, как кутал в теплые перчатки свои тонкие ломкие пальцы.

Этой осенью он никуда не ездил. Его осенняя принадлежность к городу стала и принадлежностью ко мне. Мой город постепенно уплывал от меня, протекал улицами, площадями, каналами через таинственную невидимую призму — становился нашим городом, более чистым, более напряженным.

Однажды мы гуляли по старому кладбищу. Нас сопровождал один мой знакомый — не то чтобы похоронных дел мастер, но специалист в этом деле, хорошо плавающий по рекам и каналам загробного мира. Он явно был на дружеской ноге с мертвецами и весь был буквально пронизан здоровым цинизмом прозекторской. Он знал все: кто чей был любовник, кто на ком был женат, от кого у кого были дети, сколько эти дети заплатили за надгробия своих родителей, кому и т.д. Словно сами покойники нашептывали ему свои тайны. Забавными историями о постоянных переселениях праха и надгробий он иллюстрировал утверждение, что после смерти продолжается жизнь, да еще и светлая. Я поинтересовался у него, правдивы ли рассказы о том, что на месте захоронения мужчины вырастает дуб или клен, а на женской могиле — ива или рябина, и был удовлетворен логичным ответом, что, мол, не всякий может еще при жизни сам осознать, кем он является. Так мы весело и непринужденно болтали. Но я заметил, что мой друг становился все более мрачным: ему, светлому, был не по душе наш черный вздор.

Под конец мы прошлись по мастерским, где изготавливались мемориальные доски и надгробия. «Вот ваша мемориальная доска, Сергей Викторович. Все уже готово, осталось только выбить *вторую дату*». — «Спасибо, спасибо, очень изящно», — похвалил я. «А здесь у нас образцы надгробий с начала прошлого века до настоящего времени. Они по различным причинам остались невостребованными клиентами и теперь хранятся у нас в качестве экспонатов». Действительно, здесь было все, что только могла придумать изощренная фантазия кладбищенского художника. Менялся стиль, манера, техника, но оставались неизменными вечные символы — змея, сова, песочные часы, амур с перевернутым факелом, урна с оплаканным прахом...

Мой друг внезапно жжал мне руку и показал на надгробие в стиле скандинавского модерна, на котором были выбиты его имя... отчество... фамилия... дата рождения... и...

Тут ему сделалось дурно.

«Да, — услышал я, как сквозь сон, голос нашего гида, — это наше новое поступление неизвестно откуда. Видимо, ошибка: дата смерти, выбитая на камне, показывает то время, которое еще не наступило»¹.

¹ А. А., когда читала рукопись и дошла до этого места, коротко заметила: «Так и знай, обвинят в плагиате!» — «Скорее, в трививальности», — ответил ей я.

Мы кое-как поблагодарили за увлекательную экскурсию и бежали прочь в ужасе.

Вечером я записал:

*Ручей пересох и обнажил разбросанные в беспорядке камни.
Была когда-то
Серебристой швой
И эта коряга у пруда.*

Этот случай внес в наши отношения какой-то смутный оттенок суеверного страха. Мы, словно сговорившись, молчали. Только однажды мой друг напомнил мне о прогулке по кладбищу и сказал: «Ты, кажется, несешь мне гибель».

Мы стали встречаться еще чаще.

Тем временем наступил декабрь. Потоки воды, льющиеся с неба, были застигнуты врасплох морозом. Так и заледенели, завесив весь город хрусталем. Как безумный, между сталактитами носился ветер. А в Летнем саду на домике Петра тонко пела флюгарка. Так же, как и много лет назад в тысяча девятьсот тринадцатом году.

ПЕРЕРЫВ В ДРУГОЙ ИСТОРИИ

В этом декабре мне приснился сон. Весьма пошлый. Впрочем, вся наша жизнь — литературщина, если внимательно к ней приглядеться.

Любовались ли вы синим морем? Обращали ли при этом внимание на то, что через несколько минут на море обязательно появляется белый пароход, или — что еще хуже — парусник?

Смотрели ли вы на полную луну, вокруг которой непременно вьются тучи?

Видели ли вы влюбленную парочку: он, жарко обнимая ее за плечи (на которые накинут его пиджак), страстно шепчет в розовое ушко: «Милая, а вот это — Большая Медведица!»

Признавались ли вам в любви — на коленях?

Носили ли вас в постель — на руках? А утром кофе — тоже в постель? Последнее, к сожалению, не стало литературщиной из моей жизни.

Я люблю и море, и белый пароход, и полную луну, и влюбленную парочку под Большой Медведицей. И любовь до гроба. И чтобы «они умерли в один день». Поэтому я расскажу вам свой сон.

По изумрудно-зеленому полю бежали кони, черный и белый. За белым стелился по траве кровавый след. Вот и все. На такую тему хокку не сочинишь. Есть стихотворение античного автора о том, что ретивых коней узнают по выжженным таврам, а счастливых любовников — по глазам, в которых сияет пламень томный. Мне не написать лучше.

Кстати, публике будет небезынтересно узнать, что мое отношение к коту заметно ухудшилось. Я даже начал сомневаться, продержится ли он до финала моего повествования, в котором

всеми четырьмя лапами он должен будет взять последний аккорд. Если бы не жанр котурналий... Послушайте, что случилось недавно.

КОРОТКАЯ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ О TINCTURA VALERIANAE И О КОТЕ

(все участники без котурнов)

У меня разболелся зуб. Я мог бы описать это весьма натуралистично, но предполагаю, что уважаемой публике хорошо известно это состояние. Во время моих мучений, в коротких перерывах между безумной болью, снимаемой всеми доступными средствами, меня посетила мысль о том, что, в общем-то, зубная боль — она как любовь. Только любовь не измеряется временем, а зубная боль очень даже измеряется.

Благодарю богов за любовь, даваемую нам на год, на месяц, на час, на пять минут!

Благодарю богов и за зубную боль, даваемую нам для того, чтобы мы могли понять: любовь — вне времени!

Благодарю богов за любовь, даваемую нам!

После сожжения гекатомб богам глубокой ночью боль снова восторжествовала над моим просветленным сознанием. Я метался по дому, чтобы найти хоть какое-то средство, еще не испробованное мною. И наткнулся на tinctura valerianae (*просторечн.: валерьянка. — Автор.*), хранящуюся, как и положено, в защищенном от света месте. Я смочил кусочек ватки в настойке и положил на зуб, как было рекомендовано. О радость! Боль мгновенно утихла. Но возникла новая неприятность: мой кот. Вернее, его безобразное поведение. Известно неадекватное (или адекватное?) отношение котов к валерьянке. Он стал тереться о мои ноги, кататься по полу, ходить кругами, облизывать мои пальцы и плотоядно поглядывать мне в рот. Я выгнал его из комнаты, желая скорее погрузиться в сладостное забытие. Увы! Кот мерзко мяукал, царапал пол, запрыгивал на ручку двери, пытался подсунуть под нее свои черные лапы... Кое-как я заснул...

*А снег за окном
Все пытается замести
Прошлогодние листья.*

Пробуждение было ужасным. На моем горле сидел черный кот. Его глаза светились диким блеском. Полная луна освещала комнату. Кот, урча, пытался лапами достать из моего полуоткрытого рта ватку, смоченную в tinctura valerianae...

И я подумал о том, что *какая-то мистическая символика* за абсолютно черным котом все же подразумевается.

КОНЕЦ СТРАШНОЙ ИСТОРИИ

Котурн третий
(без участия кота на котурнах, потому что он наказан
и заперт на некоторое время в сортире):
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

Наступали предновогодние дни. Я заранее предупредил моего друга о том, что Новый Год буду отмечать не с ним. Уже много-много лет я провожу эту ночь в одной и той же компании, состав которой неизменен. Он не отнесся к моим словам серьезно. Следствием этого стало его появление у меня вечером тридцать первого декабря. Он нервничал и много курил. Наконец, робко спросил, может ли он остаться... Нет... Глаза его наполнились слезами. Уголки губ поползли вниз. Он напоминал обиженного ребенка. Сказал, что ничего не понимает, и что вообще он готов уехать отсюда сегодня же ночью. Например, в Москву. И немедленно. Быстро и суетливо оделся. Попросил бутылку шампанского и хрустальный бокал. Милый мальчик, как он хотел остаться здесь! Не надо торопить события. Твой час еще не пробил. Тебе не суждено умереть в новогоднюю ночь.

Пора принимать гостей. Я никогда не переодеваюсь к празднику: ряженных будет достаточно.

Отказа, как водится, никто не прислал. Явились даже те, кого не ждали. В Москве говорят: «Там была вся Москва». У меня был весь мой Петербург.

Здесь были светские красавицы, ядовито передающие под верерами светские сплетни; капризные академические дамы без верев... Юноши с филологическими бородками и юноши без бородок, но в твидовых пиджаках. Женщина, предавшаяся однажды любви на горах мяса с мясником в мясной лавке. Тартуские бандиты, чопорно читающие в углу труды по знаковым системам. Им мешали сосредоточиться целые полчища мышей, воспользовавшиеся отсутствием моего кота.

Он погосел к почти пустому поезду. Заплатил проводнику. Пустой вагон. Пустое купе. «Обстоятельства вынудили, молодой человек?» — «Да, — рассеянно отвечал он. — Обстоятельства». Сел. И стал ждать отправления. Скоро застучат колеса. До наступления Нового Года оставалось полчаса.

Здесь были джентльмены, говорящие о политике, и джентльмены, говорящие по-французски. Мужчина в эспаньолке в маске спившегося испаниста со своим любовником, бывшим фельдшером. Графиня Анна Федотовна, как всегда, в вольтеровых креслах. К ней подходили, целовали сморщенную руку и тотчас забывали о ее присутствии. Промелькнул молодой человек в белой, как февральский снег, посмертной маске. Изредка между фигурами пронеслся петербургский ветер, приподнимая подола дамских платьев и срывая бауты.

Поезд отправился. Молодой человек не захотел чаю. Он запер купе. Раздвинул шторы. За окошком проносились невыразительные постройки петербургских предместий — скука загородных дач. Тяжелыми фальшивыми хлопьями валит снег. Молодой человек поставил на стол бутылку шампанского, хрустальный бокал. Очистил мандарин.

Я не люблю зиму и все, что с нею связано. Новогодняя ночь с каждым годом дается мне все трудней. Давит многовековая тяжесть. Немыслимо выдерживать такое количество покойников. Они утомляют, требуют общения. Что ж, пейте мою кровь. Ешьте мое тело. Спасибо А. А., которая помогает управляться с ними.

А. А. подошла ко мне. Мы раскланялись. «Я вижу, Сережа, здесь есть один новенький, которого я раньше не встречала». — «Да, познакомьтесь — это «персонаж, роли которого нет в повествовании». Я совсем недавно вырвал его из своего сердца. Он даже не успел отмыться от крови или клюквенного сока. И мне до сих пор больно об этом говорить». — «Хорошо. А куда вы услали своего двойника?» — «Мучаться в поезде Петербург-Москва». — «Вы жестоки».

Часы пробили двенадцать.

Большая и маленькая стрелки на часах совместились. За окном поезда продолжалось движение времени и пространства. Теплое одиночество несло через метель в никуда.

«Кто-то стучится, дорогая А. А». — «Вы же знаете, стучится только Медведь-Липовая-Нога». — «Сколько раз я просил, чтобы его не присылали. Он совершенно бессмысленен. И глуп, как всякая страшность. Будет всю ночь реветь, требовать свою ногу. Но здесь раздают только котурны. И вообще, я не понимаю, какое отношение русский фольклор имеет к Петербургу. Займитесь им, пожалуйста, А. А., только вы можете справиться с чудовищем. Или передайте его цыганам, у них как раз не хватает медведя».

Ко мне подскользнул некто, переодетый Судьбой. Заговорил вкрадчиво. «Говорят, Сергей Викторович, вы обрели своего двойника. Поздравляю. Что ж вы его нам не показываете? Нынче двойники редкость. Как вы с ним собираетесь обойтись?» — «Никак». — «Неправда. Вы собираетесь его убить. Вы уже давно замыслили это и даже ручки потираете, предвкушая удовольствие. Куда только делся ваш романтизм? Вам же намекали, что убийство — вещь пошлая и неинтересная. Даже если вы обставите все с присущим вам безупречным вкусом. Любимых людей проще бросать. Мой вам совет...» — «Я не нуждаюсь в советах и не желаю продолжать этот разговор». — «Тогда посмотрите дивертимент». — «Я его видел». — «Произведения искусства, в отличие от наших чувств, не утрачивают своей новизны. Для вас оставлено кресло в первой ложе. Поторопитесь. Как бы его кто-

нибудь не занял». — «Мне не нравится ваша маска». — «А мне не нравится ваша судьба. Ну и что? Делайте, что вам положено».

И я подчиняюсь. Я всегда подчиняюсь Судьбе, даже если в Судьбу нарядился негодяй.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

Музыка написана неизвестным композитором в начале восемнадцатого века.

Партии в оркестре: звон колоколов Владимирского собора, бой часов на башне Городской Думы, завывание зимнего ветра на Дворцовой набережной, шуршанье Невского проспекта под ногами прохожих, голос одинокой трубы под аркой Генерального Штаба, стук и всхлипывания Медведя-Липовая-Нога.

Вокальная партия: бывшая меццо-сопрано в одном из переходов метро.

Все обволакивается Тишиной, сквозь которую через каждые двенадцать тактов пробивается звук бисквита, ломаемого тонкими пальцами.

Декорации: колоннада Казанского собора, в нишах которого прячутся души загубленных влюбленных. На заднем плане пролетает, беззвучно хохоча, кто-то ужасный в белых прозрачных одеждах.

Освещение: полная луна сквозь ветви.

Все балансирует на тонкой грани.

Участники дивертисмента прогуливаются парами между колонн. Каждая пара вполголоса напевает, почти бормочет: «Мне страшно». Через некоторое время появляется некто в маске старого шарманщика. Все отступают его и фальшивыми голосами просят показать свою судьбу. Шарманщик отказывается. Ария: «Судьба каждого давно известна всем!» С ним не соглашаются. Многоголосие в перебранке. Соло в оркестре Медведя-Липовая-Нога. На заднем плане проносятся обнаженные обезображенные тела старика со старухой, сваривших медвежьей ногой. Шарманщик все-таки показывает каждому его судьбу, которая уже состоялась. Все в восторге. Сцена освещается второй полной луной. Соло в оркестре часов на башне Городской Думы. Апофеоз: подошедшие из-под сводов Гостиного Двора вечерние одиночки экстазично танцуют па-де-де, па-де-труа и па-де-катр. Сцена пустеет. Колокольный звон Владимирского собора. Петербургский ветер проносит этот звон по улице Достоевского и обратно. Декорации меняются. Пространство сцены заполняется зеркалами. Шарманщик наигрывает мелодию. Бывшая меццо-сопрано исполняет старинную английскую песенку под аккомпанемент шуршащих по Невскому проспекту ног прохожих. В зеркалах отражается то, что никогда еще не отражалось. Двое героев приближаются друг к другу. Их руки соединяются. Зеркала исчезают. Затемнение. Соло трубы под аркой Генерального Штаба. Падает снег. На аплодисменты не выходит никто.

Падают снег. Остановка в Бологом. Он одевается и выходит. Ждет поезда, чтобы вернуться в Петербург. Допивает шампанское. Бросает хрустальный бокал — на счастье. Бокал не разбивается. Бокал падает в снег.

Мы встретились утром. Падал снег, снег, снег, снег.

ПЕРЕРЫВ В ДРУГОЙ ИСТОРИИ

ИЗ РАЗГОВОРОВ ПРИ ТЕАТРАЛЬНОМ РАЗЪЕЗДЕ

— Вам не кажется, что автор написал все это не для широкой публики?

— Отчего же?

— У него весь мир населен людьми, которые любят, находят-ся в поиске любви, или уже разлюбили. А большинство зрителей не знает, что такое любовь.

— Сударь, вы наступили мне на котурн.

— Извините, я хромаю.

КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ НА ГРУДАХ МЯСА С МЯСНИКОМ В МЯСНОЙ ЛАВКЕ

Это случилось в Японии очень давно. У нас в наши времена такое случиться не могло.

Жила на свете одна японская дама. Она выращивала хризантемы, воспитывала детей и любила мужа. Все это не является поэтическим преувеличением. У нее действительно был садик с хризантемами цвета кадмия темного красного. У нее действительно было двое детей, и, надо сказать, из них выросли достойные граждане японской страны. И она действительно любила своего мужа. Каждые выходные на протяжении многих лет детей отправляли к бабушке с бабушкой. Они с мужем закрывались в доме, никого не принимая и предаваясь любви. Так страстно, как чужеземцы способны только в первый месяц знакомства. Шли годы. Выросли дети. В ее садике цвели совсем другие хризантемы. Но по-прежнему на вопрос: кто ей дороже, муж или дети? — она отводила глаза и густо краснела.

И вот однажды японская дама отправилась за покупками. Стрекотали цикады. Вьюнок-однодневка оплетал древнюю изгородь. Воробьи ссорились из-за крошки хлеба. Дети запускали воздушного змея. По пути она придумала стихи:

*Все как всегда.
Но в жужжанье шмеля
Нахожу что-то.*

(Здесь и далее перевод с японского — автора.)

Впрочем, через некоторое время она поправила себя:

*Слышу что-то
И в жужжанье шмеля.
Все как всегда?*

Однако только после захода к зеленщику ее стихи обрели совершенство:

*Обычный день. Но слышу
В жужжанье шмеля
Новый звук.*

При этом она подумала, что и по дороге между продуктовыми лавками может возникнуть прекрасное.

С ней раскланялись соседи. Госпожа К. похвалила ее новую заколку, но сказала, что завязывать узел на поясе кимоно нужно по-столичному, на новый манер, как это делает она.

*(Злая соседка!
Даже лепестки розы
Увяли печально.)*

Господин Л. посоветовал скорее завернуть в рыбную лавку, куда только что доставили живых карпов. Она улыбнулась, вспомнив:

*Как блестят чешуйки
На моем перстне!
Чищу рыбу на солнце.*

Зашла в лавку и увидела:

*В окне у рыбника
Кажутся живыми
И эти сушеные рыбы.*

Купила карпов. Они все били и били хвостами в ее свертке. Теперь оставалось только зайти к мяснику. И она зашла в мясную лавку.

И увидела там нового помощника мясника. От его тела исходила необычайная сила. Ниже пояса у него висел меч самурая огромных размеров и весьма искусной работы.

*Такой самурайский меч
Каждый хотел бы вставить
В свои ножны.*

Она забыла о муже, детях и хризантемах. Узел на поясе кимоно развязался сам собой. Тот самый узел, что был завязан не по-столичному. И она отдалась ему прямо на грудях мяса. И никогда не жалела об этом.

С тех пор каждый день она готовила какое-нибудь мясное блюдо своей семье. Впрочем, исключая выходные — в эти дни, как известно, она не выходила из дома.

КОНЕЦ КОРОТКОЙ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ

Как всегда, через несколько дней после утомительной встречи Нового Года, когда мой кот еще доигрывал с последней мышкой, у меня в гостях появилась А. А. «Вам не кажется, Сережа, что ваша история с двойником несколько затянулась? Не пора ли приступить к кульминации?» — «Что вы, А. А. Я должен оставить какое-то время героям для блаженства. Зато потом публика острее почувствует трагичность финала. Мною все предусмотрено. Я обещал вам детективную историю и готов ее рассказать». — «Что ж, это замечательно. А я готова ее слушать», — отвечала А. А., затягиваясь папироской.

ИСТОРИЯ О ВРЕДЕ ЧТЕНИЯ «КРИТИКИ ЧИСТОГО РАЗУМА» В ПОЕЗДЕ ДАЛЬНОГО СЛЕДОВАНИЯ, ИЛИ УДАР КАНТА

Расследование убийства в поезде Адлер—Санкт-Петербург затянулось, не дав при этом никаких результатов. Дело было закрыто. Это было одно из самых жестоких и загадочных преступлений нашего века. В прессе высказывались различные предположения, впрочем, по утверждению следователя г-на N., совершенно необоснованные. Был убит проводник Генцварадзе — большой и сильный мужчина. Смерть наступила в результате удара неизвестным тупым предметом по затылку. Сейчас, когда миновало столько лет, многие действующие лица давно умерли и история эта подзабылась, ничто не мешает мне пролить свет на эти страшные, но вместе с тем трогательные события.

Курсистке Леночке П. тогда было восемнадцать лет. Нельзя сказать, чтобы она была несказанно хороша собой. Но ее хрупкая фигурка, манера одеваться, мягкие черты лица и волосы цвета вороного крыла, безусловно, обращали на себя внимание окружающих. Стояли лютые морозы. Курсистка Леночка ездила в Адлер зимой не потому, что любила зимние курорты — она навещала своего жениха, милого мальчика Андрюшу, проходившего там службу. Знаком их любви было тоненькое серебряное колечко на ее левой руке. Вскоре они собирались обвенчаться. И соловьи для них пели даже в зимнем Адлере. Каникулы промелькнули незаметно. Пришла пора возвращаться. Леночка села в совершенно пустой поезд (почему-то мои герои путешествуют только в пустых поездах — над этим стоит задуматься) и отправилась в Петербург. В вагоне она сразу ощутила что-то неладное. И не зря. Большой и сильный мужчина проводник Генцварадзе явно оказывал ей знаки внимания. Курсистке Леночке эти знаки внимания не понравились. Она хотела одного — скорее доехать до дома. Кое-как устроившись в пустом холодном купе, она достала из сумки сочинение Канта «Критика чистого разума» и попыталась читать. «Паслушай, дорогая, что ты читаешь? Такой красивый женщина из должен читать философия! Женщина должен читать дэтэктив!» И так до бесконечности. С большим

трудом ей удалось от него отделаться, забраться на верхнюю полку и забыться беспокойным сном.

Проснулась Леночка оттого, что кто-то ласково гладил ее по голове. Открыв глаза, она увидела (какой-то III Интернационал, а не вагон!) перед собой босоногую цыганку — с косами, с монистами, с юбками — со всем, что положено настоящей цыганке. Из коридора раздавались шум и смех: там вольною толпою бродили цыганы. Не хватало разве что медведя. «Красавица, медовенькая моя, дай погадаю. Не так ты проста, как кажешься. Ты — темное отражение в зеркале своего подсознания. И сама того не понимаешь, потому что час для этого не пробил. Дай рубль! Не мне, дитяте моему». Непонятно как, но кошелек Леночки оказался в руках цыганки. Столь же таинственным образом последняя десятка перекочевала в смуглый кулак. И через мгновение исчезла, как будто ее и не было. Леночка представила себя одну в большом городе без копейки денег, и ее темное отражение тотчас выскочило из зеркала. Она схватила цыганку за черную косу и прошипела: «Отдай деньги, по-хорошему прощу. Последние они». В глазах цыганки отразилась Леночка одна в большом городе без копейки денег. Десятка снова возникла в ее кулаке. «А книгу эту выбрось. Несчастье тебе от нее будет, судьба твоя переменится. Ой, лихо! (Что они все привязались к Канту, — подумала Леночка.) Алеко, пойдем отсюда!» — крикнула цыганка в коридор. И табор растворился так же быстро, как и возник.

«Сэли в вагон на полустанке. Ничего нэ сдэлаешь», — откомментировал проводник Генцварадзе. «А они заплатили?» — наивно спросила курсистка Леночка. «Какое заплатили? Какие дэньги? Цыганы, понимаэшь? В вагоне-рэсторане сидят. Вольный народ — рэжь мэня, жгы мэня!»

Судя по тому, что проводник возобновил свои домогательства, они вновь остались в вагоне одни. Дальнейшее происходило как в тумане. Проводник трогал Леночку большими волосатыми лапами. И она изо всех сил ударила «Критикой чистого разума» по его неразумной голове. Он упал бездыханным. Леночка схватила свою сумку, шубку и Канта и заметалась в поисках выхода. К счастью, в этот момент поезд остановился и она выбежала на станцию. «Пойдем, милая, с нами», — произнес знакомый голос. «Я же тебе говорила, судьба твоя переменится от этой книги. Пойдем, у нас тебя никто искать не будет». И следы курсистки Леночки П. затерялись вместе с цыганским табором. Кто отыщет, где они, цыганы? Вольный народ. Известно только, что замуж за мальчика Андриюшу Леночка так и не вышла.

КОНЕЦ ИСТОРИИ О ВРЕДЕ ЧТЕНИЯ

«Что ж, Сережа, в качестве разминки эта детективная история годится. Вызывает сомнения Кант. Может быть, дать Леночке томик «Войны и мира»? Он потяжелее». — «Орудие убийства у меня самого вызывало сомненья. По первоначальному замыслу

все происходило не так. В одной адлерской лавочке, торгующей контрабандой, курсистка Леночка купила, извините,
» — «Нет, Сережа, пусть уж лучше будет Кант». — «Хорошо. Добавлю только, что душа проводника с тех пор обитает в нишах Казанского собора».

Но я действительно отвлекся. История на котурнах должна развиваться дальше. Пора моему другу одевать фрак и подвязывать

котурн третий и котурн четвертый (с участием кота без котурнов): ДРУГАЯ ИСТОРИЯ

На конец января в Большом зале был назначен Равелевский D-dur'ный концерт для фортепьяно с оркестром.

Когда-то, еще в Первую мировую войну, в солдатских окопах по разные стороны линии фронта кормили вшей австриец и француз. Австрийцу оторвало снарядом правую руку. Это был Пауль Витгенштейн, известный пианист. А француз был известным композитором Морисом Равелем. И много лет спустя второй написал для первого фортепьянный концерт, исполняемый левой рукой

Ожидался аншлаг, телевидение, дамы в брильянтах, мужчины в смокингах.

Мой друг нервничал — как, впрочем, всегда перед выступлением. Еще и потому, что D-dur'ный был из редко исполняемых и весьма сложных произведений. Мне очень хотелось как-нибудь успокоить моего друга, но, в конце концов, для людей его профессии нервное состояние перед выходом на сцену подразумевается а priori.

Я оставил за собой место на левой стороне хоров, прямо над пианистом. Устроился так, чтобы можно было не только слушать, но и видеть. Соотносить работу одной руки со звучанием двух. И еще я думал, что мое присутствие у него за спиной подержит его.

Он перестал нервничать. Оркестр начал тему. Затем на fortissimo вступил он: две руки. Но правая безжизненно висела, демонстрируя публике мастерство исполнителя.

Нет, это были не тонкие и ломкие пальцы моего друга. Это были сильные и жесткие пальцы человека, владеющего неведомым. Я не знаю, соединяется ли во время исполнения душа музыканта с душой композитора.

Первая сольная каденция завершилась мощным glissando от ля контроктавы до ре второй октавы, и fortissimo его подхватил оркестр. Я увидел: что-то случилось. Он как-то странно дернулся, как от боли. Перерыв в его партии.левой рукой он достал платок, скомкал, убрал. Я понял, что в glissando он поранил ноготь первого пальца.

Правая рука безжизненно висела...

Большую — часть — концерта — он уже играл — получает — в бреду. Это была — физическая — боль — извлекаемая пальцами — из — клавиш. Появилась — кровь — кровь. Его рука — летала — по всей клавиатуре: еще одно glissando на две октавы. В движеньи — правой — руки — намек — на — помощь. Долгое tremolo первым-вторым. И еще одно glissando на две октавы. По белым клавишам — размазывалась — кровь — кровь. Падал — снег — снег.

Ему заломили руки за спину. Грубо стянули ремнями. Кинули на сетчатую койку. Резкие переходы от piano к fortissimo. Сначала до изнуренья били сапогами. Glissando на всю клавиатуру. Кровь, кровь. Снег, снег. С тупой жестокостью в синкопированном ритме его стегали ремнями. Он уже не понимал ничего. И еще одно glissando на всю клавиатуру. Он не чувствовал боли, не чувствовал силы ударов. Только ритм, на который отзывалось все его тело. И темп, переходящий от vivo к vivace. Это не слезы, а кровь. Это снег. Вот еще, еще. Удар. Удар. И सदороганья тела в мучительном экстазе. И завершающее glissando. Все.

Трижды он выходил на поклоны. Улыбался, весь бледный. И прятал за спину левую руку. Правая продолжала безжизненно висеть.

Доктор сказал, что ему нельзя будет садиться за инструмент как минимум две недели. И эти две недели принадлежали мне.

К сожалению, они были омрачены неприятными событиями.

Меня пригласили на телевидение выступить в передаче, посвященной годовщине смерти безвременно и трагически ушедшего от нас поэта ***. Мою речь, пламенную и живую, вырезали при монтаже от начала и до конца. Я возмутился. Наговорил по телефону кучу гадостей редактору. И не только ему. И не только по телефону. Мелочно, конечно. Редактор (я буду называть его «телевизионщик») оскорбился. И, с присущим всем нам петербургским снобизмом, потребовал сатисфакции. Я ответил через посредников, что готов дать ему удовлетворение. В тот же день меня посетил его секундант. «Как предпочитает драться господин телевизионщик?» — спросил я. — «С автором «Кота на котурнах»? Естественно, на котях. Непременное условие: не подвязывать коту котурны. Остальные детали обговорим с вашим секундантом, — отвечал посредник телевизионщика. — Кстати, позвольте взглянуть на вашего кота». — «Смотрите сколько угодно. Он сейчас отдыхает», — и я небрежно махнул рукой в сторону сортира. Такова была завязка истории о знаменитой дуэли на котях.

«А ты не боишься? — спросил меня мой друг. — Последнее время нас преследуют неудачи. Тем более, твой кот ленив и привык выступать только на котурнах, без них же лежит в известном месте». — «На кота я уже согласился. А тебе придется быть моим секундантом».

За синим морем, за синей галью я схоронил свое сердце. Левитой печалью, тоской о былом я заградился от людей. Этот

щит не разбить и не расколоть — мой сон крепок. Но иногда мне снится, что холод расступился, и я вновь оживаю под взглядом прелестных очей. Все будет хорошо.

Дальнейшее уважаемой публике хорошо известно. Телевизионщики снимали дуэль на котах, и этот фильм неоднократно демонстрировался по петербургскому телевидению.

Местом дуэли секунданты выбрали речку Оккервиль. Целую неделю мой друг приучал кота обходиться без котурнов. Кот делал это с большой неохотой и, пользуясь каждым удобным случаем, бегал отлеживаться в унитазе. Какой-то прогресс все-таки наметился: помогла настойчивость пианиста, отлученного доктором от своих ежедневных гамм и арпеджио. «Да, обучить моего кота ходить без котурнов сложнее, чем левой рукой исполнять на фортепьянах Равеля», — думал я, наблюдая за ними. «Может быть, опозить его перед выходом валерьянкой?» — предложил мой друг. «Ни в коем случае — никакого допинга. Мы должны играть честно. Тем более котов будет проверять доктор». — «А себе мы будем подвязывать котурны?» — «Дуэль с телевизионщиком — не повод для трагедии, мой милый. Котурнам не долго осталось лежать в пыли. Не волнуйся».

И вот наступил вечер дуэли. Я облачился в длинную соболью шубу. Достал (сколько десятилетий хранится без дела!) свою старую трость с набалдашником в виде головы черного пуделя. И мы вышли. Мой друг следом за мной нес кота. Мы сели в ожидавшую нас карету и отправились на речку Оккервиль. Сделалась метель. В одну минуту небо слилось с землею. Но *этой* кучер никогда не ошибался в дороге, а *эти* вороны были самыми надежными на земле — и не только на ней. В метельном пространстве вокруг нас кружились, роились, повизгивали, похихатывали — обычный эскорт. Мой друг забился в самый угол кареты — ему стало страшно. Что поделать? Дуэль — случай особенный, требуется соблюдать приличия и думать не только о нервной системе своего секунданта, но и о своей репутации. Всякий выезд — так заведено — обставляется соответственно рангу. Потому-то в обычные дни я предпочитаю ходить пешком, не люблю этого ритуального маскарада. «Может быть, ты еще и тени не отбрасываешь?» — робко спросил меня друг. «Перестань, пожалуйста. Кто ее отбрасывает в такую погоду? А вообще, ты мог бы быть внимательнее и не задавать глупых вопросов. Впрочем, мы уже приехали. Сейчас насладимся плодами твоей дрессуры и бездарностью TV-кота».

Нас уже ждали. Телевизионщик в теплой кожаной куртке. Его секундант с косичкой (кажется, оператор с TV). И доктор с осанкой отставного офицера царской армии и коротко подстриженными седыми усами. Доктор отвел меня в сторону. «Вы знаете, вообще-то я гинеколог. Я впервые присутствую на дуэли, но первую помощь, разумеется, окажу. Условия кажутся мне слишком жестокими — с десяти шагов до первой крови. Желаю вам удачи, вы мне симпатичны». — «Спасибо, доктор. Вы мне тоже. С

медициной меня многое связывает. Встретимся в более приятной обстановке, выпьем коньяку. Вот моя визитка». — «Очень рад».

Дальнейший видеоряд фильма разворачивался под Чакону Баха. Секунданты обратились к нам с традиционным предложением примирения. «Нет!» — отвечал я. «Нет!» — отвечал телевизионщик. Определили барьер, отсчитали десять шагов. «Теперь сходитесь!» Мой противник был бледен — он не хотел умирать. Мы выпустили своих котов. Они подошли к барьеру, уселись друг против друга, не отводя глаз. Что-то это напоминало — ах, да! — набережную перед Академией Художеств. Над речкой Оккервиль нависла угрожающая тишина. В чемодане доктораanziaквивали гинекологические инструменты. В воздухе носился запах крови. Мой друг дрожал. Я положил ему руку на плечо. «Все будет хорошо». Снег перестал падать. Проглянули далекие звезды. Полная луна сквозь ветви освещала сцену... Нет, простите — это уже было. Молодой месяц, двурогий жених, неудачно пошутил с освещением. Приблизился миг осознания вечности, постижения тщеты всего сущего и эфемерности бытия... TV-кот не выдержал долгого взгляда моего кота, привыкшего медитировать часами в своем храме уединенного размышления. TV-кот спешно поднялся и ретировался с позором. Секунданты признали полное поражение моего противника. Я был удовлетворен. Мы примирились с телевизионщиком. Поблагодарили доктора — и он отправился решать проблемы своих пациентов. Мы с другом отослали карету, предварительно сложив туда весь наш нехитрый реквизит, потому как решено было возвращаться домой на попутке.

На шоссе почти сразу мы остановили микроавтобус и устроились в нем. «Тэрэ сыбер, здрааствуйте, наконец-то мы и встретились», — услышал я голос с сильным акцентом. Месяц осветил салон, и я с неудовольствием обнаружил, что мы сидим в окружении тартуских бандитов.

«Мы давно следим за вами. И долго не могли прийти к консенсусу: кого из вас мы должны упить. Даже немножко повздорили между сопоой. Двойники в нашей практике встречаются впервые. Выпритый на вашем затылке треугольник давно зароос, к сожаленью. Теперь судья разрешила это недоразумение: вы опа находитесь в наших руках и опа приговорены к расстрелу. Кстати, мастер уже выпил *вторую гату* на вашей мемориальной доске». — «Отпустите музыканта, у него гибель назначена на другое число». — «Мы отпустим только черного кота, он всем нам порядком надоел. Пусть поищет котурны», — пошутил бандит и, приоткрыв дверцу, выбросил моего кота в ночную тьму. «Могу еще сказать, — доверительно продолжал он, и рыжие муравьи на нем закопошились, — вычислили мы вас очень просто. Наш коллега из Петербурга, он рапотает на Невском проспекте...» Тут из угла салона вылез мерзкий старик и протянул ко мне дрожащие ручки: «Отдайте шубу, господин, если вам дорога жизнь!» — «А пошел ты на ...!» — ответил я ему без купюр. «Шупу вы ему все равно отдадите, он ее заслужил. Так вот. Он встретил вас на масленичной неделе. Вы пытаались залезть

на высокий гладкий столп за подарочком. А потом ушли. Из кармана у вас случайно выпала пумага, на которой значилось хокку о рыпке, которую, прежде чем съесть, следует хорошенько рассмотреть. И мы пошли по вашему следу, который вы пытались неутачно замести всякими псевдояпонскими историями о коротком пальто, пиковой даме, Канте и мясной лавке. Нас не проведешь! Осопое неудовольствие нашего руководителя вызвал расказ о встрече Нового года, в котором наша структура выставлена на посмешище! Никакие полчища мышей не смогут помешать нашим людям читать труды по знаковым системам! Сейчас мы подъедем к устью Невы (для вас оно станет устьем Леты!), где приговор будет приведен в исполнение». Я пытался возражать. «Господа, — сказал я, — во-первых, меня не могут убить смертные, а во-вторых, не вам судить о художественных достоинствах моего произведения. Мне смешно все это, но мне не нравится, как вы поступили с моим котом. Придется быть мстительным — что мне не свойственно. К тому же, вы нарушаете архитектуру моего повествования».

Дальнейшее понеслось в ускоренном темпе. Из метельного пространства перед автомобилем возникла дама, вся в белом, с черным котом на руках. Она бросила кота в лицо водителю. Кот прошел через стекло, не разбив его. (Спасибо, А. А., — поблагодарил я мысленно.) Водитель (мальчик в макинтоше резиновом) резко затормозил, машину занесло, и, несколько раз перевернувшись, она свалилась в кювет...

В те несколько секунд, пока я находился в забытьи, А. А. появилась опять, но на этот раз под руку с каким-то военным. «Кто это?» — тихо спросил я. «Тот самый, о котором я вам рассказывала анекдот». — «А ваш замечательный любовник в пальто, что с ним?» — «Ах, Сережа, это неинтересно: он служит привратником в борделе».

Из перевернутой машины меня вытащил мой друг. Кое-как мы выбрались на дорогу. «Ты хромаешь?» — спросил меня он. «Я всегда хромаю на левую ногу. Пойдем быстрее». В это мгновение за нашими спинами взорвалась машина. «Ничего не совершается зря!» — процитировал мой друг, поглаживая кота. «Да уж. Тем более, когда ива роняет листву в пересохший ручей». Мы обернулись и увидели чудную картинку: из корпуса обезображенной машины в ночную мглу морозной ночи друг за другом выплывали серебристые карпы.

С тех пор мы перестали есть рыбу.

СЦЕНА ПЕРЕД ФИНАЛОМ

Играется двумя актерами на котурнах

В моем городе бывают такие дни, когда его население перестает существовать. Остаются только гранитные набережные, дома и Нева, несущая свои воды куда-то... зачем-то... И она все

возвращается к тому месту, откуда течет, чтобы опять течь. И ветер кружится, кружится на ходу своем и возвращается на круги свои. И снег падает, падает, чтобы никуда не лечь... В такие дни обычное равнодушие города к себе и к жителям заполняет его до краев. И город примеривает грядущую маску великого утопленника. Зло, которое и под водой будет злом.

Мы шли по пустынному городу. Он был похож на старинную литографию. Все его закоулки, переулки, улицы и проспекты заканчивались — на просвет — Невой. В подворотнях гулко отдавался стук наших котурнов о мостовую.

«Далеко ли еще?» — спросил мой друг обреченно. «Далеко. Но там мы обретем гармонию и покой. Не бойся». — «Я не боюсь». — «Вот и хорошо». Наплывали знакомые строчки:

И затворились двери. И замолк звук жернова. Зацвел миндаль, отяжелел кузнечик, рассыпался каперс. Порвалась серебряная цепочка, разорвалась золотая повязка, разбился кувшин у источника, обрушилось колесо над колодезем...

И что-то там еще о стерегущих дом, смотрящих в окно и о плакальщицах на улицах...

Мы миновали Таврический сад и вышли на улицу Салтыкова-Щедрина. Из-под высокой арки послышался стук котурнов. Нет, это были не котурны: прикрываясь зонтиком, показалась хрупкая японская дама, семенящая маленькими шажками. Она пробормотала мое новое хокку:

*Вновь проступили
Мои слезы, смытые
Прошлогодним гожем.*

И торопливо пересекла улицу. Я успел заметить, что узел на поясе ее кимоно был завязан не по-столичному.

Мы вышли на Литейный и направились в сторону Невского. «А вот здесь нам пора поворачивать, — сказал я и взял моего друга под руку. — Мы почти пришли». И мы очутились в садике, отгороженном от города домами, а от Фонтанки дворцом, в темных окнах которого отражались тени заснеженных кленов, спящих много лет назад. Мы остановились на месте, где когда-то находился аргуновский грот. В этот момент напряженную тишину петербургской ночи нарушил гомон цыганского табора, неизвестно откуда возникшего. На цепи цыганы вели медведя, странно хромающего на одну ногу. Они окружили нас.

«Давай погадаю, касатик!» — обратилась ко мне старая седая цыганка с трубкой в зубах. Я почувствовал запах хорошего голландского табака. «Твоему другу гадать не стану, ты уже придумал его судьбу. И изменить ничего нельзя. Ты не виноват в том, что разделил свою душу на черное и белое. Отныне, когда будешь смотреть в зеркало своего подсознания, в нем будет отражаться только твоя темная сторона — или не будет отражаться ничего. Ты сам хотел этого. А если чего-то очень хочешь, оно

непрерывно случится! Нужно только все идти и идти! Как говорил один старик, живший когда-то среди нас...» — «Это был Овидий?» — «Нет, касатик, его звали Иммануилом. Он говорил: никогда не доверяй чистому разуму! *(И тут я с изумлением увидел, что передо мной бывшая курсистка Леночка П.)* Доверяй только вот этому», — и она дотронулась своей рукой до моей груди. Но там давно уже не было сердца. «Во флигель не ходи — тебе туда нельзя. Видишь: следы, — и она показала своей трубкой вниз: на снегу проявились следы крови или клюквенного сока. — У нас когда-то пели о том, что каждый убивает того, кого он любит. Что ж, вот тебе ключи от дворца. Вам на второй этаж, ты сам знаешь, куда. А нам пора». — «Постойте, — крикнул я. — Почему вы все на котурнах?» — «Мы исполняем роль рокового хора», — ответили цыганы и исчезли так же внезапно, как и появились.

ФИНАЛ

*Играется двумя актерами на котурнах
С участием кота*

В молчании мы прошли через анфиладу комнат первого этажа, освещая себе дорогу единственной свечой. Кругом были разбросаны какие-то тряпки, бумаги, раздавленные хризантемы, остатки сломанной мебели... Как будто кто-то перед нашим приходом дал разразиться безумному урагану своей злобы. По черной лестнице мы поднялись наверх. С трудом в полутьме отыскивали белый зеркальный зал. И странно отразились в зеркалах: он повторял меня, я — его. И этот эффект двойственности-двоения утраивался, усмерялся, удесятерился отражениями зеркала в зеркале. Где-то в глубине зеркального пространства мелькали, сменялись, перерастали друг в друга тени тех, кто когда-то посещал этот зал. И наши лица (одно лицо?) в конце концов затерялись среди отражавшихся призраков. Я с трудом прошел через груды развороченного паркета и торчащие балки. Поставил свечу на зеркало, лежащее на полу. Мой друг медленно подошел ко мне. «И как все это будет происходить? Ты меня зарежешь или задушишь? Или, может быть, застрелишь?» — «Нет, все будет не так, как ты думаешь». — «Тогда дай мне руку!» — «Нет. Умереть должен ты один. Я — твой двойник, твоя темная сторона — останусь здесь. Моя доля много горше твоей. С этого момента я обречен на вечную тоску по тебе. И от нее мне не суждено будет избавиться. Каждую ночь я буду плакать по тебе и метаться в бессоннице по кровати. И каждый день я буду блуждать по городу в поисках тебя — и не находить. И тело мое, и душа моя будут разрываться без тебя — но не смогут разорваться. И где бы я ни был — только о тебе будут все помыслы мои. И земля наполнится моей вечной тоской по тебе, воздух содрогнется от моего скорбного стога о тебе, воды понесут в никуда мою

любовь к тебе... И я буду гореть в огне тоски, и ничем не смогу залить его. И никто не поможет мне — и не поможет никогда... Нас создали обреченными на одиночество. Я должен тебя убить, потому что я не могу тебя бросить. Минута твоя пришла. Прощай». — «Но дай мне руку в последний раз!» — «Нет, уже нельзя», — ответил я, с трудом удерживаясь от того, чтобы дотронуться до него в последний раз. Зеркало, на котором он стоял, уже начало трескаться. В это мгновение откуда-то из-под потолка мохнатый черный кот сверзился на нас с леденящим душу пронзительным визгом, в какие-то доли секунды раздвоившись, растроившись, растворившись в зеркалах, отразившись в отражениях и в отражениях отражений... Инстинктивно, пытаюсь уберечь самое дорогое мне на земле от взбесившегося кота, я обнял моего двойника...

И момент соприкосновения стал последним моментом нашего существования. Зеркало треснуло. Под нами обрушился паркет и балки... Обрушились перекрытия первого этажа и фундамент дворца... Обрушились семь оболочек земли и еще семижды семь оболочек земли... И не стало ничего...

КОДА

Позвонил доктор. Пригласил в гости — пить коньяк. Обещал рассказать интересную историю. Да-да, спасибо... В конце недели непременно буду... Нет, в субботу у меня концерт. Да, в капелле... Лист... Я оставляю вам контрамарку... Не за что...

Мне пора. Я одеваю свои черные одежды. Беру тросточку. Холодок в руках еще напоминает о визите в преисподнюю — визите незапланированном, и потому вдвойне неприятном. Все готово. Машинально смотрюсь в зеркало — но у меня нет отражения. Пора на сцену.

Я выхожу в заснеженные улицы. Я хромаю. Я не отбрасываю тени.

Если бы я посетил многие города мира, побывал бы во многих странах, все равно — никогда, никогда не выбрал бы этого города для моей жизни. Я давно заказал себе мемориальную доску.

По пути захожу в чайный домик. Прошу тушечницу, кисть и бумагу:

*Пересохший ручей
Несет свои воды
К заставе Афусака.*

Я выхожу на большую площадь, за два с половиной столетия почти смытую дождем и разнесенную ветром... Невознесшийся ангел...

Пушка на Петропавловской крепости возвещает о наступлении полудня. Я останавливаюсь, чтобы сверить свои карманные

часы. «Вы не скажете, который час?» — раздается голос рядом со мной. Я поднимаю голову с тем, чтобы ответить, но ничего не говорю, потому что...

Мои котурны, никому не нужные, пылятся в прихожей.

*Декабрь 1996 — апрель 1997 (Страстная неделя).
Санкт-Петербург—Москва—Санкт-Петербург*

РЭНКУ¹

из поэтического сборника «Кот на котурнах»

Кто ты, кот на котурнах?
Зачем проходишь мимо
Цветущих хризантем?

По этой дороге
Давно никто не бродил.

В осеннем пути
Встретились двое — и не разошлись.
Такое бывает?

Одинокий путник
Оглянулся назад.

Вот неприятность: мои следы
Смывает осенний дождь.
А я все иду и иду.

Свернуть — или нет
На новую дорогу?

Вновь проступили
Мои следы, смытые
Прошлогодним дождем...

Тушь в моей тушечнице
Давно закончилась.

¹ Рэнку — сцепленные строфы. Каждая строфа — законченный стих. В то же время любое хокку в сочетании с двустихием образует танка, при этом в двух вариантах: к трехстишию нужно присоединить предыдущую или последующую строфу.

Ива роняет листву
В пересохший ручей.
Камни, разбросанные там и тут.

Почему они вспомнились,
Счастливые дни?

Пересохший ручей
Несет свои воды
К заставе Афусака.

Я ждал тебя
Целую вечность!

Была когда-то
Серебристой ивой
И эта коряга у пруда.

Давно уже я
Ни о чем не вспоминаю.

А снег за окном
Все пытается замести
Прошлогодние листья.

Нарисовал зачем-то
Грустную картинку.

Жаркий полдень.
К быстрой реке наклонилась
Сухая сосна.

Передохнуть немножко —
И вновь за работу!

Как блестят чешуйки
На моем перстне!
Чищу рыбу на солнце.

Ветерок доносит
Бормотанье соседки.

Хочется рыбку съесть?
Посмотри: блестят ли
Ее чешуйки на солнце.

И серебристого карпа
Ожидают черви.

Злая соседка!
Даже лепестки розы
Увяли печально.

Разве можно
Все время жужжать?

Обычный день. Но слышу
В жужжанье шмеля
Новый звук.

Подпись под рисунком
Получилась удачно.

Ночной мотылек
Снова присел отдохнуть
На цветок, нарисованный мною.

С ветром упорхнул
Иероглиф с картинки.

В окне у рыбника
Кажутся живыми
И эти сушеные рыбы.

Люблю выдавать
Желаемое за реальность!

Такой самурайский меч
Каждый хотел бы вставить
В свои ножны.

Оглянись боязливо,
Но испытай неизведанное.

Кто ты, кот на котурнах?
Зачем проходишь мимо
Цветущих хризантем?

Посмотри: один цветок
Поломан ветром.

КОММЕНТАРИИ

Посвящается Н. К.

Автор этого произведения — филолог. Поскольку его основная работа состоит в комментировании чужих текстов, он не мог упустить возможности откомментировать свой собственный. Автор понимает, что не всякий читатель обращается к комментариям, но считает, что в данном случае они (комментарии) просто необходимы для лучшего восприятия сложного поэтического замысла автора.

Жанр произведения обозначен как жанр «декабрьских котурналий». Котурналии берут свое начало в Древней Греции и связаны с

празднованиями декабрьских календ в Элладе. Подробно описаны в «Илиаде», п. VI и VIII. В первых русских переводах Гомера, выполненных Гнедичем и Жуковским, описания котурналий не были пропущены цензурой. Ознакомиться с ними можно по позднему переводу Минского. Отсылаем читателя к нему — поскольку мы не решаемся привести эти в высшей степени безнравственные описания.

Автор приписывает это хокку Басё. — Хокку такого содержания исследователями не выявлено. Судя по всему, это современный вольный перевод. Автору «Кота на котурнах» он принадлежать не может, поскольку тот не владеет японским языком в совершенстве.

...deus ex machina. — «Бог из машины», фатум, рок. В классической трагедии в финале он карает героев. См. полные собрания сочинений Софокла, Еврипида, Эсхила и современных авторов, у которых есть полные собрания сочинений.

...созвучия кота и котурнов — это вышло непрегнамерно. — Понятно, что это вышло преднамеренно.

...заменить кота на собаку <...> котурны на сапоги... — См. «Кот в сапогах», сказку Ш. Перро.

...жизнь моя <...> всегда была чепухой и чушью <...> и не полюбит меня никто этой осенью. — Скорее всего, поэтический вымысел. См. биографию автора в этот период.

...подробное описание великолепной русской зимы... — Ср., напр., описания русской зимней природы у Хераскова и Хемницера.

...глазкий высокий столб... — Возможно, эвфемизм. См. труды З. Фрейда.

Хочется рыбку съесть? — Ср. с известной русской пословицей, привнести которую мы не решаемся по понятным причинам.

Если бы я посетил многие города мира... — Неточная цитата из «Одиссеи» Гомера, где речь идет о многоопытном муже, посетившем многие города мира.

...сделали аккуратную запись. — Запись следующего содержания: «В Петербурге мы сойдемся снова, / Слово солнце мы похоронили в нем» (см. Регистрационные книги кладбищ Санкт-Петербурга). Далее текст перенасыщен многочисленными реминисценциями, аллюзиями, прямыми и косвенными цитатами, не подлежащими комментированию.

Чжуан-Цзы. — Китайский философ-даос. Ему действительно приснился такой сон.

Марлен Дитрих низким голосом поет... — «Allein in einer grossen Stadt».

...чайный домик. — Скорее всего, имеется в виду петербургская рюмочная.

...вспомнить историю о монахе и о карпах. — По-видимому, история принадлежит Чжуан-Цзы.

...лушка на Петропавловской крепости... — Установленный факт. Дальнейшие слова автора о приглашении на казнь, о вечности, о Батюшкове и Мандельштаме не совсем понятны. Скорее всего, это — светская болтовня.

Если чего-то ждешь, оно непременно случится. — Избитая истина.

Тарту. — Город в Эстонии. Там находится кафедра русской литературы философского факультета Тартуского университета, т.н. «Тартуская филологическая школа».

«Gaudeamus igitur»... — По-видимому, средневековая католическая молитва. Разыскать ее не удалось.

...стелить ему постель. — См. эстонские свадебные обряды.

...пошли пить коньяк в Дом Ученых... — Одно из любимых заведений автора. В настоящее время кафе закрыто.

А. А. — Лицо неустановленное. Точно известно, что это не А. А. Ахматова, как подумал читатель.

Я хороню их... — Поэтическая метафора.

Из дневника покинутой японской мамы... — Как выяснилось, это запись русской народной песни, сделанная японским филологом и опубликованная в свое время в Японии. Японская дама (не будем здесь называть ее имя) просто занесла ее в дни печали в свой дневник.

...один молодой человек <...> попал в Обуховскую больницу. — Лицо неустановленное.

Не говорите мне «Я позвоню»... — Телефон автора не известен.

...стихотворение античного автора... — Анакреонта.

Наступали предновогодние дни... — История о новогодней ночи написана автором в поезде Петербург-Москва в ночь с 31.12 на 01.01.

В Москве говорят... — Установлено, что действительно так говорят в Москве.

Графиня Анна Феготовна... — Лицо неустановленное. Возможно, родственница автора.

Медведь-Липовая-Нога... — Герой русского фольклора, впоследствии — русский национальный герой.

...колоннада Казанского собора... — Известно, что в его нишах прячутся души загубленных влюбленных.

...кто-то ужасный... — Лицо неустановленное.

«Мне страшно». — Многоголосье из первой картины оперы П. И. Чайковского «Пиковая Дама».

Ария «Судьба каждого»... — Такой арии не существует в мировом оперном искусстве.

...исполняет старинную английскую песенку... — «Каждый убивает того, кого он любит».

Стрекотали цикады <...> Дети запускали воздушного змея. — Цитаты из известных хокку.

Дело было закрыто. — Дело номер 1675. События, изложенные здесь — подлинные.

В одной адлерской лавочке купила... — Что имеется в виду, неизвестно.

За синим морем, за синей галью... — Русская народная песня, неточно записанная А. А. Бестужевым-Марлинским и воспроизведенная автором по памяти.

...этот фильм демонстрировался... — Фильм назывался «Петербург без котурнов».

...выбрали речку Окжервиль. — Место весьма неудобное для дуэли. Думается, секунданты его выбрали из-за красивого названия.

Напивали знакомые строчки... — См. Кн. Екклесиаста.

У нас когда-то пели... — Старинная английская песня, еще в прошлом веке переведенная для цыган.

К заставе Афусака. — В японской поэзии «перейти заставу Афусака» означает «условиться с возлюбленным о встрече».

Денис Датешидзе

В ПОЛЕ МЕСТОИМЕНИЙ

* * *

К..?

*Состою — из чего, кого я?
Из грутик, — каждый дал, что мог.
Даже грустное или злое
Прикрепилось, вросло в комок.*

*Мне приятно, что ты — гругая —
Тоже спрятана в ткань комка.
Все, в чем, кажется, упрекаю,
Принимаю наверняка.*

*Я пространством вокруг — накормлен.
Но зачем же оно — мертво?
И в любое мгновение с корнем
Наше тесное рвет рождство?*

*Как мне жалко свое-чужое!
Это правда, что мы — одни?..
Только шепотом: «Знаешь, кто я?..
Обними меня!.. Оттолкни!»*

1.

* * *

*Уже к безрадостным фигурам —
Квадратным контурам земли —
Добавлен сумрак с дымом бурым,
Где дети шину подожгли.*

*Летит по небу зажигалка
С прозрачным пламенным хвостом,
Которой никого не жалко
В прямом движении простом.*

И в равновесии бесполом
Полу-луна, полу-самец
Является спокойно-голым...
Намек для трепетных сердец?

Ты не надейся и не бойся —
Все это кончится вот-вот...
Скользнув из двери, дама в гости
Себя с достоинством несет.

* * *

Вечер синий, безлюдный, чудесный,
А какой еще? — Ну, говори!
Чей-то голос бессмысленно честный
Проникает сквозь все словари.

И боишься застыть от вопросов:
Твой ли он или ты от него?
И останешься сам как набросок —
Эхо сладкое. Эхо мертво.

Что важнее: что вижу внутри я
Или то, что вокруг меня спит? —
Отражение, шизофрения,
С двух сторон одинаковый вид..

Ну и ладно. Сегодня и сразу
Мы узнаем, что значит «вдвоем»,
Все отрывки притянем к рассказу
И хотя бы весельем сольем.

Обмануть себя и задохнуться,
Захлебнуться, и воздух — густой...
Пусть посмеют потом, посмеются
Надо мной, над тобой, над собой!

* * *

Ночью протяжною жалостью мучит...
В темный полет неопратно гоня,
Ветер, как листья из мусорной кучи, —
Так от меня отнимает меня.

Кажется, снова спешит, нападая,
Надо снотворное выпить скорей,
Пусть поднимает — «Куда ты? Куда я?» —
В сонме послушных, потухших теней.

Я не проснусь, не почувствую, кто я,
 Все перепутаю — будто в Крыму —
 Небо просторное, солнце простое,
 Что-то попробую, с кем не пойму.

Кожа приникнет к изнеженной коже,
 Тонкой, похожей — хурмы, королька,
 Как облака — невесомые тоже,
 Лица сомкнутся, сольются пока.

Так ведь и надо! Какая вина мне?
 Вдруг очутиться, очнуться не там...
 Сонными днями течет через камни
 Мутный поток по тетрадным листам.

* * *

Едем... губы... туго, туго: «Там... к Электросиле».	Одинаковые двери В туалет и ванну.
Лишь бы чем-нибудь друг друга	В этом деле, в этом теле
Мы не заразили.	Вот обидно что мне: Потеряешь все потери... — Ничего не помню.
Темнота замком исправно Звякнула: закован.	И легко, легко над нами
Странно, что совсем не странно	Спит луна пустая. Полусонными ногами
В доме незнакомом.	Спутались, пуская.
Лишь игрушечные звери Бродят по дивану...	

...сублимация (?)

(«Вечер синий, безлюдный, чудесный...»)

Эта жесткая радость измены,
 Отторжение, падение, край,
 Раздвижение — несвежие члены...
 «Осторожно. Вот так. Нажимай».

Может быть, позвонить... по заказу?
 И чужого кого-нибудь — в дом.
 Нет, неласково. Все это сразу,
 Да и после — как ржавым ножом.

Трет себя по широким коленям,
Смотрит русско-немецкий словарь.
Хоть с каким-нибудь там отрезвленьем? —
«Будешь кофе? Я ставлю. Вставай».

А она и кричала не очень,
Покорежилась от сквозняка,
И зачем-то потом с многоточьем:
«Печки, почень, больная рука...»

Только в голосе, воздухе, фоне
Что-то есть, чтоб согреть пустоту!
Улыбнешься в трамвайном вагоне —
И погаснет ответ на лету...

Счастлив тот, кто под ровною формой
Притворяется: может любить
Беззаботно — как огнеупорный.
— Аполлонствуй, венерствуй, юпить!..

* * *

Закрыты торговые будки,
И свет электрически груб.
Кривые обрывки и шутки
Срываются коротко с губ.

Ты их произносишь в гипнозе,
Чтоб чем-то молчанье унять,
Хватая рукой на морозе
Хоть ветра трамвайного прядь.

«Мы как-то окажемся вместе!..»
«Но это потом. Никогда».
«Все будет еще интересней!..»
Какие там вертятся «Вести» —
В окошках из желтого льда?

...Как лапка с иглой в патефоне —
На самом коротком кругу,
Играешь еще потихоне...
Привязана жизнь к языку...
И щелкаешь: «Всё. Не могу».

* * *

«О какие комки вины в нас!»
 «О какой бесполезный день!» —
 Мне не нравится заунывность,
 Повторение, дребедень.

Этот супчик из слез и пота
 Убери, выливай — не съесть.
 «То-то-то-то и то-то-то-то-то...»
 Ну и что, что ты тлеешь весь?

Лучше выйди к метро, послушай!
 Там... по радио... песни есть —
 Так, что хочется танцевать...
 Ну и что, что несвежей стужей
 Пропитались слова, как желье,
 И ребенок орет на мать?

Краски, надписи: «Супер», «Стере...»
 Мне такая вот жизнь по вкусу.
 И другой, к сожаленью, нет.
 А за дверью в пивной пещере —
 Ах, как шар загоняет в лузу
 Узкоглазый бандит-брюнет!

..Игровой револьвер в руке.
 В старомодном боевике —
 Все движение, сам — мишень.
 Умирай. Или всех пришей!

* * *

Если бы я не умел считать,
 Я бы не рвал себя на куски,
 Не составлял из кусков опять,
 Я бы не знал — тоски...

РАЗ — и сразу понятно: я.
 ДВА — и понятно: ты.
 ТРИ и дальше — поток
 вранья:
 Вещи, цвета, цветы.

Будет стремленье, восторг,
 полет —
 Только не долетим...
 Как-то нельзя отказаться от
 Мысли, что я — один!

Ладно, пока что снимай пальто.
 Стоит бояться? Нет?
 Будет опять неизвестно что —
 Волосы. Руки. Свет!

2.

* * *

О, до чего ж эта жизнь хороша и сладка...
А. Кушнер

Как под пыткой, которую сам
Ты устроил, сказав «не люблю»,
По ночным пробирался дворам —
Словно сломанный, равный нулю,

Сквозь густой, распухающий мрак,
И не мог — упереться в предел.
Где ты видел, что любят не так?..
На каких основаниях смел?

Кто-то строго смотрел за тобой,
Как с экрана смотрели вожди,
С добротой. Такою, что — «Стой!»
И раскайся, и быстро домой,
Как положено в жизни, иди...

И тогда ты признал: «До чего ж!..
Этот мрак — этот миг — этот стук —
Этот дождь — этот холод вокруг —
Так хорош!» — что иначе умрешь.

* * *

Смотри, как солнце светит на кровать,
И ты как будто весь прозрачно-розов,
Признайся в том, что принято скрывать, —
Обманешь Фрейда, избежишь неврозов.

Но, может быть, вчера под пьяный пыл,
С веселою возней, с паденьем стула, —
Ты просто не заметил то, что скрыл,
И, как змея, оно в душе уснуло.

Но если так, то я шепчу туда —
В неведомо пропитанное мною:
Зачем нам ритуальная вражда?
Я жажду видеть, кто ты — или — что я!

Явись, как хочешь, — страх или невроз,
Как гость ночной, неожиданный собеседник,
Купец средневековый, что привез
Другой язык из государств соседних.

* * *

Этот гонор подростков кудрявых
Я обязан приветствовать, как
Пехотинцы, залегшие в травах, —
Продырявленный пулями флаг.

Сквозь условности всех декораций,
Как по рации, принят приказ.
Есть зачем умирать и стараться
В этой жизни — без всяких прикрас,

И себя отдавать без возврата —
За улыбку, за смех за столом,
За короткую стрижку солдата
На враге, вожделенном таком!

Не свести застаревшие счета,
Лишь окопные щи и прыщи;
Неужели не понял еще ты —
Лишь в мучении счастье ищи!

...Сквозь сырые и темные арки,
Где встречаются люди с людьми,
Жизнь еще обещает подарки.
Если хочешь — иди и возьми.

* * *

А когда, натянув одеяло,
Опускаешься в страх темноты,
Вспоминаешь: в казарме, бывало,
Спал с такими же рядом, как ты...
Кто сказал «*только этого — мало*»?..

Заработана радость отбоя,
В полусвете слонялся, ленив,
Лишь дежурный... а это — другое —
В коридоре — следит за тобою,
Тонким шорохом слух обострив.

Экономил короткое время,
Безразличен к прошедшему дню —
В грубом племени, в прочной системе —
Я тогда был спокойней со всеми.
А сейчас я... кому позвоню?..

Ну, неважно же — твой ли, не твой ли —
Приезжай, подежурь надо мной!..

А потом — поменяются роли;
Мы работаем все поневоле
В этой службе поддержки ночной...

3.

* * *

Время почему-то загустело —
Не течет, плотнее с каждым днем:
Медленно протискиваешь тело
В еле пропускающий проем.

Каждый вечер, перед сном, назавтра
Выдумай желанье, не забудь —
Капелькой горячего азарта
Растопи полуночную жуть.

Знаешь, я все больше ощущаю —
В этом споре, ссоре затяжной,
Если не справляешься с вещами,
Вещи расправляются с тобой.

Для того лишь действуешь, чтоб делом
Подтвердить, что ты хозяин им,
Перед кем-то притвориться смелым,
Будто бы не чувствуешь всем телом
Тяжкой неподвижности нажим...

* * *

...Мой дом устроен по-другому —
Не так, как улица в цвету.
И я скорей уйду из дому,
Чем там порядок наведу.

С напрасной гордостью «Смогу ли?» —
Себя не спрашивай, не лги.
Часы запнулись и заснули...
Какие грустные кастрюли!..
И, заскорузлые, на стуле
Как будто *выросли* носки.

И каждый раз — какой ценою!
Какое чудо — выйти из!
Навстречу городу и зною,
И, кажется, чего-то стою,
Как бы солдат, готовый к бою,
Или артист — из-за кулис.

* * *

И жасмин, и шиповник — как чудо! —
Расцвели во дворе, как в раю,
Чью-то радость, божественность чью-то
Обрамляя. Мою? Не мою.

Бахромой золоченой, зеленой,
Где болезненно плещется зной,
Подойди — и услышишь их сонный
Неизвестный язык запасной

Безосновного и основного,
Где в движении куст недвижим...
Жаль, что *мне* не понятно ни слова
И легко оставаться чужим,

Равнодушным, поспешным прохожим,
Добровольно глотающим чад
Улиц — тех, где мы встретиться можем,
И машины протяжно кричат...

А потом, в полутьме кинозала,
Кем-то собрано в ярком окне
Все, что мимо так просто бежало —
Горячее, живее вдвойне!

* * *

По ночам я слышу, засыпая,
Как во мне *другие* говорят.
Лиц не видно, встреча их слепая —
Просто языка полураспад.

Их слова — разметанные пятна,
Но еще не спрятанные в сны, —
Как они понятны непонятно!
Как в них интонации ясны!

А когда стараешься, из влаги
Вынырнув, цветы с ночного дна
Сохранить — как гаснут на бумаге!
К ним рука тянуться не должна.

Голоса, чтоб не смешаться снова,
Не со мной играют, не хотят
Моего волнения больного
Замечать... я слушаю... я рад.

Но однажды — только странный случай,
Так не к месту, где-то в стороне —
Чей-то строгий, старческий, скрипучий:
«Я тебя узнал... А ты ко Мне?»

* * *

О чем волнуешься, дружок?
Ну да, мы все умрем.
И смерть похожа на прыжок
С резиновым ремнем —

Аттракцион; оснащена
И невозможна без
Нелепой мысли, что она
И твой удержит вес.

Хотя посмотришь сверху вниз —
И кажется: никак.
И вдруг качаешься, повис,
Как на крючке червяк.

И так смешно!.. И, помнишь, там
Инструктор был, крепыш,
Который все изведal сам:
Три, два, один — летишь!..

Владимир Симонов

БЕЛЫЕ НОЧИ

Почему лоси и зайцы по лесу скачут,
Прочь удаляясь?

В. Хлебников

ПЛАВАНИЕ

Колпаки фонарей раскалились добела, и солнце грузно опиралось нам на плечи. Ноги приминали подтаявший асфальт.

Говорят, есть мощные океанские течения — вода течет в воде — одно Гольфстрим, а второе — японское, не помню. Так и наша колонна текла сквозь Невский, омываемая рядами безразлично косящихся прохожих.

Марта шла рядом, потя лбом и верхней губой, в красной полосатой кофточке и круглых очках, похожая на умильную ученическую кошку.

Слева шел Пылымский, неся на плече скатанный транспарант. Болтавшийся у него на груди транзистор наигрывал полонез Огинского — последние аккорды, запыкало, и диктор сообщил, что в Москве ровно шестнадцать часов.

Чуть впереди, в неровном строю видна была докторша. Мы познакомились с ней неделю назад, на собрании. Тогда все было совсем другое. Мы с Мартой пришли первые, и она. Занятия кончились. Длинный прохладный коридор поскрипывал — сквозняк наугад распахивал двери.

— А может, не та аудитория? — вполголоса спросила докторша, доставая из кармана смятую записку. — Чего-то никого нет.

Она сначала мне даже понравилась своим подвижным лицом и крупными, навывкате, карими глазами. Пуская дым тонкой струйкой, она удивленно широко раскрывала их и скрипела лаковым плащом. Но скоро начали подходить.

Мы втроем сели в заднем ряду, и наконец в аудиторию вошли: обаятельно деловой комиссар, а за ним командир, коренастый и старый, с перебитым носом.

— Скажите, — неожиданно обратилась Марта через меня к Пылымскому, — а тот ваш приятель, физик, уже там?

— Воронов? — томно переспросил Пылымский, настраивая приемник. — Да... еще в субботу.

Воронов? А кто такой Воронов?..

* * *

— Потом напишете: был в белых штанах... — с добродушной иронией протянул Петя.

Белые штаны, между прочим, я сшил специально для поездки, и все шло по плану: благополучно вернулся со сборов, назавтра же улетели к тете Нине, на долгожданный юг, и вот те на: штаны не попали в кадр.

Фото уже разглядывали всей семьей, но Петя, хвостом прокравшись за нами в комнату и наклонившись (Марта сидела на тахте, я рядом), утешил: «Та шо вы переживаете...»

Петя был существо нежное, обидчивое, вспыльчивое, двухметроворостое и молодое. Особенно деликатно он слушал модные записи, в любимых местах вытягивая губы и тихо прищипывая.

Илья Ефимыч и тетя Нина, Мартины дальние, перебрались в Николаев после войны и сразу бойко взялись за дело. Оба мастерили парики для местной музкомедии, но главным замыслом, которому, увы, не суждено было изменить их жизнь, был тайно изготавливаемый ночами — из волосков — портрет Хрущева. И. Е. и т. Н. собирались отправить его в Москву в качестве подарка трудящихся. Но Хрущева сняли, и, распрощавшись с мечтами, супруги погрузились в еду.

У тети Нины, отменной хозяйки, лицо и особенно уши были словно сваяны из теста, отчего, наверное, пятилетний внучек, осердясь, называл ее «печеной бабой».

Единственный раз в жизни я потолстел. Мы проверили это на весах на Лиманном бульваре, где по вечерам горели луны фонарей и барышни громко фыркали на чужие наряды, а днем, сидя на самом солнцепеке, старый еврей взвешивал желающих знать.

Днем же мы ходили на сам лиман, соленый и мутный, как николаевское пиво. Петя — будущий педагог, которым ему никогда не суждено было стать, бегал за ним к ларьку, зарывал бутылки у воды и, улегшись на горячий сероватый песок, закрывал глаза, а то вдруг начинал извиваться, изображая морского змея.

Обратно шли по тому же бульвару и через день заходили в букинистическую лавку, которую заприметила Марта.

Петя, каждый раз повторявший: «После вас тут делать нечего», — однажды не вытерпел и сам купил отцу тоненький сборник стихов на иврите. Но Илья Ефимыч, надев очки и стоя босиком в коридоре, только задумчиво жевал губами и в отчаянии переспрашивал:

— А это буквочка «о», да? Ну, Петька, помнишь буквочку «о»?

Оказывается, он все забыл.

Тетя Нина и вовсе не читала, но интересовалась книгами и, заходя к нам с Мартой, перебирала покупки:

— Это про партизанов, да?

Комната была прохладная, с тахтой, и в ней хорошо думалось, но после голубцов с компотом разбираться было лень, вырезные листья дикого винограда плотно занавешивали окно, а дверь замыкалась ключом.

* * *

В поезде Гиндыш уже к вечеру исполнял опереточные куплеты: «...иней, иней. А дымок над крышей синий-синий». Марта натянула простыню до подбородка и слушала, любопытно блестя очками. По-моему, ей начинало нравиться. На вокзале я успел купить ей вафельный стаканчик, и, пока все шумно тискались с полосатыми тюфяками в обнимку, она прижалась в углу и быстро долизывала его, вся обкапавшись, держа на отлете двумя пальцами и сморщив нос.

Потом пела под гитару пышная Бурэ. Через две недели по прибытии на место она должна была сменить комиссара-молодожена, который, когда выходили курить в тамбур, сочинил экспромт, посвященный своей преемнице: «проигралась в буру в ка-баре». Но многим нравилось, и уступивший Марте нижнюю полку, а сам взгромоздясь наверх, Пилымский, во взбухших тренировочных, не сводил с комиссарши бархатного взгляда.

Важно, чтобы у каждого было свое — место. Марта быстро уснула, а мне попало неудобное, боковое, и все кто-то ходил, шлепая и шурша.

Ночью я неожиданно проснулся. Поезд стоял. Проснулся и не сразу понял, где я и что, и что за окном серебристо отливает круглый бок цистерны с черным черепом и скрещенными костями. Было чувство, настойчивое в чужой ночной тишине, что я что-то забыл или, верней, надо что-то срочно вспомнить, вытащить ниточку.

Я опять посмотрел: ну да, конечно, череп и кости — Черный Роджер — зимний вечер, сонет о брошенном моряке, а после вечера — снег, который как-то прекрасно, обреченно и пошатываясь, шел со мной в ногу...

Сыктывкар оказался скучным городом, иначе не скажешь. Во все словесные образования, будь то лозунг на горсовете, витрина или дорожный указатель, было вкраплено непонятное слово «кузья», и это означало, что мы в Коми.

До вечера нас распустили, и мы с Мартой и врачихой пошли бродить наугад. Но по таким местам, как Сыктывкар или Простоквашино, много не побродишь, и очень скоро мы оказались у ворот центрального парка с ржавыми аттракционами, чахлыми березками, кустами, чахлыми детьми между ними и компактными облачками комаров над каждым отдыхающим.

На воротах висела афиша фольклорного фестиваля. Вход бесплатный.

Из зеленой дощатой раковины вышли трое и заголосили. Мальчонка на дудке подыгрывал.

Двое были черноволосые, с расплюсченными таитянскими носами, третий, наоборот, высокий, угловато костистый, и все в одинаковых, расшитых красных рубахах и сарафанах. Публика чахло аплодировала.

— Ой, как красиво! — шепнула Марта.

— Страшные какие, — сказала докторша, когда концерт окончился.

Как и было условлено, собрались у почты, но рано, и кто-то предложил скинуться на рыбные консервы. Командир дал рубль.

Докторша осталась ждать, а мы пошли прогуляться вдоль реки.

Город быстро сходил на нет. Попадались уже только какие-то совсем косые избы. Казалось, дальше идти некуда. Казалось, мы на краю света.

Справа тропинка вела к покосившемуся причалу, еле видно му за осокой. Мы сидели на краю света, болтали ногами, курили, и нам было очень хорошо.

* * *

Просто какое-то наваждение с этими письмами — забываю отправить. Чего только ни делал: клал на видное место, носил перед выходом в руке, держал в зубах, как грузин сдачу на рынке. Клад в сумку, но тогда либо забывал опустить, либо забывал дома сумку.

Придется сегодня еще что-то придумывать. Собственно, эта мысль меня и разбудила, или, вернее, она — и страшный грохот во дворе. Крушили флигель под мастерские. и голые по пояс пролетарии делали это с диким упоением, причем один даже запел: «Смело мы в бой пойдём...»

За завтраком я опять думал о браслете. Надо было заехать в галерею поговорить. Они-то сами торговали разной шелухой, но больше связей на данный момент не имелось. Положу письмо вместе с браслетом.

Но, пока я завтракал, за окном потемнело и полило. Я бросился к телефону — позвонить в галерею, предупредить, что опоздаю, но телефон был занят.

Вернувшись в комнату, я закрыл окно. Стекло мгновенно потекло мутной ртутью. Еще раз попробовал телефон — занято, только глухо пробивался веселый, частый голос соседки. Да, всегда так.

На столе тускло блестел браслет. Я присел, забарабанил пальцами. А стоит ли? Да нет, куда денешься...

Телефон освободился, и почти сразу во дворе раздались голоса, защебетала сигнализация соседского «форда», и я живо представил, как вот сейчас, мокрые, они неловко позалезают в машину, где полутьма, барабанит по крыше, где пахнет автомобильным уютом, включают музыку — и покатыт, покатыт сквозь дождь...

Гроза быстро кончилась. Я вышел. Пролетариев как водой смыло, только торчала какая-то хреновина, недовыпихнутая из выставленного окна, и впереди поплескивал по лужам седой филипок в валенках и ушанке со связкой железяк.

* * *

Хохотали до слез, до упаду.

Один Альчиков спал, но он как-то умудрился выпить, я видел, как он потом морщился и крякал в углу, а теперь устроился на

разметанных рюкзаках, зажав ладони между ног. Желтело неловко повернутое лицо, скуластое, с мощными, как у богомола, челюстями. Переворачиваясь, он полупросыпался и спрашивал:

— Чего ржете?

Епифанцев, командир, делал Гиндыша, и главный смех был в том, что Гиндыш свято не понимал, что происходит, а Епифанцев — тоже святая невинность — один за другим подкидывал вопросы, как там насчет жены старшего брата, о роли секса вообще и в жизни молодого человека в частности, и даже сам смеялся, но вполсилы, чтобы не сорвать номер, а иногда пускался в лирику с легким акцентом, как бы вспоминая:

— И вот представьте: он безумно любил Колю, но жена Коле — только по субботам. И что же? Он едет к Никанорычу, и через неделю — все отлажено.. Как так? Так, оказывается, Никанорыч ночью переоделся Колей и...

— Я никогда не поцелую ни одну девушку, пока не выйду за нее замуж, — весь дрожа, отвечал Гиндыш.

В трюме было тускло, холодно, нутро торчало острыми углами, и жутковато было, наверное, наблюдать такое количество вповалку хохочущих людей. Но зато не хотелось спать, и есть — тоже, и ночь текла незаметно.

...Отплыли засветло и, свалив вещи в трюме, разбрелись по пароходу, кто куда, stalkиваясь со своими же в тесных межпалубных закоулках, у двери «вход воспрещен», у незапертой, но для нас — из-за отсутствия наличности — непроницаемой двери ресторана. Стало доставать комарье, и некоторые пробовали захваченные из дому притирки, но от них липкая, потная кожа становилась вдвойне липкой и воняла.

Мы с Мартой сидели на корме, тут было шумно, грохотал мотор, и, обеззвученные, плыли назад берега, сосенки щетинились и золотились.

Народ разлегся на тюках и между баулами. Здесь было прохладнее, летели брызги. Марта опустила голову мне на плечо, и я прикрыл глаза, в животе урчало.

Вдруг что-то негромко и глухо ударило о палубу рядом и подкатилось к руке. Я вздрогнул, посмотрел: это была луковка. В дальнем конце палубы какой-то мужик улыбнулся и кивнул мне. Плохо соображая, что к чему, я встал и, осторожно переступая через разомлевших пассажиров и их пожитки, подошел к мужику.

Он был угловатый, похожий на того, третьего, с концерта. Приплюснутая серая кепка и глухой пиджак. Все так же, не разжимая губ, он улыбнулся и протянул мне полбуханки хлеба и еще одну луковицу.

— Он, наверное, ээк? — спросила Марта, взволнованно жуя хлеб.

Мужик еще раз кивнул, отвернулся и больше уже не обращал на нас внимания.

Река плавно петляла, и низенькие кривоватые сосны все тянулись вдоль берегов и уходили вдаль, вдаль.

За очередным поворотом бесшумно на взгорке в одно мгновение возник монастырь, именно во мгновение, весь ослепительно белый, с наполовину ушедшими в деревья стенами, сияющий главами, так что я только успел тронуть Марту, чтобы не спугнуть видение, — и так же мгновенно исчез, когда река круто взяла влево. Мы с Мартой переглянулись:

— А было?

* * *

Вход в кафе в галерее так замаскирован, заставлен холстами, подрамниками, что и не заметишь. Святая святых. Тут тебе и Лещенко, и прохлада, и кофе, и даже Ростислав с Леной, а она то и была мне нужна, сидели за одним из столиков и пили пиво.

Лена была действительно хороша. Она недавно вернулась из Парижа, и верхнее чутье подсказало — сейчас она вдохнет: «Париж... — и, зажмурившись так, что морщинки разбежусь к вискам, выдохнет: — Это сказка». Ростислав тяжело приподнялся и, как всегда, неловко поймал мою руку, тиснув кончики пальцев.

Человек он был хороший, но тяжелый, и когда ел, а ел он много, даже горошины в супе казались чугунными.

Отхлебнув пива, я достал браслет. Все же жаль. Нет, не то чтобы вспомнилось о том, кто и когда, но — жаль.

Понять что-либо по Лениному лицу, как всегда, было трудно. Ростислав потянулся, повертел, помычал одобрительно.

— А знаете, вам лучше, нет, конечно, мы его оставим, но еще сфотографировать. У нас фотограф есть замечательный. Запишите телефон: Огарков Сережа. Вот. Да он и сам должен сейчас подойти, подождите. Чертовски талантлив, — изрек Ростислав, — когда трезв.

Про себя я положил ждать не больше пятнадцати минут. Но чувство времени здесь, в кафе, расплывалось, теряло отчетливость. Мысли текли сбивчиво, цепляясь за первый подвернувшийся предмет.

— Вы что курите? — спросила Лена. — Можно мне тоже вашу, они полегче.

«Когда-нибудь, — думал я, глядя, как ревниво смотрит Ростислав на Ленину пачку «голуаз», — настанет время, и мы уже не будем ревновать, кто что курит, все привыкнут, что иного и быть не может, нормально. Но к тому времени уже не будет меня, а это невесело, грустно, потому что я боюсь — и одиночества, и вечного безмолвия, боюсь Страшного суда, где никому нет дела, что «страшный» пишется с прописной буквы, все и так это знают, холодной душной земли, червей и крыс, которые будут точить и грызть мою плоть, а мне ее жаль, хоть я ее и не люблю, но как-то успел породниться...»

Отряхиваясь и держа капающий зонтик, вошел Паша с пивом.

— Опять дождь? — спросила Лена так, словно дождь тоже был составной частью программы.

— Льет! — сказал веселый, растрепанный Паша. — Ух!..

- Ну, я пойду, — я стал подниматься.
— Подождите, подождите еще, он сейчас должен подойти.
— Да нет...

* * *

Разумеется, у Пети был брат. Старший, которого звали Фима.

Но если к Пете, как к младшему, относились снисходительно и нежно, то Фима это право, то есть право относиться, оставляя за собой и на чужое отношение к себе хотел плевать. Может быть, поэтому он и стал художником.

О художествах его мы были наслышаны еще в Ленинграде, когда прошлым летом (белый шиповник, июнь, предсвадебные хлопоты) приезжала тетя Нина с Петром, но посещение мастерской все откладывалось, откладывалось, хотя каждый день, следуя на лиман, мы проходили мимо нее.

Это была какая-то пристройка, без окон без дверей, нечто странное, куда никак было не проникнуть любопытствующей фантазии, и Петя, тоже как-то смущаясь, каждый раз говорил, что то ли Фима не в духе, то ли у него не идут дела, словом, когда мы наконец очутились там, в этой самой мастерской, то одних накопившихся фантазий хватило бы, чтобы заместить убогие холсты, большая часть которых стояла, безнадежно отвернувшись к стене, со скорбными надписями на серой изнанке. Под потолком горела лампочка, и не верилось, что за дверью так ярко и солнечно.

Фима держался хмуро, то и дело ронял на лоб длинную пегую прядь. Мы тоже поневоле чувствовали себя скованно, от стен тянуло неуютной сыростью. Но мало-помалу разговор ожил, и Фима даже пообещал свозить нас в Одессу.

— Одессу надо смотреть, — сказал он и, провожая: — Как обещал, так и будет.

...И, надо же, в Одессе мы побывали. Причем, приехав, сразу почему-то оказались в вечернем ресторане, где дым стоял коромыслом и посетители шатались между столиками и падали на них.

Фима заказал бутылку коньяка, чему я немало удивился, учитывая местные мерки и количество присутствующих за столом: кроме нас с Мартой был еще и Петя, и Фимина жена, Фаина, дочь мясника, хохотушка, не упускавшая случая съязвить что-нибудь в адрес ленинградской родни.

Но оказывается, секрет был в сумке, большой Фиминой сумке, которую он профессионально задвинул под стол и подмигнул.

Скоро его светлые мутные глаза прояснили, а происходящее кругом обрело плавную стройность. С прилипшей ко лбу прядью — было очень жарко, но приятно, как в парной, и рыжая, вся в веснушках Фаина, хохоча, пыталась обмахиваться свернутыми в веер салфетками, — с прилипшей прядью он доверительно наклонялся ко мне и пояснял:

— Это у нас называется биомидин, билэ мицнэ, два стакана примешь и порядок. — Потом отстранялся и пронизательно смотрел в глаза: — Ты, скажу я тебе, кремень, но мягкий...

То, забыв про всех, взглядом творца обводил жалкую ресторацию с пальмой в углу и парящей над прилавком буфетчицей.

Насчет ночлега Фима сказал, что «ша», не беспокоиться, он все устроит.

— Спать хочу, — хныкал Петро.

Файна шла, прильнув к мужнину плечу, и вздыхала, а по бокам улицы росли красивые пятнистые деревья.

Зашли во двор, тихий и темный. Фима постоял, озираясь. Потом мягко подошел к одной из дверей и тихо постучал. Дверь не сразу приоткрылась, и Фима что-то тихо сказал в щель.

Как пахло в прихожей! Все запахи жилья и кухни и еще один, как бы фруктовый.

Хозяева были согбенны и немногословны, передвигаясь в потемках — горело только бра, высвечивая кусок вишневых обоев. Они постелили нам с Мартой огромную пуховую постель, а сами потянулись в соседнюю комнату с раскладушками. Бурый мохнатый кот шмыгнул следом.

Было душно и беспросветно темно. Старики чутко храпели за стеной. Часы над нашими головами ходили по дому и не давали спать.

* * *

Англичане, особенно Андронов и толстяк Аркаша с самопальной лычкой на рукаве, «эдвайзер», то есть советчик, мастер, обязательно обменивались английскими фразами из обиходного курса, например: «Продвинулись в делах?» (интонация вверх). «Да, весьма», — и это вносило примиряющую ноту, когда мы, пасмурные, тащились с объекта, волоча ноги по пыли.

То ли дело работавшие на другом конце поселка шабашники. Их и на стройке не видно было, а избушки росли как на дрожжах.

Мы ставили два дома и заливали пожарный водоем, в котором, в какой-то момент я окончательно перестал в этом сомневаться, кто-нибудь из местных обязательно утопнет, какие меры ни принимай.

Я попал в бригаду Альчикова, и поначалу мне нравились и запах опилок, и тяжесть бруса, необходимость глазомера и упруго, своевольно вибрирующая в руках «дружба» и ее пронзительный звук. Альчиков никого не торопил. Сам любил не спеша перекурить, походить вокруг, посмотреть, так ли, мол, всё. Да, все здесь располагало к медлительности — низкие потолки в школьных бараках, где нас разместили, приземистые дома, сосны и невысокое небо.

Назывался поселок Зинстан, и был населен местными, коми, и бывшими владовцами. Помню, какой дикой, с того света, показалась мне родительская, ко дню рождения, телеграмма с картинкой с ежиками. Старики прислали от себя еще и перевод на сорок рублей — кстати, потому что снабжали Зинстан болгары, они что-то вывозили отсюда и завалили сельпо винами. Мы

сбросились еще немного, купили ящик водки, и день рождения прошел на славу.

Найдя в школе запас разноцветной эмульсионки — после нас хоть потоп! — мы размалевали стены над койками. Епифанцев нарисовал филина и приписал, по-детски, «на шестке», уверяя, что это непереводаемая идиома, обозначающая что-то вроде недреманного ока. Проверить было трудно, так же как и надписи моего соседа по бывшей «учительской», Толи Лихтера. Он был китаист и делал надписи желтыми иероглифами на куртках. На Марте он тоже расписался, хотя я и не уверен, что это означало «девушка — лунный цветок», а не какую-нибудь китайскую похабщину.

Впрочем, Толя не пожадничал и смастерил и мне, как соседу, полог из марли, которую где-то раздобыл, и теперь только у нас двоих в отряде, на зависть остальным, были кровати с пологом. Выглядело это обычно так: погасив свет, юркнув под марлю и подоткнув ее хорошенько, мы зажигали фонарики и начинали добывать оставшийся под пологом гнус, хлопая громко и вразнобой — так, наверное, аплодируют в дурдоме.

Заглядывал я и к Альчикову, который жил с Андроновым и Гиндышем. Когда бы я ни приходил, Альчиков покуривал, лежа на кровати, а Андронов, сухой и серый, как пемза, подстригал перед зеркальцем свои британские усики или, повязав раздушенный шейный платок, щипал гитару.

Над Гиндышем они тоже подтрунивали, но в меру.

— Все равно не буду читать эту гадость, — говорил он, когда соседи клали ему под подушку Дориана Грея или Кафку, но тоже не обижался — и его опутала мирная паутина нашего житья.

Сегодня Альчиков отрядил меня помогать местному мужику, чинившему провода.

— Смотри, власовец, — шепнул он мне и скрипнул зубами.

Помощи моей как таковой не требовалось. Мужик, надев «кошки», устало, как старая цирковая обезьяна, карабкался на столб и долго копался там наверху. Я же просто сидел подле его сумки с инструментом, стараясь уместиться в тень фонарного столба и отгоняя комаров.

— Все, — сказал мужик, спустившись с последнего по улице столба. — Посидим передохнем.

Он достал папиросы и закурил. К середине рабочего дня меня обычно охватывала дрема, коми-зырянская, коми-пермяцкая, и часто пробуждение было похоже на что-то вроде открытия: «А у алжирского дея под носом шишка!» — и сейчас сквозь дремотную муть я следил за напарником. Он глубоко затягивался, и взгляд его был колоч и недобр. Да, видно, было дело.

Отпуская меня, Альчиков, конечно, и не рассчитывал, что я вернусь, и я пошел в медпункт.

В медпункте, где собрались полуофициальные сачки, было оживленно.

— Привет! — Докторша одним пальцем (кажется, она тоже ходила с Аркашей в избушку) печатала какие-то листки, а Марта

и Воронов лихо плясали в соседнем актовом зале — большой продолговатой комнате с трибункой и портретом в углу.

Любил сюда захаживать и Елифанцев, чтобы видеть всех насквозь. Мне он тоже как-то предлагал ключ от избушки. Он снимал ее у какой-то бабки для желающих брачеваться, а поскольку мы с Мартой и так были зарегистрированы, то нам вроде и сам бог велел, но я тогда отказался и Марте ничего не сказал, хотя она потом узнала от докторши.

Магнитофон, под который отплясывали Марта с Вороновым, стоял в кладовке. Воронов завязал рубашку на пузе и, когда запись стопорилась, убежал в кладовку, сопел там и вновь выбежал под музыку, высоко подбрасывая колени.

И я тоже с ними...

* * *

Скоро должен был подъехать фотограф. Во всяком случае, он уже дважды звонил уточнять адрес. Признаюсь, шуточные интонации второго звонка меня насторожили.

Браслет я пока забрал, наклеивались еще покупатели, а галерея дело хоть и спокойное, но долгое.

Сухо протрещал телефон, и во мне шевельнулось совсем уже дурное предчувствие.

Но звонил Моисей: сын общего приятеля сегодня писал сочинение на юридический. «Рахметов — ницшеанец»? Мальчик очень хотел поступить. Дело серьезное. «Рахметов — кто?» — переспросил я. Но Моисей был настроен благодушно: «Ну, это тема вечная...» — к тому же у отца была рука.

Погода потихоньку портилась, и темная зыбь двигалась в нашу сторону. На всякий случай я поставил чайник — до сих пор не знаю, поят ли талантливых фотографов чаем, и сел почитать, но снова раздался звонок. На этот раз в дверь.

— Вас! — крикнула соседка.

Огарков был не один. За ним, вверх и вниз по лестнице, переминались молодые люди. Сначала показалось, что их больше, но это от растерянности.

— Проходите, проходите, — но фотограф уже и сам решительно двинулся вперед:

— Давай, ребята!

Войдя в комнату, он первым делом стянул лазурную синтетическую куртку и широко бросил ее на диван, при этом сильно качнувшись.

— Стоять! — приказал он и, взглянув на меня, приложил палец к губам.

Такого колючего человека я видел впервые, и дело не в рыжем ежике, не в золотистой щетине, не в острых, карандашных чертах — колючий, ершистый и дерганый он был весь внутри. Молодые, две пары, совсем уже робко втянулись в комнату, а Огарков, не теряя времени, шуровал в своей сумке, доставая объективы, штатив, бархатные лоскуты, и наотрез отказался от чая.

Он долго вился вокруг браслета, подкладывал то один бархат, то другой, комкал их, потом попросил включить весь свет.

— Итак, начинаем! — произнес он голосом конферансье и вдруг с естествоиспытательской стремительностью бросился заваливать примостившуюся на краешке дивана блондинку. Кавалеры метнулись к нему:

— Сергей, а вот этого не надо!

Однако обошлось, и в дверях, уже как будто по-трезвому и успокоившись, он сказал:

— Нет, ничего не должны. Завтра будет готово. Да. Все. Спасибо, — последнее — хором.

В горле пересохло, и я решил хоть сам выпить чаю. У сестричек-соседак завыл пылесос. На карнизе темнели продолговатые отпечатки дождя. Первое, что бросилось в глаза в комнате, была ярко голубевшая на диване куртка.

— Он очень талантливый, правда, только вот такая беда, — голос жены, которой я для подстраховки решил позвонить, звучал доверительно и безнадежно. — Ничего, завтра заедет и заберет. А вы не знаете, куда они сейчас пошли?..

* * *

Застолье мгновенно превратилось в немую сцену, и виновница торжества, Людмила Вильямовна Перебий-Нос, в немыслимом наряде, оголявшем ее медвежьи ручищи с русалочьими перстами, тоже не сводила с меня язвительного и пристального взгляда. Но я, скорее, созерцал ее внутренним зрением, потому что сидел, глядя мимо всех, в окно, чувствуя мучительно напрягавшуюся пружину молчания, и думал, что и билеты-то ведь уже куплены...

А дело в том, что накануне отъезда нас с Мартой затащили на день рождения к Перебий-Носам. Людмила Вильямовна, пришедшаяся нам дальней родственницей, дальней, конечно, уже и не знаю кем — намертво запугался в родственных связях: кто? кому? в каком колене? — была настроена яростно. Она атаковала нас с Мартой и все столичное (хотя почему столичное?) непрерывно, и это были уже не мелкие Фаинины шпильки, а психически танковая атака. Она громогласно обращалась к нам, ко мне через весь подобный граду Китежу стол с каверзными, ядовитыми вопросами, и Марта уже начинала поглядывать на меня затравленно, как в кино, когда героиня ломает руки: «Ну сделай, сделай же что-нибудь!»

— А вот есть у вас в русском, в столице вашей, такая фамилия — Перебий-Нос? — вопрошала Людмила, разметав по плечам огненные кудри.

Ну что тут ответишь, хотя, конечно же — Ломоносов, я злился, что не могу даже толком отшутиться, но речь уже зашла о свободе воли, и туг-то я брякнул:

— Захочу сейчас выпрыгнуть — и выпрыгну, — и теперь смотрел в распахнутую балконную дверь, непроизвольно соображая: третий этаж, и под окном, кажется, кусты, билеты уже

куплены, а есть ли она, наконец, — свобода воли?! — и неприятный холодок пробежал внутри.

— Ну! — властно рекла хозяйка.

— Могу, — ответил я, каменно закипая, — могу, но не хочу.

Глаза русалки оторопели, вспыхнули, но всем уже разочарованно полегчало, и все полезли ко мне чокаться, даже Петя, до того угрюмо склонившийся над тарелкой.

— Да тут невысоко, — шепнул он, — мы ж с ребятами уже сигали.

Гулянье продолжалось за полночь. Гости шумно, но как-то незаметно исчезали, и, когда осталась одна молодежь, решили гулять с Лордом. У Перебий-Носов была огромная собачина — дог, черный, молодой и глупый, с белой меткой на груди. В темноте ее-то да еще горящие красным глаза и было видно, когда, отзываясь на кличку, пес несся, шумно дыша и не сворачивая, по узкой тропинке между влажных кустов — прямо на нас.

— Ладно, загоняли бедное животное, — ласково пропела наконец Людмила. — Пойдемте к вам.

Илья Ефимыч и тетя Нина давно спали. Петя тихонько включил музыку, на цыпочках достал заначку. Мы с Людмилой танцевали, Марта забралась на тахту, свернулась калачиком и почти сразу уснула. Замечательно было, какие тонкие у Люды пальцы и как она целуется, и быстро-быстро, тихо говорит, что все это ради меня, только ради меня, а Петя сидел в углу на корточках и молча наблюдал за нами...

Утром к поезду меня подвели тепленького. Фима с Петькой стали затаскивать чемоданы. Долго прощались. Пришли почти все, и как удивительно было смотреть на них из вагонного окна, как всегда удивительно, когда люди, разделенные перед прощанием, примирившиеся навсегда, строят рожи и плачут, и пишут пальцами по стеклу, по воздуху.

Но я больше не мог, прошел в купе и, не обращая внимания на мамашу с малолетком: «Съешь еще! Помидор доешь!» — забрался на верхнюю полку, отвернулся к стенке и сквозь быстро накатывавшую дрему еще успел увидеть Петю — египетскую собаку с висячими каменными ушами, потом не помню, проспал сутки и проснулся уже после Харькова — поезд и солнце ласково толкали в бока.

* * *

— Ох, как они мне все обрыдли, как надоели! И Марта — все «сходим да сходим — в лес погуляем», а теперь ластится, как кошка, к Аркашке, мол, сбегай еще за вином, а рядом докторша: «денежку дам», а рядом Епифанцев — командир и Самарина, до синевы накрашенная, и раздушенный Андронов тоже тут вертится с гитарой: «Ваше благородие, госпожа удача...»

Сидя на крыльце, я раскачивался, как от зубной боли. В красном уголке галдели — отвальная!

Почему только сейчас мне все открылось так ясно и так больно? Ведь все — конец мучениям, домой, и Аркаша, зав. от-

вальной, еще перед обедом, моргнув, налил мне стакан перцовки. Праздничным обедом, праздничным!

Впрочем, понятно. Ну да. Просто я уже уехал (о, я еще и представить не мог, какая нас ждет дорога обратно!), и они не замечали меня, проходили насквозь, зато мне невозможно было смотреть на все это разрисованное, нитяное, марионеточное. И Марта была вместе с ними.

Мимо протрусил Аркаша с бутылками.

— Дерьмо, какое вы все дерьмо! — сказал я одними губами, но он только покосился мельком, нормальный, пьяный, и ответил:

— Интересно.

Утром трещала голова, хотелось спать, пугали мысли с закрытыми глазами, но спать было невозможно, мешала суматоха сборов: скатывали матрасы, запаковывали рюкзаки, Толя уже стянул свой полог, и по углам кровати торчали примотанные проволокой палки. К часу должен был прилететь «кукурузник».

Возле умывальников я столкнулся с Мартой, но она сделала вид, что не замечает меня (неужели все-таки ключ, избушка?).

В тумбочке оставалась вчерашняя заначка, проверил, как встал, но, пока умывался, бутылка исчезла.

Разговоры кругом были только о самолете: прилетит не прилетит, и Воронов то и дело бегал справляться на летное поле. Последний месяц горел торф, солнце даже в полдень едва проглядывало сквозь сизое марево.

Докторша — святой человек! — одолжила треху. Взяв в сельпо бутылку «Тырново», я пошел к крохотному озерцу — яме с водой — недалеко от лагеря.

После первых нескольких глотков полегчало. Сухие березовые листья застыли на темной воде. Я достал из нагрудного кармана гармошку и заиграл, но тут же мне стало так тривиально и беспомощно жаль себя — изгоя, в которого мог теперь плюнуть любой трудновоспитуемый, что, по-быстрому допив приторное вино, я поплелся обратно, к лагерю. Сизый туман висел между кривых сосен, и солнца не было видно вовсе.

* * *

Впереди топал Димин приятель с бокастым портфелем подмышкой. Подойдя к парадной, он спугнул Котю, аккуратного черного котика с брезгливой физиономией, которого подкармливала жившая на первом этаже Димина семья.

Пока я вызывал лифт, Дима открыл дверь, видимо уже поджидая друга и решив его разыграть.

— А, Котя!.. — протянул он, улыбаясь.

Приятель, сумрачный технарь, с неизъяснимым выражением человека, который знает, что скоро выпьет, добродушно промычал:

— Котя, Котя... Смерть твоя, а не Котя!

Не успел я войти, как буквально через минуту явился Огарков, трезвый и суровый, как монах.

Посидели на кухне, попили чаю.

— А ты что, не знаешь? — он встrepенулся и с жаром стал пересказывать последнюю галерейную сплетню, но быстро скис, совсем помрачнел, а главное, уходя, забыл камеру.

Вечером жена по телефону чуть не плакала. Хорошо хоть телефон работал: обычно он отключался на всю середину лета. Со станции говорили, что это крысы.

— Хорошо, — сказал я, мне действительно стало ее жаль, — давайте я завезу, так вернее.

Оказалось, они жили в двух шагах от когда-то нашего с Мартой дома.

По дороге мне вспоминались соседи, особенно Тамара. Кас-сирша Тамара, толстая, в кудельках, складках и веснушках, когда-то исполнявшая на загулявшем столе танец живота, болела диабетом. Дочь Таня, жилистая — в отца — с острыми, колючими чертами, работала в лаборатории при поликлинике, и мать ласково звала ее: «Танюшечка-говнюшечка». Оба любили ее одевать: мать — дочь, а дочь — самое себя, и, действительно, в иных летних шуршащих платьях с коротким рукавом, загорелая, стремительная, она была очень хороша. Глава семейства, Шишкин, немало поплавал, ходил по квартире в тельняшке и обожал голубей: держал голубятню и показывал мне немецкие альбомы с красивейшими птицами. Был у него и катер, на который он копил, потом купил и по воскресеньям уезжал на залив вместе с лайкой Майкой, похожей на Тамару. Но вот что-то у них не заладилось, возник роковой резонанс, и однажды я слышал, как Тамара вполоборота на ходу в кухню бросила: «Мелко плаваешь, Шишкин», — а чуть позже тот, не говоря ни слова, сложил вещи во флотский сундучок, взял Майку и отбыл.

Сойдя в теплый тополиный воздух Вёсельной, я увидел на углу совершенно не изменившуюся синюю с красным светящуюся надпись «Диета» и пошел медленно — казалось, что Марта идет рядом. И поэтому, когда я действительно увидел ее — она шла мне навстречу, опустив голову, волосы сомкнулись, и лица было не видно, — я тоже прошел мимо, разве что чуть замедлив шаг. Мне не захотелось ее узнавать.

АЛЕКСАНДЕР

Издательство «Музыка» находится рядом с цирком, в небольшом, особняком стоящем здании с белыми колоннами, похожими на уложенные столбиком таблетки валидола. Заглядевшись на эти колонны, я не заметил, как с боковой, обсаженной невысокими кустами аллеики вывернул прямо под ноги и, пискнув, проскочил мимо плотный круглоголовый карапуз на трехколесном, тоже плотненьком велосипеде.

«И почему она не поехала сама?» — назойливо и пусто крутилось у меня в голове. Хотя, конечно: тащиться из новостроек в центр по такой погоде, в такой холод, машина сломалась, а она — женщина практичная, хотя и со странностями.

Улица в этом месте вымирала, словно становилась никому не нужна. Тротуар — уже карниза. Нет, не люблю я это место. Когда выходил из редакции, потяжелев килограммов на пятнадцать — она сказала «возьмите, сколько дадут или сколько сможете», — услышал обрывок фразы: «никого и ничего не боится». Никого — это как-то понятно, подумалось, а вот ничего — страшнее.

Не люблю. Скорей бы уж метро. Но перекресток с провисшими цепями по углам не утихал: стой и жди. Напротив, в окне второго этажа истошно лаяла и металась собачонка, бросаясь на комариную сетку — тогда на мгновение становились видны ее нос, глаза и темные передние лапы. Сладко запахло жареным луком. На днях мне прописали очки. Тоже буду теперь со странностью, но это только для меня, а так — вон их сколько, в очках или с линзами, которые незаметны. Оправу я уже мысленно выбрал.

* * *

Фотографий его у меня много. Я не храню их специально, но стоит полезть за какой-нибудь давно не нужной вещью, книгой или официальной бумажкой вроде профсоюзного билета ныне покойной организации, или телефонного квитка, или выписки из заключения — тэк, тэк — врача-рентгенолога, и обязательно наткнешься на глянцевиый прямоугольник: как правило, в разных застольях, с подобающей улыбкой на печеном личике.

И всегда это случалось неожиданно, и всегда, пока оседали взвихренные воспоминания и я снова узнавал Александера, я успевал внутренне отшатнуться, а потом обрадоваться — ведь было же, значит, было!

Крупный план попадался редко, но мне больше всего нравилась как раз одна из этих немногих фотографий. Может быть, потому, что и ракурс здесь был необычный, скрадывающий непропорционально маленькое его тело, а падавшие сбоку тени делали щеки впалыми, размашисто рисовали косые треугольники бровей и превращали улыбку в язвительную улыбку мексифестелья-недоумка.

* * *

Втиснувшись на свободное место между широким юношей в наушниках и благостно читавшей газету чьей-то мамой, я положил тяжелые пачки на колени — так, что они почти упирались в подбородок.

Преподавательница сына по фортепьяно попросила съездить в издательство за первыми экземплярами ее пособия для начинающих. В двух томах. «Нет, на ее месте я бы обязательно поехал сам! — не утихомиривалось внутри. — Ведь столько было нервогтрепки, столько тянули, столько звонков, истерик!..»

Была, однако, и в моей миссии своя приятность: сегодня у Людмилы Аркадьевны — день рождения, и это получался как бы подарок, а цветы я куплю у метро, дело недолгое.

Рыхлая обертка верхней пачки надорвалась, и стал виден оранжевый переплет и краешек заглавной буквы. Время от времени я поглядывал на него, испытывая острую и бескорыстную радость чужого праздника.

* * *

— Сокол! — раздельно и внятно произнес громкоговоритель с такой естественной интонацией, что я ни на минуту не усомнился, что ослышался. Вагон затормозил, разъехались двери, но никто почти не вышел, никто не вошел, крикнули только «потеснитесь».

Как раз перед этим я опять думал об оправе — может, все-таки лучше взять пластмассовую, но теперь прислушивался, ожидая, пока вопиющая, смешная ошибка не будет исправлена.

— Двери закрываются! — снова раздался механический голос, мешаясь со стуком захлопывающихся дверей и лязгом сцепок. — Следующая станция «Площадь Мужества».

Когда подъезжали к следующей, я приготовился, слушал внимательно и даже обрадовался, что угадал: после «Площади Мужества» объявили «Статую Свободы». Я точно знал, что выходить мне на четвертой, поэтому, собственно, было все равно.

Вдруг в вагоне резко посветлело — линия выходила на поверхность — все стало видно навстречу, за окнами замелькали дома, трубы. Пассажиры завертели головами.

— Конечная остановка — Китай! — и все дружно стали подниматься на выход.

Еще с детства надземные станции и участки дороги — один такой есть в Москве, где поезд проходит по мосту над Москвой-рекой и, секунду назад сжатый стенами туннеля, вдруг зависаешь над тополями, водной рябью, пристанью, лодками, — производили на меня самое сильное впечатление. Хотя и в подземных, с аркадами, тупичках есть свое обаяние и уют, и Пушкин в глубине, подсвеченный, на фоне купоросных роц.

Пассажиры рассыпались по перрону. Поезд уже укатил.

— Приготовьте паспорта, медицинское освидетельствование — слева! — гулко прозвучало под бетонными сводами.

Я не без жалости (но и гордости — тайной) сдал тяжелые пачки в камеру хранения и уже спокойно занял очередь на контроль.

Довольно скоро я стал замечать, что в образующихся то здесь, то там небольших очередях: на взвешивание, на контроль, за талонами — передо мной или сзади обязательно пристраивался один, как их принято теперь деликатно называть, «маленький человек», одетый стильно, в серой кепке, мешковатом пальто и бордовых брюках с отворотами.

Освидетельствование свелось к простенькой процедуре: в закутке, деловито, швы, карманы, и, едва выйдя из-за занавески в цветочек, я увидел, что практически одновременно со мной из соседней кабинки появился «маленький», деловито обтирая за-

пачканый мелом рукав. Оба остановились и, как люди, вдруг подметившие симметричность своих передвижений и не знающие, куда деть лишнее время, посмотрели друг на друга. Обычно вид у «маленьких людей» необщительный, но у этого сквозь маску лилипута, сквозь процарапанные морщинки проступало вполне симпатичное лицо.

* * *

Через несколько минут мы уже сидели на втором этаже, за столиком у окна, выходящего на пристанционную площадь. В ларьках, расположившихся прямо у выхода, продавали цветы, носки, украшения. Несколько человек стояли сосредоточенно и, пригибаясь, пили пиво.

Александр оказался словоохотлив. Легко объяснившись с официантом, он заказал себе большой бокал пива и порцию земляничного мороженого и стал рассказывать, как попал сюда впервые. Начальнику цирка он понравился сразу, здесь же овладел своим ремеслом — научился влепять виртуозные пощечины и жонглировать китайской лапшой, словом, зарабатывал неплохо.

Я слушал не всегда внимательно. Формальности были позади, и мысли рассеянно блуждали, то возвращаясь к папкам в камере хранения, то к тому дню, когда я впервые увидел Людмилу Аркадьевну — на встрече с родителями. Говорили, что она в этой школе недавно, и действительно, держалась она робко, словно прячась за открытую, обаятельную улыбку и приколотый на груди большой синий бант.

Сын занимался у нее вот уже третий год. Поначалу мы держались, как все, официально, но перед одним из концертов, в вечно темном закутке, где собирались на перекур сумасшедшие мамы, у нее зашел с кем-то разговор о том, что значит «мафусаил». Возникло затруднение. Вежливо вмешавшись, я объяснил прямое и переносное значение слова и не увидел — слишком темно было, — а почувствовал в этой прокуренной темноте ответную, благодарную улыбку Людмилы Аркадьевны.

Тогда я не подумал — какой длины эта ниточка. Просто доставал ей импортный кофе и несколько раз провожал до дома. Одна из странностей ее заключалась в том, что она ничего не скрывала, но и никогда ничего сама не рассказывала о себе. Казалось, что жизнь свою она знает как комнату, которую на самом деле не видит и с которой всегда готова расстаться. Детский лепет — я слишком хорошо это понимал — вряд ли мог ее заинтересовать, а как такую удивить — я не знал...

* * *

Александр тоже приумолк и сидел нахохлясь, совершенно по-лилипутски.

Тут я вспомнил про оправу: раз уж такой случай. Александр оживился. Сделал большой глоток пива. Слизнул пену с губы.

Снова отхлебнул. «А оправу здесь подобрать можно», — сказал он уверенно.

Расплатившись, мы спустились и вышли через тугие стеклянные двери — так выходят летом в антрактах покурить на улице.

У ларьков было болеелюдно, чем казалось сверху, приходилось лавировать, чтобы не ступить в лужу. Моросил давно начавшийся дождик.

И правда, оправы продавались чуть ли не в каждом ларьке, и одна другой лучше. Я примеривал, вертя льстиво протянутое продавцом зеркальце.

Александр не особо навязывал свое мнение, но было видно, что оно у него есть. И когда я уже было решился и полез за бумажником, он сказал: «Слишком броско!» — тоном, не терпящим возражений. Я всегда чувствовал самое заурядное стеснение рядом с «малым народцем», тем более когда приходилось заговаривать или идти рядом, но здесь чувство неловкости быстро стерлось, обкаталось: никто не обращал на нас внимания, и я сам понемногу перестал, хотя и резала слух скрипучая речь и холодело внутри, когда, высовываясь из манжеты, морщинистая ручка тянулась к зажигалке.

* * *

Поиски продолжались. В очередной раз взглядываясь в свое неузнаваемое отражение, я заметил в зеркале лучистую точку — фонарь, незаметно зажегшийся над дверями станции. Кругом быстро темнело. «Господи, да ведь я так и опоздаю! — обмер я. — Надо бежать...»

Я обернулся к Александру. Он стоял, глядя исподлобья. «Извините, — начал я, чувствуя, как дрожит голос, — но мне надо идти...» И тут меня осенило. «Пойдемте вместе, пойдемте, здесь совсем рядом. Только я вещи, в камере хранения...» Александр приободрился, хотя внешне ничем этого не выдал, продолжая держаться с невозмутимой степенностью.

Уже совсем стемнело. Цветы Александр — «как артист» — захотел преподнести от себя, лично, и выбрал большой букет кирпичных гвоздик. «Да, — думал я, отчаявшийся, почти счастливый, — то-то она удивится!..»

БЕЛЫЕ НОЧИ

...ну и тяжеленная! А хлеб свежий, теплый еще. Рэм, отстань! Ну отстань, мой сладкий. Квартира держала до последнего. Пойди открой. Звонят, открой, не слышишь? Соседи уже смеялись, но зато теперь — ни о чем можно здесь больше не думать.

Мама! Говорит, а я не слышу о чем, то есть не то, почти. Значит, с языком будет порядок, раз она может и так, а я не могу. Что ж ты хочешь — баба от земли, ей бы на даче сидеть и копать. Да, да, хорошо, я все сделаю.

Окна полиэтиленом закрыли — а! все равно слышно, как мажугаются. Слава те Господи! Да что это я так кричу?.. Пока готовила, сама проголодалась. А вчера даже успела сбежать с Анькой в Летний. Ей там вообще больше всех нравятся с животными — ну! — Минерва с совой, а еще больше, серьезно, Юность с обезьянкой. Доски еще не сняли, но мы постояли просто. Так ее люблю, такая она другая, только замерзли, нос потек. Иду-у!

Буду. Нет, что-то забыла. Лучше хлеба еще порежь. Вот сейчас — кончиком по краешку, желтому, глянцевому, жирному. И куда столько накупили, разве что банка красивая — «Магги». Господи, скоро-скоро все кругом будет магги, магги, магги!..

Вспомнила. Ведь говорили же на днях, на лестнице еще. И в школе — столько лет. Поздно, Рэм! отчаливаем... Здравствуйте, Эмма Петровна!

* * *

Накануне операции нас отправили мыться. Урочные операционные дни — вторник и пятницу — здесь называли «дни кройки и шитья», и мы с рядовым Ивановым пошли получать чистое белье.

Буднично, все происходило очень буднично, и это меня успокаивало. Когда мы выходили из палаты, все почти спали. Женю увезли на перевязку — это надолго.

С бельем под мышкой и мутным, в мыльных разводах полиэтиленовым пакетом с банными принадлежностями мы вприпрыжку спустились вниз, в подвал, по узкой холодной лестнице. Иванов — впереди, долговязый, нескладный, с красными лапами.

Душевая на двоих казалась тысячекратно безлюдной, белой и гулкой, как Гималаи. Пока я раздевался на оцинкованной табуретке, Иванов окатил пол кипятком из толстого черного свернутого в углу шланга, и теперь пол дымился. Солнце, падая сквозь рифленые квадраты окошек, бледно растеклось по нему.

Весь в гусиной коже, я залез под душ, яростно хлеставший тонкими колкими струями, и замлел. Иванов молча плескался в соседней кабинке.

Обратно мы поднимались уже не спеша, дружно. Рубахи пузырились, а длинные, широкие штаны на резинке закрывали громко шлепающие тапки.

* * *

Конечно, вовсе не обязательно было ей жить в таком кошмарном, донельзя квадратном доме, но она жила именно в таком, и его хотелось отменить каким-то всеильным декретом, сорвать, как киношный халат со скользкой, в мыле героини, но когда я шел в булочную, тут-то ее и выпускали, и она шла, загадочно улыбаясь, вышагивая по асфальту, по мне, по жизни, с лицом как маска, как после пластической операции, и я переста-

вал понимать, в раю я или в аду. Грузчик! грузчик, с которым я работал в гастрономе на Зверинской, опрятный, в чистом, всегда заштопанном свитере, но совершенно безвольный — такие насылают, извиняясь, а потом бранятся — он мог бы понять, но никогда не поймет, как происходит это мгновенное обез-обез-обезболивание организма: «Да ну ее, эту машину, задавит и все», — но только мотал головой и глядел исподлобья, топчась на краю. Боже! как я знал теперь это все, как вытвердил, как это вытатуировано на мне.

Однажды проследил. Так узнал о доме. Что еще? Страшное все же было у нее лицо — лоснящаяся коричневая кожа, ловко натянутая на костистые скулы и подбородок. Но, думал я, ведь и в нашем доме «Последние новости», и у нас живут старухи, старушки, старушечки и многое-многое другое, и у нас на асфальте начертано мелом «Вода», «Огонь», — почему же у нас нет ничего такого, а здесь мне хочется растоптать горячий бетон и на четвереньках ползти — вылизывать ее следы, от этого мне стало бы легче, и татуировка бы стерлась, думаю я, когда ночью выхожу на пустую кухню, где на столе — урезанное на две трети яблоко и фонарь на задранном мосту, маленький, голенький, красный, припавший к темноте, и ярко расцветший лучами — высоко на крестообразной матце...

И, наконец, работала она во «Вторчермете» (не спрашивайте, откуда) и в придачу вела азробуку. Ведь так не бывает?!

* * *

Больничный день долог. Я обзапасся (как выяснилось, не зря) приятного брусничного цвета томом Лескова. Выпуклые яголки на переплете хотелось потрогать. Чувствовалось к тому же, что книга — из длинной шеренги таких же брусничных томов, стоящих за стеклом дома, долгое провинциальное путешествие.

С палатой повезло. В соседней постоянно орали и резались в карты. У нас народ подобрался тихий, только солдат-киргиз, койка которого стояла буквой «т» с моей, скрипел по ночам зубами, да Женя стонал ужасно в любое время суток.

Как меня резали — помню хорошо, хотя практически ничего не чувствовал, видно, не пожалели новокаина, и даже отвлекался, глядя, насколько возможно было, по сторонам: на тесно сомкнувшиеся вокруг стола халаты стажеров-вьетнамцев и их внимательные лица, на мойдодыровский ящичек, с красным крестом, на стене. Было почти весело, и разве мог я в ту минуту представить весь ожидающий впереди ночной ужас, когда взгляд будет не оторвать от одной гипнотической суеверной точки, а от ящичка на стене, где йод, не окажется ключа, сестры пропал и след, а когда ее найдут — с ключом, то в ящичке не окажется йода.

С палатой повезло и потому еще, что больные попались не такие уж страшные. Перед тем как лечь, меня предупреждали, и действительно, можно было ошалеть от всей этой исковерканной, раздрызганной, по-армейски — добротной, но грубо перели-

цовой плоти, и в первый же день, в первый раз в курилке на черной лестнице, когда все они меня обстали, я почувствовал, что они тоже волнуются и смотрят пристально, как, мол, я, но — ничего. У приятеля старшего инженера так вообще было почти незаметно, только выпирала на шее шишка. Он тоже был любитель чтения, задумчивый, и каждый раз, чихая, говорил: «Славный табачок».

На днях, правда, привезли новенького: в два часа ночи на Пискаревке попросили спичек, и переносица у него была как после землетрясения, но он быстренько оклемался, вставал, шутил и громко и шумно возился в своей тумбочке.

Самое же неприятное, пожалуй, было, что после операции меня неожиданно и часто стало охватывать ощущение, что кто-то как-то все время подглядывает за тем, что я читаю, мало того — за моими мыслями, когда, отложив книгу, я лежал, прислушиваясь к теплой угасающей боли под повязкой, невольно представляя шелковый отрез, купленный протопопом Туберозовым, — что кто-то все это уже читал до меня, что книга взята напрокат, что все — напрокат...

Ночь — не игрушки. Ночью надо спать, иначе киргиз будет невыносимо скрипеть зубами, и Женю среди ночи повезут на перевязку. Я выклянчил у сестры пачку ноксирона и спал, как космонавт. Комары налетали со звонким писком, но я заворачиваюсь с головой в колочее даже сквозь простыню одеяло так, что торчит только кончик носа. Я дышу.

* * *

— Ты, ты, в белом шлеме, отпусти парня! Я тебе говорю!.. — форменная истерика. — Ты, ты! — Музыка сошла на нет, но воздух продолжал подрагивать. — Вот страна, едрена мать, — работаешь, корячишься, а они... — он уже отходил. — Ладно, ребята, все сначала, а ты смотри у меня.

И снова над стадионом пронесся дрожащий аккорд, все загромыхало, засвистело и стало раскачиваться мерно и невпопад. «Эта ночь никого не зовет!..» Томные шелковорубашечники колыхались в обнимку.

Мы сидели на полупустой трибуне, и вблизи лицо ее было похоже на шафранное яблоко, из тех азиатских лиц, которые, кажутся, всегда улыбаются.

Чувство дистанции у меня не пропадало, от этого я всю дорогу (а мы шли пешком через Дворцовую, через Тучков) шел пошатываясь и боясь задеть ее, и теперь радовался, что все кругом ходит ходуном и оттого незаметно, как я дрожу.

Милиции нагнали больше, чем на «Алису». Это она сказала. Мои слова в зачет не шли и вообще были какие-то длинные и путаные, не такие, как нужно — вполовинку, как довесок, как полсломанной сушки. Тоскливо вспоминался Ян — рассказывал: «В Польске это делают везде: на садовых скамейках, в электричке, на коленях: „А Варшава близко? Варшава близко?“» Земно-

водное, я рад был бы исполнить сейчас любую ее прихоть — но радоваться было нечему, потому что она ничего не хотела.

Нет, я редко хожу, много работы, хотя сидим ничего не делаем, да еще тренировки. Я был непоправимо снаружи этой безвидной тишины и мог разве что осторожно покашливать, как в театре, и это было тем более горько, что сейчас все шло в зачет: и закат, плескавшийся по окнам дальних домов, и моя бессловесная дрожь, и бесконечные упущенные возможности. Жизнь в жизни. От Пенькового буяна потянуло сыростью. Включили проекторы.

— Пошли поближе вниз... За счет чужих истерик, ломок и глупостей. Мы шли по газону поля навстречу звуку, шевелящейся толпе фанов, и вот уже теплая ладонь толпы, не спрашивая, притиснула нас друг к другу, смяла в один нервный пластилиновый катышек.

* * *

Сидеть на одних передачах было все равно невозможно, приходилось ходить в столовую. К тому времени меня уже перевели на стол № 3, сероватую жижицу, которую можно было глотать, не дергаясь от боли.

Места за синими столами на резиновых копытцах занимали произвольно, однако каждый уже привык держаться своего, своей компании. Обычно мы усаживались вчетвером: Иван, товарищ инженера, мальчишка с волчьим небом и я. Мальчишка проказничал, рассыпал будто случайно соль, опрокидывал салфетки, и когда Иван — тот, которому разбили нос на Пискаревке, лицом и складом похожий на балаганного Петрушку, немного бил его по рукам, он начинал плакать и что-то обиженно гугнявил, прыская и утирая слезы.

Ближе к выписке я начал привыкать к столовской воню, различать блеклые оттенки наших полосатых пижам и понимать, что пижама это далеко не пижма с опечаткой. Но даже мальчишка со своими выкидонами ничего не мог мне испортить, потому что весь я был погружен в одно — ожидание Своей Любви со Спины.

Что до любви с первого взгляда, то это факт абсолютно достоверный. Но вот влюбиться в человека со спины... Однако именно так все и произошло.

В первый раз я увидел ее у автомата на лестнице. Она стояла, пряча трубку у плеча, закрывая ее рыжеватыми волосами, и говорила тихо — видно, важный разговор. С того вечера, сколько мы с ней ни встречались, она всегда шла впереди, округло, чуть расхлябанно, в теплом даже на взгляд фланелевом халатике с голубым пояском и закатанными по локоть рукавами, но если даже была с подругой, то, когда оборачивалась к ней, рыжеватая челка скрывала лицо. опережать ее я не решался.

Лицо ее я увидел все в той же столовой. Она была дежурной, накрывала столы, и я мог хорошенько рассмотреть. Немыс-

лимое, оно идеально совпало с тем, что я представлял. Оно не было сильно изуродовано, видимо, легкий ожог, удачная операция, только правое веко слишком низко, косо прикрывало глаз.

И вот теперь не осталось ничего, кроме памяти, ни имени, ничего, кроме запаха столовой и ощущения чуда, и желания, как тогда, чтобы был почему-то праздник, мы танцевали в столовой со сдвинутыми столами, и я бы снова видел ее лицо, все видели нас, а кругом была музыка и серпантин.

* * *

Нет. Никого не стану будить. Потом ей первой хотелось заглянуть под облака.

Рядом, на подлокотнике спала волосатая рука Рэма. Все-таки хороший ей достался мужик. Звездочка-медальон блестела на расстегнутой груди.

Сама тоже устала — с одной Анькой сколько пришлось бегать, но не спалось. Анька тихо лепетала, посапывала.

Одной рукой обнимая дочку, она нервно катала в кармане куртки какой-то обтрепанный теплый комок. Маленький, мягкий. Пальцы отказывались вспоминать. Ну да. Старый талон. Она осторожно вытащила и незаметно бросила под кресло.

Вышел проводник, молодой, долговязый, с торчащей стрижкой, и, улыбаясь кривляясь, стал руками показывать в воздухе, что к чему.

Все зашевелились, тон звука стал гуще, в иллюминаторах замелькали белесые хлопья. Сердце сжалось. Еще гуще, тяжелее гнело книзу.

Еще — и вдруг явилась широко распахнутая земля, вся лоскутная, в правильных, горевших на солнце разноцветных каплях. Господи — бассейны!..

* * *

Чувство дистанции не исчезло после того, как мы целовались — слиплись, не оторваться — в подъезде, а потом она возилась с кодом — не хотела открываться дверь.

Едва успели вернуться до дождя. Она считала, что дождь прибавляет комаров к земле, как пыль.

На стенах комнаты висели картинки из разодранного календаря. Май улыбался задорно. Остальные, особенно июль и ноябрь, застыли в позах. Но она была лучше их, их глянцевого статей, и даже лучше самой себя.

Я помог ей приготовить чай. На кухне висала старушонка-раскраска: красный нос, синие губы и мокрого табачного цвета фартук.

Когда мы ложились, во мне была такая полнота чувства, что я был бы не прочь, чтобы старушонка держала свечу. Хотя не надо — ночи-то белые...

* * *

В воскресенье показывали потрясающий хоккей, а в среду меня назначили на выписку. Телевизор стоял рядом с кабинетом завклиникой, среди агав. Лескова я дочитал — очень трогательный конец, и пока читать больше не хотелось. Телевизор — это было уже что-то полудомашнее.

Кто-то, размашисто скользя подошвами по кафелю, подошел сзади, тронул за плечо:

— Симонов? Пойдемте-ка швы снимем. Ничего, успеете досмотреть, успеете.

Характерным жестом заложив ладони спереди за кушак, дежурный провел меня в залитую солнцем, сверкающую инструментарием перевязочную. От него веяло одеколоном и здоровым врачом запахом.

Сняв повязку и ловко поддевая длинными тонкими ножницами, он выдернул нитки и налепил условную пластыревую нащепку. Без бинтов, в голове и вокруг нее витала прохладная легкость, хотя шея даже с пластырем вертелась тяжело, как деревянная. Наслаждаясь новыми ощущениями, я пошел досматривать матч, но навстречу уже шла пижамная братия: ничья три-три.

Я вернулся в палату. Женя, слава Богу, пошел на вылечку, хотя пока еще еле смотрел темным, распухшим взором. Сосед, dokonчив свои мемуары, попросил Лескова и сейчас читал, как всегда высоко подняв брови над очками.

Ваня явно маялся и, не зная, куда приткнуться, бродил между койками, то ли что-то бубня, то ли напевая. Я прилег.

— Чего ты там, дед, бубнишь-то все? — хрипло, но жизнерадостно спросил Женя. — Ну-ка давай, расскажи, потешь.

— В армии, говорю, повели как-то в баню, — похоже, случай уже вертелся у него на языке. Сосед отложил Лескова. — Вот, кудлы-мудлы. А был у меня во взводе один татарин. Так, с виду ничего. Ну, моемся. И еще это, несколько местных пустили. Так татарин мой одного старика все уламывал, уламывал, словом, сговорились за пятнадцать копеек. Ну, он его и дрючил! А потом заложил татарина. Не знаю, что и было с ним.

Никто ничего не сказал. Ваня подошел к тумбочке, по булькам налил воду — выпил.

— Так я ж его и заложил.

Довольный, он перевел дыхание и поставил стакан.

— Вечно, дед, пакость расскажешь, — прохрипел Женя и закрыл глаза.

Опять стало прихватывать.

Василий Русаков

* * *

Как мало нам дано — уже багряны листья
На кленах, и теперь, преодолая прыть
Стремительных минут, я так боюсь витийства,
Я не люблю слова — их надо говорить

И речи ручеек тягучей течью полнить,
А голос мой так слаб и шумно так вокруг,
Что звуков не узнать, не разобрать, не вспомнить,
И музыке одной я оставляю звук.

В конце концов любой знак нотный, знак певучий
Честнее знаков тех, которые в тетрадь
Я заношу, когда мне позволяет случай
Мучительную речь за крылья звуков брать.

* * *

Ты сбросишь последнюю тяжесть
Багровых одежд. По реке
Несет их. Недвижимо ляжет
Твой образ, твой стан налегке,

На воды, на черные глади,
Где сверху, до самого дна,
Клочками, в туманном наряде,
Небесная просинь видна.

И всюду скользящие тени.
Осеннюю слабость — долой!
Подвижная сила растений
Взрыхлила твой почвенный слой!

Стремительный луч прикоснулся
К засохшей слезинке смолы...
Уснул или только проснулся
Твой лес? Очевидно, малы

Тебе эти дали и сроки,
И грезится жизни лесной —
Уснувшие вешние соки
Беременны ранней весной.

ИЗ ЦИКЛА «AD ASTRA»

1

Пугливая волна безвольна и наивна,
Течение несет кораблик деревянный,
Он украшает, как затейливая гривна,
Сей невысокий вал. Матросик, неустанный
Свой совершая труд, на палубе фанерной
Застыл, — Лаокоон пластмассовый, манерный.

Либуерна ли его стремительное судно,
Триера ли оно — не знаю, но похоже,
Что шкиперу совсем вообразить нетрудно
Себя Улиссом и в поход почти такой же
Отправиться, пока неузнанных америк
Так много на реке. Спокойный, сонный ерик
Прозрачен и ведет, насколько глаз объемлет,
К излучине, а там — прекраснейшие вещи
Творятся: стрекоза разглядывает земли,
На мачте умяться, таинственно восплещет
У борта и уйдет в коричневые воды
Тритон... Не перечесть всего, что у природы
Для нас припасено. С душой моей едина
Забывчивая зыбь речная; водяною
Изменчивой строкой напишется картина
Текучих детских лет, но только с сединою
Возможно разглядеть впервые эти дали
И распознать еще неясные детали.

2

...Только в этом счастье, ты это знаешь,
Я уверен — ты понимаешь это.
Это словно ласточка, словно та лишь,
От которой только и ждешь ответа,
Не о том, какое случится лето,
Не о том, какая погода завтра...
Это словно ласточка, словно где-то
Я другую видел. А может, став то
Легкокрылой пташкой, то рыбкой юркой,
То иной какую-то штучкой с перцем,
Это будет пошло плестись за юбкой,
Это будет медленно зреть под сердцем,
Это будет биться, покуда как-то
Не вспорхнет, подумают — улетела,
И никто не сможет отметить факта,
Когда это снова отыщет тело.

3

Не ты ли повторяла мне уныло,
 Что счастья нет? Душа молчит, устав.
 И прав Жуковский — не права Людмила,
 Верней — Ленора... Значит, Бюргер прав...

Не всё ль равно? Не в этом же отказе
 От жизни — жизнь. Поверишь ли кому,
 Когда рассудок тонет в каждой фразе
 И ум давно не верует уму?!

Так в чем она? Не отвечай — напрасно
 Уронишь звук, лишь эхо, возвратив
 Твой голос, говорить с тобой согласно
 И повторять заученный мотив.

* * *

Только ты меня и влечешь, морская,
 В кучеряшках пены, легка, сердита;
 Поднимаешься валом, волной, лаская
 И сползая мурашками... Афродита,
 Или это Лада в уста влагала
 О далеком Леле мольбу, манила...
 Где разъято-сырая была Валгалла?
 Где осклизло-мягкая похоть ила?
 Всё туман, туман, только волны, мерно
 Набегая, несут лоскутки и крохи.
 Что же было, вспомнишь ли? Нет, наверно,
 Лишь упругой влаги шлепки и вздохи.

* * *

Ах, душа-шептунья, душа-летунья,
 Не скажу, что ласточка, — сокол, стрепет...
 Как же я люблю этих птиц безумье —
 Щебетанье, вскрик, трепет крыльев, лепет,
 Обмиранье, в небе ночном паренье;
 И сапсан ли зорок, и беркут меток —
 Всё слилось в едином стихотворенье
 Из цветастых перьев, торчащих веток...
 Птицелов отчаянный, где же сети,
 Где же клетки — в самом разгаре лето?!
 Запасай, лови, что ли, звуки эти,
 Эти трели... Я знаю — ты можешь это.

* * *

Затрепещет лист на ветру — тряпица,
Флюгерок зеленый, раздует нодью,
Чтоб сорваться, вырваться, раствориться
Среди прочих, падших единой плотью;
Чтоб, клочком шагреновым истлевая,
Обнажая жилы, скататься в комья...
И она затеплится, чуть живая,
О своей отчизне древесной помня;
Закружит, смешается с прахом, в вышний
Устремится мир... Что мы ей ответим?
Для души иной быть не может жизни,
Чем короткий путь между тем и этим...

* * *

Я жду тебя, и, рано или поздно,
Когда поймешь, как ты необходим,
Войди в мой дом, как входит свежий воздух,
Легко коснувшись медленных гардин;
Перебирая пальцами покровы
И задирая книжные листы,
Войди в мой дом и отыщи то слово,
В котором будешь настоящий ты.
Найди, найди! Побудь Пигмалионом,
Преобразуя звук в живую плоть,
Найди и назови, хотя бы стоном,
Хоть чем-то, что способно уколоть,
Разбередить и стать живею живого...
Ищи в себе, мой добрый визави,
И верный звук, и истинное слово —
И назови!

ИРОЧКА

У Ирочки тонкий скелет, обтянутый тонкой кожей с тонкой подкладкой. Минимум складок, совсем почти незаметных: у подмышек, у лона, под коленками при сгибании и на границе упругого бедра и упругой ягодицы; минимум бугорков: грудки-соски и опять же у лона; две округлости, которые можно выделить в самостоятельный раздел и посвятить им отдельное философское эссе — о, эти две вожделенные половинки сзади!.. У нее тонкий скелет, и когда она им двигает, то ощутимо гремит костями. И когда ею двигают другие скелеты, другого пола, она тоже гремит костями. И надо сказать, что она органически любит, ей слишком приятно, когда ее крутят другие скелеты или, лучше сказать, ею вращают, когда они ее складывают и раскладывают, сгибают и разгибают, сворачивают, разворачивают, натягивают и растягивают, подсаживают и насаживают, водружают и подминают, накачивают и раскачивают, массируют и разминают, когда они уподобляются кочегарам, направляющим совковой лопатой в паровозную топку уголь. Раз! Раз! Раз! Кочегары умелые и неумелые, понимающие и не очень, нежные и грубоватые, молодые, пожилые и пенсионные, религиозные и безбожные, космополитичные и сугубо национальные, рыхлые и спортивные, толстые, тонкие, длинные и короткие, вялые, энергичные, сухие и влажные, мягкие, крепкие, гладкие и морщинистые, жилистые и мускулистые, скучные и веселые. Умелые широкими сильными взмахами посылают туда, куда следует, равномерно, чтобы не закидать горящие угли, не погасить ровное, потенциально нарастающее, обретающее силу пламя, добавляют каждый раз достаточно и взброс, а где совсем разгорелось, туда порцию с верхом, чтобы слегка притушить (зная, что огонь уже такой, что обхватит каждый камень, осколок, крупинку, обнимет, прильнет, присосется горячим телом, проникнет во все трещины, поры, разогреет, расплавит, сожрет)... и этот тяжелый посыл особенно приятен для зияющей топки. Она гудит, дрожит, нечеловечески подвывает, как воют ветры в горах, во фьордах, в лежащих без дела трубах. Так завывают мартовские коты, так стонет дьявол в аду и в поэмах Мильтона, Данте... Жаром обдаёт кочегарам ноги и нижнюю часть живота — кто бывал в паровозах, тот знает, что топки там расположены низко — и если они (кочегары) опускают лицо, то и лицо, когда хотят заглянуть, сколько нужно еще добавить и как равномерно пылают угли. Жаром обжигает

взмокшие щеки, усы, носы, ветер холодит потные спины. Летит паровоз по степным и холмистым просторам затылком вперед, сквозь лесотундру, пампасы, льянос, прерии, джунгли, тайгу, в виду гористых пейзажей, скрываясь в тоннелях, где только сумасшедшие вспышки света и ритмический перестук. Рвется в бездну скелет, задрав к небу ноги, вцепившись фалангами в рельсы, под частый выдох трубы и чавканье поршня, и отделяется от земли, превращаясь в подобие вертолета — толчками, толчками навстречу девственному пейзажу, когда зеленеющий лес кажется весенним мхом и золотятся и блещут похожие сверху на ручьи широкие реки, а ручьи — ниточки, нужно всматриваться, чтобы их разглядеть.

...толчками навстречу пигментированным Ирочкиным предгорьям, вкручиваясь в пространство, потому что движение в этом мире странным образом связано с кручением, вихрем, турбулентным потоком, и... переход в самолет, органно поющий винтами, если он винтовой, а если турбинный, то равномерно ревуший; режущий плоскостью темные тучи, вздрагивая, как железный сарай, тревожно мигающий банками бортовых огней, летящий над бездной. Можно отдаться на его волю, забыть обо всем в мягком кресле, прикрыв иллюминатор солнцезащитным стеклом, прикрыв глаза, пригревшись, уснуть. Но спокойный легкий полет и парение — результат, Ирочку привлекает больше земной паровозный процесс.

У Ирочки сильные музыкальные пальцы, очень подвижные. Она ими может отбарабанить любую мелодию, не долго думая, тут же, с ходу, и даже целый концерт, не заглядывая ни в какие ноты. Например, Чайковского! Или Бетховена, или Баха, а хотите — и Густава Малера. Ирочка учится в консерватории... И при этом ее бегающие проворные пальцы и остальные кости, косточки, костяшки скелета: ступни, когда она жмет на педали, и настырный затылок, и летящий на всех парусах позвоночник, и отставленный маленький зад, обтянутый юбкой или брючками так, что материя, кажется, лопнет вот-вот, — все проникнуто мужской, и очень трудно поверить, очень странно, что это тоже Ирочка, которую до того, как она стала давить на клавиши, мы знали как вертушку, игрушку, которой единственное, чего очень хочется, это чтобы ею вертели с утра до вечера.

Ирочка заранее знает, кто должен быть каким и какой она должна быть. Например, он (скелет, царь Кащей же) должен вести машину, создавая в спокойном воздухе впечатление ветра, и чтобы ветер, задувая в салон, развеивал слегка волосы Ирочки... Он (скелет) должен носить костюм «от Диора», кроссовки «Адидас», майку «Пума» и часы «Сейко». Но это в идеале, а в жизни из-за неумеренного самовращения (когда она просто идет, то все в ней вращается вдоль и поперек) и в силу разных других объективно-субъективных причин все случается иначе. Кочегаром становится практически всякий, кому понравится паровоз. А Ирочка? Она после обретенного путешествия, причем для нее, кажется, совершенно не важна длительность — оно может быть

и кругосветным, и таким, как бег вокруг дома или поход на кухню — она или вносит поправки в свою теорию, или снова возвращается, обогащенная опытом, к ней и решает и клянется, особенно в моменты депрессии, что случившееся — в последний раз и отныне она будет осмотрительнее, умнее, разборчивее и будет иметь дело только со скелетами «от Диора»...

ТОЛОПОНЦЫ ПРОКЛЯТЫЕ

Два толопонских скелета разминали кости по улицам города. С проседью в усах и волосах — не молодые, но моложавые и к тому же весьма загорелые, в светлых как раз по сезону одеждах и туфлях лодочкой, в белых носочках, они лопотали между собой на своей толопонской мове. Они уже «причастились», «взяли на грудь», «ополоснули горло», «кирнули», «тягнули», «дерябнули», «заложили за воротник» — от них заметно разило. Лопотали же они о женских скелетах. Неплохо бы... и так далее.

— Да что там неплохо! — вдруг взвился один. — Даже нужно! Понимаешь ты или нет? Нужно! Зачем я сюда приехал, в конце концов? По театрам, что ли, ходить? Как вчера, ну смех, отвезли в филармонию. Я там чуть не сдох, честное слово, осоловел, осовел, да просто обалдел. Надолго я запомню их заботу и сервис...

— Надо было нам, дуракам, валить в отель, в бар, взять про-ситутток...

— Нет, вот этого лучше не надо. Здесь, знаешь ли, могут и обокрасть, и башку проломить — дикая страна, дикие люди. Говорят, даже штаны с иностранцев снимают... Смотри-смотри, какая пошла! Какие бедра, какая грудь! Ух, я бы ей показал, где раки зимуют... Омары, кальмары, креветки, осьминоги, лангусты, медузы... Или вон та, на той стороне... Или вот эта. Тоже ничего, вполне, и все при ней. Чего же ты?

— А ты?

— Трусишь?

— Да сам ты трусишь!

— Ну если не трусишь, то давай познакомимся с ней.

— А что я? Опять я? А потом ты и воспользуешься, знаю — было не раз.

— Да, — ответил тот, что был покрупнее, солидный и важный, — и воспользуюсь.

— Удивляюсь тебе, — сказал меньший друг, — ты такой большой северный лось, а дрейфишь подойти к какой-нибудь крале...

Ирочка с Леночкой, подкрашенные, приодетые, при всех своих монтажах (сережки, колечки, румяна и блестки) попали в поле зрения иностранных туристов.

— Девочка! — воскликнули они чуть не хором, выговаривая слишком явно каждую букву и особенно «ч».

— Девочка, эй! — увязались скелеты.

— Девочка и еще один девочка, подождать! Я хочет подарить бутс ту ю, мей би ду ю спик инглиш?

В руках одного возникла коробка... Кстати, совершенно непонятно, откуда она взялась и зачем двое заграничных гуляк с ней таскались по городу. Хотя вполне возможно, что и раньше они здесь бывали и у них вполне могла быть знакомая, но ее, скажем, дома не оказалось, она куда-то уехала, отлучилась, или у нее изменились планы, или внезапно вернулся муж или какой-нибудь агрессивный любовник и вместо нее их встретил такой ретроградный орел, или ответил по телефону и они даже несколько растерялись на время, потеряли и цель и нить...

Они оттеснили девушек к тротуару, открыли коробку, развернули бумажку, и подруги увидели очаровательные дамские сапожки на высоком каблуке, цвета черного и с отливом, характерным только для чистой кожи. Один нагнулся и взялся своей иностранной рукой за ногу Ирочки, а другой довольно резво присел и схватился волосатой ручищей за ножку Леночка...

Леночка вспыхнула, что-то залепетала, задергалась, замахнулась сумочкой, наконец ножку вырвала и побежала не оглядываясь, но озираясь затравленно по сторонам, не видел ли кто... Ирочка, которая сама помогла снять туфлю и даже уже надела сапог, но не застегнула замок, ретировалась и последовала за ней. Она успела сказать по-английски «извините», а они: «Отель „Интурист“, ат сикс оклок».

— Бай-бай, — улыбнулась им Ирочка.

— Бай-ба-ай, — пропели они.

— И чего ты побежала? — сказала Ирочка. — Сейчас бы тебе или мне достались те сапоги...

— А чего они грабли распускают, — надулась Леночка.

— По-моему, шузы были мне в самый раз. У тебя какой размер?

— Тридцать шестой.

— И у меня тоже, — сказала Ирочка.

— Ну а если бы мы остались — пришлось бы с ними куда-нибудь пойти, а потом бы они стали бы к нам приставать.

— Как пить дать, — сказала Ирочка.

— И ты бы смогла?

— Я-то? — спросила Ирочка. — А чего здесь такого? Между прочим, они пригласили в отель в шесть часов...

— Ой, мой трамвай! — воскликнула Леночка. — Ну пока!

— Ну пока, — улыбнулась ей Ирочка.

Леночка должна была к четырем сходить на лекцию в институт, в педагогический, на третий курс, потом она должна была встретиться с одним мальчиком, а до лекции нужно было еще заехать домой пообедать (бабушка ждет) и захватить зонтик, потому что собирались тучи и даже уже накрапывал дождь. А сапожки были замечательные... Такие в магазинах не найдешь днем с огнем... Да и в конце концов ведь можно ударить, или сами напьются и уснут, или ничего не смогут поделывать, а если и

будут приставать, то и пусть пристають, Леночка все равно, кажется, ничего в этом не понимает, то есть у нее уже был кое-какой опыт, но все было не так, как ожидалось и представлялось, и она так и не поняла, какое они-то испытывали от всего этого удовольствие, потому что ни толчки, ни давление, ни пытение, ни растяжки, ни протяжные вдохи-выдохи не доставляли ей, скажем, того, что она знала из другого более раннего одиночного опыта сладких грез, и когда (кстати, не так уж и редко) помогала себе рукой...

Она очень спешила в гостиницу. Она не пошла на свидание с мальчиком, который ждал ее около института. Она даже видела, как он ждал. Она забыла в автобусе зонтик. Она появилась у высотного модного здания, у стеклянных дверей в шесть часов двадцать минут. Она прошмыгнула незаметно мимо страшного швейцара и молодого дежурного милиционера с двумя группами иностранных туристов. Одни были чинные — видно, только что вернулись с экскурсии, а другие заезжали: горланили, тащили баулы и катили чемоданы на колесиках. Еще минут пять она потеряла в туалете: вытерла капельки пота на гладком лбу, припудрила маленький прыщик, что выскочил, может быть, от волнения, причесалась, подкрасила губки.

В гостинице, в холле она встретила Ирочку. Та сидела на мягком диване. Леночка смутилась, а Ирочка ни чуть-чуть.

— Вот толопонцы проклятые, — сказала она, — с шести часов жду. Обманули, наверное. Коробейники несчастные, офени престарелые, блудодеи недоделанные.

— Но сапог-то всего была одна пара, — сказала Леночка.

— Не важно, — ответила Ирочка, — кому-нибудь из нас они бы все равно подошли. И вообще, я ради принципа пришла. Просто хотела убедиться — честные те мужики или нет. Не я же в конце концов свидание назначала, не я к незнакомым на улице приставала (тоже мне манеры). Они же за нами бежали. Они благим матом орали. Они коробкой махали..

ДОМ

Он так и не понял, что это был за дом, кем были его обитатели, в каких отношениях друг с другом они состояли...

Поэт с охотой согласился на предложенную поездку в дальний райцентр с выступлением — захотелось встряхнуться. Да и подобные вылазки, в отличие от прошлых времен, когда вариантов на выбор было множество, стали большой редкостью.

Четыре часа из окна электрички он блаженно взирал на «знакомые с детства» и «милые сердцу» слабенькие северо-западные пейзажи. Обычное настроение медленно, но верно выправлялось.

В администрации райцентра его сдержанно поприветствовали и, не вдаваясь в подробности, назвали адрес и объяснили, как добираться. Так приезжий очутился в этом доме, стоящем на берегу глубокого оврага.

Дом был одноэтажным, деревянным, старым. Состоял он, как выяснилось позже, из нескольких больших комнат с облезлыми дощатыми полами, замурзанными стенами, голыми лампочками под потолком. Комнаты эти напоминали скорее не жилые помещения, а какие-то безалаберные мастерские — со шкафами, заваленными всяким металлическим хламом, ящиками с железной мелочью, с разбросанными по полу обрезками досок, кирпичами, банками. К мебели можно было бы отнести разве что несколько подобий топчанов, сооруженных из досок, снятых с петель дверей и ящиков — без матрацев и подушек, да ломаные стулья.

Среди этих предметов обитали около десятка подростков разного возраста и калибра и пять-шесть дворняг. Из взрослых гость не заметил никого.

Подростки были немногословны, на вопросы отвечали неохотно, появлением нового лица почти не заинтересовались. Из их скупых ответов он понял, что кто-то должен прийти и ему надо ждать. Что он и стал делать, приглядываясь к аборигенам.

Двое резались в карты. Один усердно рылся в шкафу. Еще один азартно колотил молотком по обрезку металлической трубы — то ли просто наслаждаясь процессом, то ли изготавливая некое грозное оружие для уличных битв. Собаки искательно заглядывали всем в глаза; при его появлении ни одна из них даже не тявкнула.

Неожиданно стриженный деловитый паренек, оставив перетряхивание стеллажей, посмотрел на него в упор и укоризненно произнес:

— Про вас сегодня Жердяев статью в районке написал.

Поэт опешил:

— Какой такой Жердяев?

— Наш журналист.

— И что этот журналист написал? Он же меня совсем не знает...

— Ну, что за поэта такого к нам присылают на выступление, почему не приезжает известный мастер стиха Урчэня, который прославился большой поэмой о наших краях.

«Урчэня, Урчэня... — порылся поэт в памяти, — действительно, есть такой старец».

— И о чем эта поэма — ты читал?

— Ну, какие здесь стройки были, какие замечательные люди жили. Он — поэт крупной формы, не лирик какой-нибудь, четыре строчки в стихке.

«Люди, вероятно, действительно замечательные, — подумал поэт. — Кажется, именно в здешней ЧК придумали способ белым офицерам и прочим „элементам“ головы с помощью двух мельничных жерновов расплющивать. Впрочем, к чему эти ассоциации...»

— Да, обличил меня твой Жердяев. А ты, я смотрю, парень начитанный.

— Плавали, знаем! — ответил подросток присловьем, и на том литературная часть беседы завершилась.

— Скажи, здесь детдом? — поинтересовался поэт.

Паренек как-то дернулся, буркнул «нет» и снова углубился в изучение шурупов.

Задумавшись, приезжий не заметил, как в комнате началось какое-то собрание. Подростки и собаки словно по команде исчезли.

Заседание вел старичок в очках и ленинской бородке. Внимало ему несколько строгих старушек. Все появились невесть откуда.

«В тех же декорациях...» — подумал поэт и, дабы не мешать действию, стал пробираться к выходу. Он почти уже дошел до двери, когда одна из престарелых участниц сборища укоризненно проскрипела ему вдогонку:

— А следовало бы и поприсутствовать!..

От неожиданности гость обо что-то споткнулся и замер на месте, не поверив своим ушам.

Тут вступил ведущий:

— Собирались проинформировать вас в конце собрания, но раз вы удаляетесь... Завтра в девятнадцать ноль-ноль вам надлежит быть на выступлении, после которого состоится обсуждение. Ожидается присутствие известного местного поэта Азара Азарцева.

— Какое обсуждение?!

— Товарищ Азарцев уже получил в библиотеке несколько ваших сборников и сейчас изучает их.

«Сплю я, что ли? Какой год-то нынче? Или, может быть, это у меня уже белая горячка? Хотя знающие люди утверждают, что ее прихода не замечаешь».

- Где состоится выступление?
- Здесь.
- А где я могу устроиться на ночлег?
- Здесь же.
- А в гостинице мест нет?
- Гостиница на ремонте.
- Но здесь, видите ли, как-то...
- Живем — не жалуемся.

Последнюю реплику старичок произнес уже совсем резко, тем самым недвусмысленно давая понять приезжему, что корабль собрания пускается в дальнейшее плавание и обойтись без кормчего никак не может, а с этим списанным на берег все вопросы уже решены. Поэт вышел в соседнюю комнату.

Запахло общественно-полезной обязаловкой. Он твердо решил не дожидаться, пока его стихи «изучат», не устраиваться на ночлег с канистрой под головой и немедленно уехать. Но дальше с ним стало происходить что-то совсем уж странное, напоминающее плохо срежиссированный «дурной сон» или строчку из сочинения одного юного пиита, посещавшего некогда руководимое поэтом литобъединение: «Наша жизнь — сплошная кафка».

Проходя через следующую комнату, гость неосторожно задел стул, стоявший в центре помещения. Стул оказался свежевывкрашенным. То, что приезжий измазал брюки светлой краской, вызвало бурный восторг находящихся в комнате подростков и, кажется, даже собак. Причем ликование это было вовсе не злорадное, а вполне искреннее и радостное — как будто клоун на арене цирка отмолил нечто утомительное.

— Нет ли у вас в хозяйстве какого-нибудь растворителя? — с безнадежной досадой спросил поэт, обращаясь к веселящимся юниорам.

— Есть! — звонко выкрикнул один и ногой подтолкнул к нему литровую банку с мутной жидкостью. Проехав по полу пару метров, банка наткнулась на кирпич и разбилась, при этом завоняло действительно чем-то вроде бензина. Подростков, однако, это нимало не огорчило. Они резко и окончательно потеряли всякий интерес к пришельцу и вернулись к своим занятиям.

Плюнув на чистку брюк, поэт направился к выходу и оказался в больших сенях. Там он обнаружил, что куртка его снята с гвоздя и засунута на полку, прибитую почему-то так высоко, что и ему с его отнюдь не маленьким ростом достать до нее не было возможности. Зато тут же рядом ошивался рыхлый огромный парень с белоглазой сонной физиономией. Его-то и пришлось попросить снять куртку с полки, на что он охотно согласился. Вместо куртки, однако, парень стал доставать с верхотуры какое-то рваньё, приговаривая: «Это? Это?» и с наслаждением видя, что его поведение всё более раздражает. Натешившись всласть, он слегка потянул куртку за рукав, и приезжий, подпрыгнув, сумел ее ухватить.

— Вот видите, сами достали, — ласково пропел лукавый дебил и удалился весьма довольный исполнением своего сценария — видимо, уже традиционного.

На крыльце поэта дождалось последнее препятствие в виде приклатненного плюгавого и прыщеватого типчика в капелюхе, приклеенной к мелкой головёнке вырожденца. Поплевывая, он курил. Когда поэт проходил мимо, хулиган похлопал его пониже спины и прогнусил:

— Чевой-то вы меня за гузно прихвываете, гражданин? Интересуетесь этим делом?

— Да кто тебя трогал?! — возмутился поэт.

— Не надо, не надо, мля! Порнушку-то дома крутите?

Поэт спустился с крыльца, посмотрел на разбитую дорогу, на откос с пыльной замазученной травой, спускавшийся к оврагу, дно которого было завалено догнивающими автомобильными скатами и ржавыми обломками неведомых механизмов, и двинулся по направлению к станции.

«Пень или волк? — думал он. — Если сейчас в киоске увижу еще и опус Жердяева...»

1996

ПЛЕЙБОЙ

Встретились в субботу днем на Пискаревке. Стоял июль. Ветер поднимал тучи тополиного пуха (хорошо, что не пера). У ларьков люди обменивались звуками и словами.

Пошли на пустырь — бывшую свалку, разровненную и заросшую гигантским бурьяном. Тут-то Наташка и заартачилась.

Дело в том, что собрались мы с целью сделать несколько снимков Наташки в качестве фотомодели. Некоторый опыт у нее уже был — два года назад с ее непосредственным участием получился недурной снимок, напечатанный потом в одном журнальчике. За прошедшее время Наташка из крепенькой девочки-подростка превратилась в ослепительную шестнадцатилетнюю девицу — еще более, чем в детстве, капризную, а теперь и язвительно-хамоватую. Тем не менее намечалось продолжение ее столь успешно начатой карьеры — дальнейшее восхождение к сияющим головокружительным вершинам фотомоделизма.

— Мы на обнаженку не договаривались! — уперлась Наташка, с ходу вернув нас к подножьям.

— А как же иначе?! Это подразумевалось... — я пытался спасти ситуацию. — На природе, так сказать. Ближайший народ торчит на остановке в двухстах метрах отсюда, лопухи выше головы. Чего стесняться-то?

— Ничего, себе, природа!.. И потом, обнаженка тобой подразумевалась, а не мной.

Надо заметить, что выступал я в этом деле в качестве... ну, скажем, Наташкиного агента или менеджера. А снимать должен был, как и в прошлый раз, профессиональный фотограф Леха, явившийся с японским «Никоном». Он и вступил:

— Мне, между прочим, только за один вызов пятьдесят баксов платят! Неделю договаривались! И почему это в прошлый раз обнаженку можно было, а в этот нельзя?

— В тот раз всё было на квартире, а не на помойке!

— Но сейчас так надо — творческий замысел.

— Вот сами и садитесь голой жопой в крапиву! А за вызов пусть тебе мой «агент» заплатит.

— Это не профессиональный разговор!

— А я и не профессионалка!

— И никогда ею не станешь! — с пафосом выкрикнул Леха.

Но, более не удостоив его ответом, Наташка, как суперсамостоятельный человек, удалилась.

Мы смотрели ей вслед. Свои непостижимые движения свершали два восхитительных упругих полуокружия, лишь отчасти прикрытых коротенькими джинсовыми шортами. Последний привет.

В этот спор не вступал еще один член нашей компании. Это была Марина, мать Наташки — упорная тридцатипятилетняя алкоголичка, притаившаяся вместе с дочкой, — видимо, в надежде на выпивку.

В принципе, ей было «глубоко плевать, какие там цветы». Но ввиду срыва съемки она несколько забеспокоилась, так как это могло предвещать и последующий срыв попойки. Однако, хорошо зная характер юной звезды, она и слова ей не сказала.

После бурных дебатов пару минут помолчали.

— Хорошо бы скинуться, — осторожно вступила Марина.

— Скинуться, конечно, нам с Лехой? — уточнил я.

— У меня голяк! — отрезал фотомастер. Однако, внимательно взглянув на Марину, добавил:

— Вообще-то, контора моя недалеко, работает круглосуточно и без выходных. Можно сбежать попросить граммов двести «шиша».

Марина просияла. А когда Леха ушел, подумав, спросила:

— Что у него за контора такая — круглосуточная и без выходных?

— Видишь тот дом? — морг судмедэкспертизы.

— О, блин! И кого он там фотографирует?

— Догадайся. Сейчас вот принесет то самое, в чем заспиртовывали чью-нибудь печенку циррозную.

— Да и фиг с ним — какая разница? — философски заметила поклонница Бахуса. — Лишь бы по мозгам шибало.

Вскоре Леха вернулся с бутылкой ноль семь уже разбавленного спирта. Я почему-то отказался — бывает и такое. Они выпили без закуски. Повторили. Повторили. Повторили.

— Давай, что ли, я тебя снимаю, — предложил фотограф Марине. — Ты красивая. А день все равно пропал. Значит, так — раздевайся постепенно, а я буду делать по кадру. Снимай сначала туфли с носочками... Теперь джинсы... Кофточку... Трусики... (Я, вообще-то, удивился, что они на Марине оказались в наличии).

Дело кончилось тем, чем и предполагалось. Быстро стянув с себя брюки вместе с трусами, Леха сунул мне запасную старень-

кую «Смену» («Никон», конечно, не доверил) и, прохрипев «Поснимай!», сплелся с Мариной, которая, разумеется, не возражала. Поза была принята самая что ни на есть наша — рабоче-крестьянская.

Я ходил вокруг них, нажимал на какую-то пупочку, переводил кадры, время от времени отвлекая Леху вопросами по технике фотосъемки. Это был мой первый опыт.

Зрелище было, честно говоря, не из приятных, я бы даже сказал, из омерзительных. Телепались вялые груди партнерши, ходил ходуном багровый кожистый мешок между ног партнера... О прочих подробностях умолчу.

Расставались на трамвайном кольце.

— Ну, как смотрелось? — с гордостью спросил меня Леха.

— Чистый «Плейбой»! — покривил я душой.

Увидеть плоды своего фототруда мне так и не довелось — Леха сказал потом, что снимки не получились.

1996

КОВЧЕГ

Какая жалость, что Ной со своей
компанией не опоздали на ковчег!

Марк Твен

В ларьке у Финляндского вокзала он купил для Ирочки огромное бордовое яблоко. А когда они перебрались через Литейный мост, примерно за ту же цену приобрел бутылку «Столичной». Первый вопрос, таким образом, был благополучно закрыт, и на повестку дня встал второй.

В данной части объема жизни он решил всерьез приударить за Ирочкой, определив ее на замену той другой, что столь вероломно сокрылась за пределами свежеразвалившегося СССР. Кандидатура представлялась ему вполне подходящей: стройна, изящна, танцует в ресторанном варьете, любит выпить, запросы не чрезмерны (во всяком случае, пока).

В программе ухаживаний уже фигурировали места, по всем параметрам доступные и отмеченные к тому же неотчетливыми знаками клубной атмосферы — так называемые «дома творческой интеллигенции». Но на этот раз ему захотелось удивить Ирочку чем-то хотя бы отчасти необычным. В эту злосчастную минуту он и вспомнил о художнике Бородееве, вернее, о его знаменитой мастерской, находившейся совсем рядом.

Мастерская была действительно замечательной. Занимала она целиком трехэтажный особнячок, расположенный в проходном дворе между улицами Пестеля и Моховой. Примечательно и то, что у обоих входов в проходняк имелись весьма популярные разливы. Принимаешь необходимую порцию на Пестеля, углубля-

ешься в родные с детства сердцу любого питерца желтые извивы двора, любишься по ходу на бородеевскую мастерскую и выходишь на Моховую, где за проделанный путь имеешь полное право вновь себя вознаградить.

А полюбоваться было на что. Вдоль второго этажа недавно отремонтированного домика тянулся балкончик с изящной кованой решеткой. Крыша, изготовленная из пропитанных спецсоставом досок, напоминала перевернутый днищем вверх Ноев ковчег, знакомый по иллюстрациям к библии художника Доре — с той разницей, что всё это сооружение венчал еще и стеклянный световой колпак.

Надо сказать, что и компании под этим опрокинутым ковчегом собирались достаточно разношерстные — под стать причалившей когда-то к Араратским горам. Но если на плавсредстве праведного Ноя каждой твари было, как известно, по паре, то под бородеевским ковчегом практически каждая «тварь» была (или, во всяком случае, числила себя) индивидуальной до самодостаточности. Вот сюда-то он неосмотрительно и пригласил Ирочку.

Шли первые дни января. Народ отягивался после встречи Нового года.

Изможденный Бородеев открыл им, не выказав даже подобия положительных эмоций, и побрел обратно к столу.

— Присаживайтесь, — удрученно бросил он и, не обременяясь представлением каждого, вялым общим жестом обвел тесно лепившихся за столом бородачей разного возраста и калибра:

— Художники...

Те взглянули на вновь прибывших глазами принципиально не закусывающих людей и тут же, как говорится, «забыли об их существовании».

Закусить же было чем. В натюрморт, кроме бутылок шампанского и пузатых импортных водочных литровок, в компании которых выставленная им «Столичная» смотрелась горькой сиротинушкой, входили также тарелки с палевой чавычей, сизым виноградом, крупными ярко-желтыми грушами и прочим, и прочим...

«Хорошо живут художники зимой», — подумал он и выпил по первой.

Было бы несправедливым, однако, утверждать, что никто из присутствующих не обратил на них внимания. В торце стола на высокой трехногой табуретке громоздилась массивная гостья, которую он сразу определил как «пифию». Была она облачена в черный струящийся балахон, черные же волосы рассыпались по могучим плечам. Ласковым взглядом «пифия» оглядела Ирочку, даже слегка дотронулась до ее руки, восхищенно прошептав: «Какая девочка!..», и зло зыркнула в его сторону.

— Тамара по имени режиссер, — сделал над собой последнее усилие Бородеев, отдельно представив «пифию», и окончательно прервал всякую связь с окружающей средой.

Посиделки между тем продолжались. Тамара-режиссер вещала, а все безразлично внимали. Выпив по второй и третьей, он попытался вникнуть в суть вопроса.

Речь, как водится, шла об «эмиграции очередной волны» — о каких-то уехавших «пифиных» знакомых, сделавших литературно-художественно-кинематографическую карьеру в дальних странах.

Безразличный, в общем-то, к этой теме, он, выпив по четвертой и пятой, произнес — более чтобы поддержать разговор и ободрить ораторшу, на которую уже никто не обращал внимания, — роковую фразу:

— Все равно, куда ни приедешь, собственную рожу в зеркале и увидишь...

Впрочем, вероятно, любая фраза, произнесенная им, стала бы роковой, ибо «пифия», похоже, только и ждала, чтобы он раскрыл рот.

— Что?! — вскричала она ужасным голосом, при этом власы ее поднялись, а взор сделался всепожирающим. — Что?!! Да как ты можешь об этом судить, дубина?! Люди на разрыв аорты живут! Таракан, клоп!..

Она сделала паузу, во время которой в наступившей тишине ехидно хихикнул некий закоренелый разукрашенный старичок, чья плешивая головка невесть откуда появилась вдруг на уровне стола — такие гладкие головёнки, пристально выглядывающие из окружающего всеобщего хаоса, он не раз видел на картинах владельца мастерской, которого, между прочим, режиссерские вопли к активному бытию совершенно не возродили.

А та, исчерпав, видимо, свои познания в области энтомологии, перешла к более сильным выражениям, навряд ли уместным даже на съемочной площадке или на репетиции в театре.

Видя, что униматься «пифия» никоим образом не собирается, он встал, кинул в рот виноградину и сказал:

— Ирочка, уходим!

Нарочито спокойный и даже хозяйский тон довел «пифию» до визга, что его весьма порадовало. Однако уже через несколько секунд он ошарашенно захлопал глазами, услышав в ответ:

— Извини, но я... остаюсь.

Бородачи ухмыльнулись в бороды, «пифия», запрокинув толстую голову, по-актерски загромычала. И этот хохот долго еще гнал его прочь из-под опрокинутого ковчега — в смятение, в январскую слякоть, во всемирный потоп...

Несмотря на алкогольно-возбужденное состояние, домой он добрался без приключений. А на следующий день поразмыслил: если приглядеться к ситуации трезво, с чего возбуждаться-то? — всё обычным порядком. На столе — виноград-шоколад, водка-шампанское, вокруг стола — полный комплект на все вкусы. Во главе, к тому же, с восседающей на своем треножнике «пифией» — правда, явно не дельфийской, а лесбийской. В итоге, на кой черт он девушке сдался? — мавр сделал свое дело, мавр может отправляться спать — в одиночку. Ну, проецировал он какие-то воздушные замки в связи с этой самой Ирочкой — так ведь, как нынче выражаются, «ваши проблемы»...

Кстати, «пифию» он через некоторое время встретил в Доме актера. Она демонстративно подсела за его столик с прозрачным

намерением завязать разговор. Но, заметив, что он упорно не желает встречаться с ней взглядом, остекленила водянистые очи и громко вымолвила в пространство: «Чего они всё к нам ходят?! Что у них, своего Дома писателя нет?..»

Принимая во внимание обычную двусмысленность предсказаний жрицы Аполлона, эту фразу при желании можно легко интерпретировать как мрачное пророчество, вскоре сбывшееся — в особняке на Шпалерной, именуемом Домом писателя, случился пожар, и он почти дотла выгорел.

1996

СПЕРМАГАЗИН

Под угро снился мерзейший сон: сначала дотла сгорело имение, потом разжаловали в корнеты Азаровы — и в чине, и в смысле пола... Проснулся: всё не так уж плохо — мы молоды и талантливы, и похмелье не мучит.

Звоню одному знакомому — тонкому эстету, энциклопедисту, умнице:

— Какие планы на сегодня?

— По обстоятельствам: сумею достать яду, хотя бы элементарной цикуты — отравлюсь. Не достану — придется вешаться, белевая веревка, по счастью, не продана.

— А кухонный нож на месте? Наточен хорошо?

— Ну, хакакири требует детального знания предмета. А операцию на венах, мой правильный друг, гигиеничнее и экономичнее производить бритвенным лезвием.

— «Жилетт»?

— Нет, «Нева» как-то роднее, патриотичнее...

Порылся в ящике письменного стола, нашел американскую десятку. Пропади всё пропадом! Плюнул на нее, ненароком попав в глаз президенту Гамильтону, вышел на улицу, сдал бумажку в обменный пункт.

Подошел к «шайбе», скинулся со знакомыми алкашами на бутылку «Джонни Уокера», пояснив, что в переводе это «Ванька-ходок».

Есть и тут свои эрудиты.

Один сказал, что в юбилей выставят на обозрение мумии Александра Сергеевича Пушкина и супруги его Натальи Николаевны.

— Различить-то их как? — спросил второй, томясь лицом.

— По бакенбардам...

Когда «Ванька-ходок» ушел четверти на три, ушел вслед за ним и я. Холодный ветер смертных пустырей засвистел в заушье.

Раз так, пошел в морг:

— Привет, товарищ мой Серега! Гостей у вас, как вижу, много...

— Это после праздников — скоропостяги. Представляешь, что теперь бандюганы удумали: кладут своим убиенным браткам пейджер во гроб и посылают сообщения с поминок на девятый и сороковой день.

Та-ак, они уже и загробный мир осваивают.

Пришел домой.

Внезапно охватил писчий зуд. Сел за стол, написал поэму из одной строки:

«Поставить памятник не спившимся в России!»

Перечитал — хороша!

Позвонил ей:

— Здравствуй, Кильсй!

— Здравствуй, любимый! Как поживают твои вечно эрегированные ушки?

Заплакал, стал попрекать, что не уходит от мужа.

— Не волнуйся, — сказала, — когда мы с ним трахаемся — это не более, чем грязный онанизм. Не то что с тобой...

Успокоился, заснул. Когда проснулся, за окном было уже темно, только во мраке светилась гигантская красно-зеленая надпись «СУПЕРМАГАЗИН ОФИС КЛАБ». «Вот так, — подумалось, — „Клаб“».

Внезапно в первом слове погасла вторая буква. Новообразование, возникшее в результате, напомнило, что не поздно еще включить телевизор и посмотреть «Плейбой».

Включил. Не понравилось: повсюду натолкан силикон. Выключил. Заснул окончательно.

ПОДВИГ БУЗИЛО

Бузило фамилия обязывала. Но... в ней одной могло спря- таться с десяток таких вот Иван Игоревичей. Поскольку был Иван Игоревич мал, кривоног, узкоплеч, глаза имел косые, а уши лопастные, выкрашенные природой в алый цвет закрылок. Руки у Бузило были в сотую часть копейки, поелику спичек в коробке сто. Таким был Бузило. Вот про нос я забыл: сморкать из такого одно удовольствие — ноздри с пол-лица, шахты, вырытые вверх. Этим носом он чуял много запахов. Но чаще других — запах унижения.

Поплакал он на маменькиных похоронах, понюхал скользкий дождевой воздух, из стакана выпил и, захмелев от того, стал целовать всех стариков и старушек, от провожавших до сидев- ших с пятернями черного цвета и рывших слезами всю профес- сионально натруженную грязь на лицах. Пахло от них... Поставь десять восклицательных знаков и не пиши более ничего! Но был этот запах для Бузило вкусным, возвышающим Бузило, посколь- ку от него самого пахло тройным и мылом.

Кормился Бузило пенсией, поскольку с детства был головой ударенный. И вот отметил Иван Игоревич следующее: пока ма- тушка, так и на кухне скворчало, и тряпка о паркет шлепала, и стирка шумела мокрыми и хлесткими звуками. А сегодня... По- ест Бузило яишенку, да и в постельку. Вот и запах, как те, кому раньше копейчку в подземном переходе давал. И даже любовь его — шестилетняя девочка Гюзель из соседней комнаты, та са- мая, которую он и катал на себе, и в жмурки с которой в кори- доре играл, «Фу» сказала, когда Бузило попытался ее на колени посадить. Поерзала попкой по острому и, как капелька ртути, выскользнула.

— Вонючий ты, — кричит и язык чуть не до пупа показывает.

Взял Бузило пачку «Примы» да и пошел себе. Дошел до кана- ла, на мостике встал и вниз глядит. И кажется Ивану Игоревичу, что там внизу не вода, а крокодил кожу морщит. И ежели ему в эти складки смачным окурком запустить, где-нибудь в заливе от- кликнется, щелкнет челюстями или глаз из воды выпучит, народ спугнет, детишек, мамок, старушек, что уж очень, старые паску- ды, миррно пахнут. Думал так Бузило, пока мысль его с галками на крышу не улетела. Представил Бузило, что это его соседи по коммуналке на карнизике расселись — смешно ему стало. Не чуял он еще беды и пошел мимо стеклянных витрин магазина,

слюнки глотая. Вдруг видит — внутри дедок какой-то, навреде мухомора с бородкой, с открытых прилавок консервные банки ловит. Не вытерпел Иван Игоревич, да как заорет: «Ать!» Шухернулся дедок и бегом... А ножки, что у гриба трухлявого, подломилась и... стали тут банки в разные стороны катиться, а народ старичка бить. Поднял Бузило банку, на место положить, и вдруг тетка какая-то тычки в него и заори:

— Завмести они были!

Положили Бузило рядом с дедом и давай обоих. Поплыло у них из штанов, и такой запах встал, такого унижения, что душа Бузило не выдержала и впал он в обморок.

Лечили Бузило в дурдоме весело. Оказался из тех, кому ногой под ребро — плачет. Смешной! А соседи Бузило по палате говорят:

— Вор он. На воровстве и ломанулся. Магазины чистил.

И одного Бузило с вещами не оставляли, соглядатай тут как тут.

От жизни такой Бузило стал радио слушать и газеты читать. И понял, как жить хорошо, когда кругом подвиги и свершения, когда в фиолетовой дали горят огоньки электростанций, железными отрядами шагают опоры ЛЭП, а рабочая дружба — это железобетонные шеренги с глазами ясными, как электролампочки. Решил Бузило обо всем этом врачу рассказать. Лег спать...

...А через час будят. И лица, как пельмени магазинные: тяжелые, слипшиеся, серые.

— Где, — говорят, — часы Рабиновича? Что тот в приемном не сдал, а тайком в трусах носил.

И Рабинович руки заламывает, плачет горько.

— А может, — спросонья бухнул Бузило, — он их в очке по ошибке?..

— Ах, в очке, — говорят и переглядываются. — Вот ты и...

Повели его по коридору, и чувствует себя Бузило смертником, гордо идет, на тычки в спину взором отвечает. Только у самых дверей Бузило понял, куда его привели. Но ребята-пельмени молодцы:

— Закатывай, Бузило, рукава. А хошь — так.

Во все свои ноздри почуял Бузило такой запах унижения, что обрадовался, выловив со дна механические, с золотистым браслетом.

— Да вот они, ребята, — горячился и плакал Бузило. — Не врал я, не брал я!

— Не брал, говоришь, — посуровели пельмени. — А где искать, знал? Ить сразу выудил, паскуда. Ну мы тебе усы, бороду, святой ты наш, быстро намалюем.

И принялись дерьмом лицо бузиловское узорить, каждый возьмет на два пальца по шматку да и мазанет. Побили потом еще и разошлись. Спать-то надо!

Посмотрел на себя Бузило в зеркало и умылся. А думать не стал: последнее свихнешь, если об этом думать.

А наутро вызывают Бузило к врачу, в большой и красивый кабинет, и строго врач с Ильичами на Бузило смотрит. Вспомнил

Бузило про подвиги и на колени встал. Решил: попрошусь, может, отпустит свершать? А врач к нему подскочил.

— Сознаешь, — кричит, — в то время как!.. По обстрочке полотенец... Ты у друга, который тоже, сволочь поганая, инструкцию нарушать... не погнушался!.. В нашей славной имени... слушаев воровства!..

И ногой топ:

— Клоп ты, — орет, и ногой топ, — клоп ты, — и ногой топ, — клоп!

Постоял Бузило у зарешеченного оконца, и молчали звезды, и молчало НЕБО. И таким было молчание, когда только и приходит в голову единственно верное...

Горела слабая-слабая лампочка. Снял Бузило с соседа очки, в одеяло завернул, да и краккк...

...Звездной красивой ночью два практиканта шли по коридору и остановились у дверей бузиловской палаты.

— Хорошо пахнет, — говорит один.

— Ага, — отвечает другой, — коньячком.

Да и пошли дальше. А что? Темно же. Ничего не разобрать!

ПО ТУ СТОРОНУ

(Случай)

Иван Степанович Огрызков, высокий мощный старик, говаривал:

— Мое отчество обязывает меня к степенству, а вас — к послушанию и покорности. А фамилия... Тьфу на нее, на фамилию, — и важно шествовал меж коек. Себе он казался купцом первой гильдии, божьей десницей занесенным в этот мир, и, подолгу пролеживая на кровати и просчитывая урон от несвоевременного прибытия пароходов в Астрахань, ни на что не отвлекался. Разве что, когда молодая и красивая девушка, всунув нос в помещение, оглашала палату робким всплеском речи:

— Иван Степанович... первой гильдии... на укол.

Пребывая (а мы-то это знаем) в блаженнейшем состоянии расстройства психики, Иван Степанович Огрызков и не помышлял всерьез заняться своей генеалогией и выяснить, что происходит он от родителей пролетарско-кочегарного и деревенско-колхозного корня, ни в жисть купцом первой гильдии не был, а был бухгалтером какого-то ЖЭКа, что само по себе, конечно, не унижительно, но, принимая во внимание все вышесказанное...

И до конца своих дней Огрызков парил бы во тьме неведения, не появившись в клинике новый врач. Был он фамилией Опенкин и на былинного богатыря мало походил, ходил по отделению, загребая ногами, а плечи имел сутулые.

— К Опенку? — поморщился Иван Степанович, когда его в первый раз вызвали в кабинет. И был выведен оттуда двумя дю-

жими молодцами, подавлявшими все его аргументы фактом размаха плеч и толщины бицепсов.

— К Опенку, — уже несколько оробело спрашивал Иван Степанович, визитируя днем позже.

— К Алексею Алексеевичу, — поник Иван Степанович в третий раз.

Но в кабинете опять повел себя совершенно неразумно, и выволочен был оттуда двумя вышеупомянутыми под тонкий голос Опенкина:

— Сульфазина ему, сульфазина!

Под сульфой Иван Степанович мучился крепко, но виду не подавал, лишь по первогильдийному его лицу стекали слезы, а Опенкин в то время шарк-шарк по кабинету, пальцами хрусть-хрусть:

— Ишь ты, купчина. Докажу!

Регулярно бывал Иван Степанович у Опенкина. И все реже кончалось для него это сульфой. С каждым разом все более сломленным, все более слабым являлся он в отделение и подолгу лежал на кровати, бороды не теребя, что значило: нехорошие, неславные мысли у него в голове. Ох, неславные! И вот однажды, вернувшись от Опенкина, встал Иван Степанович перед всею палатой на колени и громкогласно объявил:

— Огрызков я, а что Иван Степанович, так то — тьфу! Простите, братцы!

С тем и прекратились его визиты к Опенкину, что поначалу о себе в плохом смысле знать не давало.

А Опенкин, по секрету скажем, даже сто граммов по случаю излечения Огрызкова принял, чего по хилости своей обычно не делал.

Тихо миновал месяц, и все отделение увидело Огрызкова с мученическим, обращенным вверх лицом, вопрошающим: «Кто же я, Господи?» Далее реальность кончается и начинается легенда, согласно которой: ...однажды бродил Огрызков по коридору от зеркала до дверей, заставляя всех пред собою (с чего бы? после унижений? после сульфазина?) расступаться. Денек был серенький, ничто глаз не радовало, в окнах пучилась хлябь. Приблизился Огрызков к зеркалу и говорит: «Господи, кто же я?» Легенда гласит: озарилось отделение светом, и в воздухе потрескивание ощутилось, как будто все каким-то сверхъестественным электричеством исполнилось. Коснулся Огрызков рукой зеркала — и не стало руки, коснулся другой — и не стало ее, а вскоре и сам весь в зеркало перетек и исчез, вовсе из отделения исчез. Прознал через пару минут об этом Опенкин, вбежал: как да что? — а больные все молчат. Кому же сульфазина хочется? Ведь видели они Ивана Степановича по ту сторону зеркала в кафтане да атласной рубахе... с бородой очень важной... на пристани среди тюков и бочек... гладит Иван Степанович бороду, а позади... величественно плывут пароходы с товаром... величаво несет свои воды народная река Волга. И все озаряется светом! Воистину — Божьим светом!

Сергей Сигей

БЕСЕТКА САДАРЯ

посвящается а. т.

I: смерть жила

плавен мерок вечен он
но нечем чему-то чуждость дать играть зовут — туз играть бе-
гут — туго Е дет на Бекреня креня ум кромя рум Смертьжиля
Се Ле сеет бьёт тебя Чит Развичи О Сат Сатвующий О Сат
тающий Словарчик просто бы крыть ларчик сот

Нищий и тело набросок
шел св.Ницший: что ты валяешься здесь мертвое тело пьяное?
«у Г у»
Г не «г» не «х» а Г
а конь ты не кань ты не ктронь трань
«Г У Г У»

Всёкарь-писака чей язык тесак по словам-словарям пел Заж об-
раз тая жиможадностью слов а чары странника мелелий чикача-
ли чили пели — веян боян — бекрене сходня и заж сводня и
жар опаропожар издушимои шимозы странномилолозо хмур
вьюночит встарь — превз свифтарь
«прилежен заум твой беседник грецкий»
«до ран ли мне заумия народ? народа бес и божник?»
о Мзлоч сиденья-балтанья ее он пьет, слезыон и в темя темень —
рог голосиний (отбросим сим «голо ос» — львиный) — варилаась
слава тишине
-ф -анья Целуннолица я наф а лица нулец
печналю Будды полн ко мне влекомо челн стремительно плывет
не челн а лодчень в нем черны сини лебеди цветы красницы и
мнеты любовь девицы
меры полные челны зчially нраль зуч челнырье челеванье чуд
ласкание челна
-птица ты царица ритми лица мида фи
-о юнь орлань иты ме дица губна пальцах слезы пряльцы оже-
анье ожиданье ожерелья жар и жертвенька на жес тахъ жёстк
цветок

В публикации сохранены авторские орфография и пунктуа-
ция. — *Рег.*

© Сергей Сигей, 1997

на слад кажданье всё не жденье
«отпеваль всех слад мой сад» — хор вланочит суетарь

живот странствователя ты полон? который обратим Где? а нежи-
чи ножичком режут хоровод -он средь вод пляшет по цветам
плачет нежич : нужен чужим игры ргун ругатель -ужасен не
скажу вам нравом лепет тёплых
задирист борист ркач Пет Лых Мита Бро испуганно взирает:
«Теач погодарич гадалик-гадалик-выгадарик» -ручиры забробир в
рнослезарком сказерлече шамча-рачью кручил закручину вратью
чихлый

аор роаль: ты рояль там тирскуешь ивральной губы-Ванью — гла-
зерак чиползый вразлерь чах ахчах Марусель крутячкой вдрыго-
верчит пустыч скачет Иванко-броль грусталь ных хынный лобр :
о зеброз звучарищ шарыль никищ туч морь Фо ританника забла-
ва чра — чур Жиль (жырль чурилы) сонника бербух менника
чаралья чур — чур чур ты храм опахамел трам сычорик речери-
теля забавень ич

жыч жыч Жиль пляской плясчит счёт ломаер: реамо реамель его
двигцы оге оге

ты полн но Ло живот вижителя ли а? Митабо задирист ли Ронг
не скажу ужасен вам ум мне раз — умь — Богу рю два ъ ум та
Ковы танца подковами под Ковью пляскини и иници Жилю при
Ятели ярдели красинью осенью Прошение под и в сени а сеничи
сенюшки девичи-девушки ему умертлых хлебино дарят «тя рад
целовать миловать их ласкарать»

под жей сей кожей пуст барабан — громырчит груборь жахло
рах- ч харч рах-ч И старые старичи по старинке струнке в сур-
динку сардины едят жуочители — ах они мучирачи бьют в б в
а в р — а в — а в — р в — а в — б в — бан бан — ч — р —
ч : мы ларскаемся он зарскается она аскается мы скуём тебе
тебре серну зурну песнярочку храмочку они чараются они ча-
руют сях всях хрях лукомойники выдари собираются толпаются
прибирают ся обнимают ся целуют целуют себя — о веснелье
прово жали Жилия зиму чему чимую весной сном сладкостонной
старопрежней выгадали Чи загадали чи сварили Чи-Щи — а хле-
бателей чо а сахарчиков шо а мытари рыбаля челу челоп гало-
пом коню вяжут жуют жуть какое там хвостам ли флагами ма-
хать ах мать Прежний обнигут оньбегут целанники чудари чарм
чарч сыпь чыпь мыпь пойка выпь реальная и все те что е и все
те что когда как ку да ебудь либо любят либонь мругь а она
Ажза? — за польную за моренную застольничю охотой лович-
ков славит чем —

тот не люборь тот нефат кто не любит кто же любит кто обнимет
ты луниры сночель скажирь сопечальник савояжий ты чурак ду-
дящий рак кто свистник мрак тыли толи ворон злобенОро Ной?
Аш: арастела зура чара чаша черномилого винчара и игра порш-
ла сначарла — мы рубим головему мы ловим голубезну любезну
кто плюет цветами в мрачный лобр Судьбы чей — черт и чей

черт и чем затеяли смыграть сычком на рыбке — вор и он —
сна вор она помогра лицать читрачку -замалюльную загачку
трёхч дуракч весел бесень грустимич весел — запархи вечны
весны — о Ры Ба Ки тянут до вен невод полон он полусерц —
Виношир-язр грозен грозчен подиваня Зывая: ой Рушир-овошир
Грозен грозинь ест тсе-тсе печали Се
он чтобежал носить игратьбэ
где Зачем остр где вопрошает: Шает — он играет Где шум под-
обен лепету а люди едят изъ умъ Зачем беден В ком воздух и я
полн распусканья розных цветков А лодками словно любовными
взглядами морочат качают волны-синивицы
птицдырь: фрах-действуют рвут ветра нити А динноты — распу-
скает ся солнце браслетным хватом Так служит море сватом
Люблюб цветов жених меняет рыбкость

мансийская страница манси полинезийская страница

ча янсыл маа аара фа зара
кольцо — кружали — поясово — ри — ри
урас отыр ягушка
рыто сару аам — фох мозь
пайп щовал ичохра
чохра — арстол — лол — вол — не разде — разе — вай —
най — гол
зол
тэ ащ кэй
тунс
рунс
рунс — кунс — змрунз

сангыдтат — тайт — олрайт — тура — мур — ро
менкв ронкв Гон-Вор
Лун — клюнц

астрой пахнет хан астрой пахнут ханьи зовы: по хлебу похлеб-
нию Люблюб упал Она ему Куснула сладоточиво Губы черви
Черник Пан люб пан люб целительный телец левой груди беше-
ногрушенного зада груда маленькой грусти груди Заж он по по-
лям как бомбо:
— а б б б б а а б б б б а а
— андрей : белый белый бел бел — андрей
так вот так анек никак белый чередарит: «пей» Заж «пей»

есть много род ства меж дуэзопом дуэзидпом едим сумп эзоплюб
илислово ловкотак эдипмать
подвески к уху — куху — к платью латьюки стареюще странне-
юще Гозву Гока любиры заторобил — бекренетим смысл накло-
нясмысляем на коня о ни ня неутерян утренних созвучий неме-
ющий пей заж Люблюб поёт он мол: игривица кому глуозами
сплела спелейшинку мечтавня

Обы обо меня качалкою челебидь опеул: песнИмо Обы Роыба
 проуплы: миоल्या нь муйонь Олюбовхэ Всеоплачьбище пуолнуол-
 нЭ: суонные глуозы о зеолейней роз Нцаинц гляндела ниц; он
 лиул слёузел у ног цаирисц
 качнули тихо ветвой:

жил был Люб жила любовь (или бровь?) жил был жиль (целуйте
 пыль?) был: забавы жия с госпожею (она его любила она —
 просила груди разделить словно разрезать лимон) Море то есть
 Лиман: окунуть грудь окунем в тиондиго краситьею небо рос
 лоло лоло Ло Капляводы с груди — мир С плечаона — война
 Жилу птица отдалась солнце плакало при этом люди загораться
 о бросаться вбро хоровод вод хоровод волна теперь его Манила
 позелёная всязависть птицу утопила
 — море отдай мою рыбую
 рыбасад Жиль работает во внём ночьюднём и перьями странны-
 ми ночьюолиманскими страусаннымиднём кутает

смертьжи: ля — ля чюдвеса пообнеса чара чарма ра — кча — ча
 Чу и Ча Ча и Чу
 Но а Но Же и Жи
 а о ри а о ли
 о ри

МО — АО — ТЕ — ЗО — ЧАФ :
 возле озле ле чаф
 возро озро озеро чаф
 возво возво во
 зву взоре учаф

так зетак кромок темнок покровись помолись поцелуйсь мозовись
 мучак

весел лесенный вёл Песен бресенный Лёл
 Эрги рги зэмги зги замзигиры приходили помирать понимать
 эхлюбя эхъево брать

брали мяли надевали эни фени тени ани
 тать крутил верещиц ащич спелое серцо
 жиль цветоча
 щасте мне
 закру
 закру
 жили возем
 Ле

веко любочицы — птицирь она молодцаца
 веко люблюбиры — птичанька печалюбицы
 Уио ио иочии

цер цер офи цер белый синий весь облитый весь залатанный
 губами

бел цер цер бел
 белый белый офи цер цер

Либо	жил	где	жиль	либо	любил	жил
убегают		небасводы		и		растут
тут	цве	ты		оты		улыбка
жиля	ведьмы	стон	и	ст		ан
Ницессы	Цесиод	Утром		она		умирает
проливает	губами		любви			питьё
и замирает	и	замирает		вечны		цветы
ож		ивает				сплёты
окончаний		пулемётны				их
и		флаги				веко
вечно	при		крывает			глаз
любимки	сномъ		монстръ			бро
сает		чужой				домъ
алюбимый	обнимает	ёмен				
целует	краскущёк					
цер	цер		бел			офи
цер		белый			петербургствень	

а за зурью безнурь безлунь — безлиция берчит:

— зурь зурь заричикирья зара азра рузь рузь

а Ивлампа Матрофеничка гурилка иркая: — хихмибочка рошчичка
лунечёк чеканся

излостень

ненавидещень глазищень водиротный внизоверх грозица — и
царлица ведира Впенсиях каксоболирка рюмку ест мень камень ест
тварицы гнильные

весьон белый золотоплече позолотискает воротбелый шантань
позолезность плачерья кақдадь колибо плачу палачу отдали дали
далень далье в Даль господинус нос гоголич белоцарейцы петр
бургский спой пророз егорот сладкостью дамъ даром последний
раз васка такалиска лиль негровый и святой франциск гдекак-
близь «Ко» танец Го Мёд про лилии

в обличеньи каменного сказочель праведень цер цер офи цер цер

Орвать нева — М — Меня завернушили опели омущали омучали
омо ро а смелый без А играетъ и беръ и беръ емуево игра
черная линия синёвая чорнева -ецо цвета одёжа Бова зла
Жиля к небу волокли Букли и вжили в нем стажили пели вели
сюда мюда толпа прибитья ниска емубыч чыбу рыбели орели
вераъ вераъ Чуда веера овеер в пластинах Стини льнут запясть-
ям пёсьи играючи болтаючи ючи несут ему ключи обеда Беда
небродится волнует забавъ чередъ пропальникх песень стихъ
грувурч и ить и Сать дэлил дэфонсъ дэ М ёдь обрат о брат
уползово и розово мелькнули ткнуливъ кнули облача чудна
зовите те овите демъ во донъ венокъ стремтемъ тетемъ торо
лоро о гро мессины жиля и нцаинцы его водили воличи его пле-
скали боличи чужихъ бро бро грустищихъ фро ло фро зовые
дамы мед А о да собиральникъ песнеймой забывальникъ рой его
ресниц и тяжелы хебинные редиры вры Ониры Нцаинц веткаю
улыбнай ему дрожитаря зовётка: ожалей же релью лепестки ума

окуживай ожилу ажилу цаптица перомко глаз льнуёт
снует по холмику грудиры черетёрчикъ мрака брякнули глаголь-
чики колоко личики брывают веавео бро вижиля зеазеро глаз
чернится

вротъ летить медица охозро стан сонетса
мнётся ротъ губами спелый тянуть волокомъ его обросили оро-
сили роем синих инихъ слезъ мырьём мы роем муравьями под
деревьями корнями домик полнится жуками — букварь:

о вечноственная карьк!

и картинкою зелёнчит бокостонет мука Мра уж не кончена игра
жигра копчёна настольёна 2 мильёна оная цена а за смерть
евую смертирь много даль дерутся мируют в хороводе воды чер-
ны тел ворон облетел лицл очертил кольцом брови нрав и нёс
яйцо — все подарки во крыльцо — крыло любиианна — от сна
до ума лианы

о путешествие безсерцее и в тайныхъ тайных водъ мне ней
самобег — искусно мягкое письмо о но
воздушны нежены: веко — глаз

струится моет душу тишине

сердита линица угланиц забыт застольничий бевец он — одино-
кий — сып — лет — лицам — корм — ъ

2: ейскаръ

о Сат Сат Где твой хлыст -по изроз бедами женщин телу Где:
самый рук-но ног собственник-негианец выплёскивает пляс рму-
рясь как дикий палец-но во пасти зверя На:

Зер зеричь Синирь минирь намерь — ак Бегночники пытали:

— ава за?

аза рла?

— остр бег гибельянец

А он — Аон Заж — глазовёрстый черномудринь грустилью лиж
лиж — эта сце эта сца — Ночь

Л: — Унна унна вечер гибок вечерясь

Пер: — Сон аж нами вертит без

Дви: — Женье

Снежич снежень Ник убор машин

— А Лебников кован Лелем

— Однобочье — глазами весна — героя вина: «пей Заж пей» —

А он Аон сердешный сок пил трав всех — побыстрогибнущих
мечтущихмся Снежимолось свила цветенье

Он сел Она была (-подвластен Мнели — раздва — зорьговор)
какдаль изманчива

Мина горя + Я(коря за умие) + синее (синее с просвистом гол-
бова голубого поднималось и опускалось скалось) + желтизна
(игралась: той полдела той небо) = волновали пели волны волно-
вали пели:

«Волны!»

все терема по трепету ума (теперь умереть) — бегианство: гла —

а за: решотчат подчеркнут глазом — мырк чмарк ярк — арка
 бровей (Боберобиль) — Немуль
 хлеб ник веет а зорь смеянствует Я содвигаюсь: -Зрасте чтец
 Подите к матери — пососите еще молока ее ум — Бум
 Итак — а — Из стран ник он

— Ах ни ?

— Ахах

— Ах онно?

— Я ему: Ты бел красотинец А он: — Нет «Ноа-Ноа» нет — Вот
 ухарь вот тень

мечен гневен сорч сыняч и нынчит: нынч! тич!

— Веерели ранью Лени а свирели — рели — ама ра — заа
 ма — их сон Мнос: — Хмось!

заж — в синем — Пейз в голубом — Ажза в зеленом — носи-
 тели плечей бедачи чельп

Он остронырк лечерь ворон — Ажза прианная пряжа жара —
 поцелунное лицо — Они теперичи длятся

А была: смех- цветок — палец всяк зверьк ласк резвк

нравом нега старинная — мёд Медеи Кому звезда (Заж звёздарь)
 кому маяк:

— Ты моряк красивый самсоболий

Любигр боли — Заж — слепец перс — Пейз

Зачемники кудышних: хин — дук — них

— Ему вады он

— Мёртвый мрачный приходи В хороводе нежном крови кони
 не милее не игрее мне мечты О ты

и неги не полон — нолоп! нолоп! — полон биенья: биень би-
 еньц — гроза

до вороха: ах да — фраёр: — а — харь — а хурь

Силач победник ненеголь в чернявых костюмах — Мах
 ахон ах

нагим миган предстал В руке — ео — в глазах — наган : цв —
 т — к (Сидень! книга — твой конь, сочинитель — рысь: ко-
 готь — знать его — о берегись)

Люблюб — цветов жених меняет рыбкость

Воздушная зыбкость!

Водичны моря! чудесна улыбка яичней желтка

о лежень — о нчи! — текучесть меня

каков фраёр? — во как: смехоль-бретатель — ему бы роль-бо-
 роль

Бороль: — Летарий про мешчанстве

— Ре арф

о Сат Сат? Чем-то полн твой разум стекая ф чашу фсерца кам-
 нем ко мне — дающий приформу неголя-пространца слатким
 холмам ее груди — о Молох Гибок лист сил осени — им конь
 несется скачет-кажется пока зимы возгонит ниц

(меланхоличество)

Тайночень онзраль фифцы Инцры странцы угналезь Ыночень
 супренье смелтель и глядец: за гнулью гнуль стремлянец

Нокий Фокий Некий отчанье нулю зланят и хахмецарют —
 царьят царьют злют цирят — фифцыри Анлевый Ынностенъ бег-
 люр Сплошная мтварь асреди Гала а сзади — Мага встуние Мад-
 ре в лунье — Гал Ихпечаль — сусветье разметалья рзама — ау
 Ма

Аума Неума присветы Лунцилька и злобное моличество ментварь
 совпоп и прези цик Гницмерь посредь Цермь и Пермь — разу-
 глазы каближе цели Ивтуд бегут цигуры — авры двигуры :
 Правр Леавр Мавр Троцкавр и Тавр — меланхой — Миноравр
 Икад икаждый текун — молитвоносью тпрун

п р а в р — Пирам — Рев — Авр — Волюц — ртуц

л е а в р — Лень — ень — авр — вень — р

м а в р — Миразм — азм — вазм — разм (а гдежу?)

агде ж агде жа агде лжа

садитесь-ждитесь Жди тенчанья Из пуст — льютых лют лик
 какпорожняк

из кустых врелфых иную тень голослят — и вся интель А Ген-
 цией женисял Ыночень Сплоштемь Сужас: Ка вода

Чувствец черняк восхик — умрец

Умнец перманье — перв — авр: двигур Ш

Повеселень поосень — сень бес Неголубель — желтенье тенема

Тенцоль как нежнозень: очкарь Ичкар — икар — кар Чувствель
 черты-нези Каркида

ее птицественность — опечатка: следует читать: ее птиценность
 окружевая веяморьную о нить Птицарица О вы: цапля — Розо-
 велость о палец и опальций о губы

огубленный игрок: нарисуй ка мне рыбу

камни то серы то чуженебари идут то рыбонебичи ту рыбочку
 кивают волну глумясь над озераморем воды из глубь иных рас-
 тётли солнечная сольсть ветризны

Э ресниц моих шорох их ворох и запах и страхрок

Камении цветлибо тут

о моревная грудева ты плесканная ты о не будь лиманницей со
 мною не грусти мне голову ты мне темней веча весла не плава-
 ла чи?

я молчяголь голопенный я живу в твоих сознах трѣх

— преветр твоей усталости

— о я не былень яблоконя бы съѣб

— обо

— о бог вчерашнего о бок мнестрашного

башня моря — дуй — Даря — из меня изменная вода

гдалит девини урок: — лысый рок

ты облако той целуны — ему наполнил рот град груди — просы-

палась любовь сквозь них — возник рисунок тучки

растенная она ждала жарыбу — пить вод из крук цветком

Лилиявленный роз

смех счастливой рыбы его окутал — они пели: смех смеханный

смех — мех его чувств

мант: понравте мант волос ее сыпучей — нравте лошадью возни-

цы ниц поничень и ниц и ничь — вечер вечного ногой стал латать о подоконь ник неги нев невольник лову — велитель лова волшебства — любитель боли молчества — дровитель речи — дрободриатель ночи — ночерева рёв вела вер и радости даря — Яродома и мрачера — Дя — Люди ли белы если некрасивый осел ниву всю стопчет кабы пчелы дятлу не омочили хвост если и он похож на глаз ресницы царицы пчел — Ведро воды дробило голову голого нежностью мужика — два вареных жука целовали его

ловлю губами

словно ловим сказку и ни зги: ейский вечер впереди

ты была собою — смех соболий словно стебель тоски

о боле и дале красиней и встарь: тёмен и ветрен — улыбье сандалий — проплылала под водою: то — морель — Мролель проплёл из-за из-под зарозовых развод три лепета волны — и лепесток луанный упалительно опал — кого не целовал песок когда коня ночного графин изловлен — Дений пришел вчёркивая дноль — одно ли двое — то былью ли то знает ли Бог — рыб поцеловал луну — он умереть мечталья — ему летец был друг и птиц

они одниц

он бос и лес ему не ужас

серц сердце

не плей воды извечного колодца — лодце волны — кусочек небес и я Самбог — самбегающий песец месец — забудки выросли в уме ли мы умеющие не строить и не ломать а средь веча танцевать серцольчиком озвякаясь

тайну тайнцу жестиком развею — конь сер и дивен

камень камеющий хранитель ниточку любовной — храните нас был он не боле не дверче а внизу плескала землица и развеяна лесами пожелтая морями плещет пляскою вода — водевица — куда

грудечество ее нежней пыльцы изкружев герцога де Ретца ну а же мое же сердце — горсть нитки розовой — их я прошила просила: отдайте принца мне — лишь машет крыл ночник и оди-ночий — оваян пылом — с хладу — зернышко ему мы кинулись смеяся — а клюнуть чем на розовом вею?

Ночниций неба — моречь и птиц — Рыб и Крыл — вели беседу: забыты ль беды?

при крыл запел о лете Летела стая лун — лучист ли лекаря дрожит ли голод

Морыба излилась цветошной пеной И струнню былала звуколь — Раскошенной представла целуна — теперь полулунь вьётся скачерть Рассеян эх был камень — расцвета зелены плы облака Студа дрожашими волнами поют лнуют и бросили укору дну и верху Две подруги два покonya игриву гладят для покоя — поют песху:

мы песок на пасху

сварим а тебя миледи

проведем на мессу

ошибка разувзора была та: ужасна немота беседы оживленна где
 милая моя а вот бежит сукором несомая ветрами с моря вся
 травы все припали — пропащая улыболь покрасила уста покрыла
 Птиц ветромо спел: о трами — утрени печальва — свеждясь

Могорно море — гоморна морегоресть
 Жарутр жаретр — визжащи тру трунебы

Рыб развлекать настал — пленности дружителъ — ветраря бо-
 льничий плескач

их на блюде видя и тысячу умножив разделя глазами сплели

негчайшинку словоц — поймали мволналя чудец:

ветер лечит соль небес — море речет про пловца — птиц куснул
 ее плечто — мы с тобою вот про что

грудь погруде молвит:

— ухо ль плачет?

уходя мы тень бросали чрез плечо — волны стаями летать ра-
 ды — утопилося ничто

— миледи ваши волосы как лев

— миледи ваши голоса нежны

— вы не дочь царицы стран?

тень без ночи

птиц умолкл

уволок умок и рыб

день луну остриг

осторожна пыль ответа:

— Лета

— ваше имени владенье так далеко от меня

— вам граф проплакать принцем возле лета — обопритесь о по-
 рог

— миледи вы красивой лилий

— я вам вышьюсь на платок

о тяжесть речи — плачь местоименья где нет цветут где нет в
 садут беседывать о птиценьке печальки

построим хлам в саду душистом:

— миледи ваш портрет я изыскал — о вы средь скал сердец
 играючись писали: вы моло дец шотлан дец

о браз вы мnez

граф купающий сухую таранку ее удовольствовать в нежность
 взоря Сат веющий в обнимку даме — красотку полнимую лепе-
 стом виногруды миледи сладкобеда в обед уподаёт глазвзурь
 вид песка уazole вод: три головы две голых птицы и грудь твоя
 рыбечуща навзлёт

он забежал уплакать в море — из магазина деланной покупкой
 он сеточке принес ей горе

две веточки скрестились вопрошением мечты: где ты где толполь
 Темнотствуя в садах услышать ах но не слышать

медлива замкнутая в стихшесть:

— миледи вы красивая печаль в красивом мире среди нездес

вы пели — он слух — ослушался вас — не любес

— высокое море вам шаль на прыгающие плечи

— вы в сетке принесли мне грусть?

— в подарок горе про любовь миледи
 — о пусть
 губ опустел кустик
 море грудится волнением синеженщинных волн и пьющие хлеб-
 ный плеск его словно ром словом море — розовый слон — уша-
 сто пляжит — жирнеет розами тел — кажет летящесть неба
 беда одна не ходит дитяtko
 небо — дед — он шелестит льстит водянке своего колышащего-
 ся пальца: ся его ся
 тогда вспоминаем неж на поминках прежности — режет попо-
 лам и ребрянъ веда и вода тучнеет туч нет вертит крыльню ры-
 лом суется ломкая прелесть превечера
 чем темнее тем мелее морыбная сеть
 не смейте о не пейте море рассвета — выпет стон — сто-
 ньше — торчает
 черед черных кидариться в чумару чураться чувствовать:
 — вова вовать блебяръ сумлых рябей
 о моревич не тебе
 на тебе ли едет еле едет птиморица небовна — бовная небреж-
 ность луница косу ковыляжит косит принося пропросит просинь
 сквозь синий воз небенного возняка
 сквоззяк:
 распахли нуты и мимы — солнезь солнее ленного придруги
 ветр — его ство
 ствол волны лном расцвел
 цвелимочка ты кем целуема: — лунём
 конь и лунь скореют — ряечи небес нырлящики морес
 сердитый дец игряжит: он сколечет — чество — морт — вот
 куда — нет водку дай нет водичку для нет нерозочку нежовую
 неж к ее коленежам жамится — жених
 хитр неж тих тих прелесток бересток мореточек
 а точны — ветраки трёкливые тrefуб в масть легадат
 в другой раз рукой засыплет ликичам губязь: легадь плывёная
 стопьёт
 лебязь блажеет — вежь красивеет печаливой грудилией
 грозее
 нежее
 неж воспомянный дней тех пейте
 Сумел быть весел а Хотел на теле брови ровные лепя лаская:
 о такая
 вели ему шажок еще шалый а шерсти шалуну какие шелком
 выменять засунув возле вымени злорovy
 вот ведь веточкой плодов моресничих морестит нежовна вечен-
 ная принимаю: хо неж — наследящий П ренц
 затем — Нцаинц
 тех — тем
 а этим — темноту утех

3: смутница

Пиан — Ино Заж: две главы где подобление струн строению горла
 Пиан — музыки колье
 Ино Заж — он — часть
 Заж — гибельянец
 Люблюб — Фраёр (миган) — Пейз — Ажза — Жиль

китаец: — бергись
 киргиз: — китай

никак таинцы не припомню — попона разума дырява:
 вот Сат ушел с беседником шелковым

Свистец птицак из дальственной далеи
 а море — мро а ветер — тру
 рыбац же: я умру
 Нцаинц в сетях травы поётко — вы ли?
 граф глазом птицы смотрел — его птицак словил
 встречи наш — тишинашь ошукутала меняшь — менесяц и луанна
 с поцелуей сидят рядом
 толькото: топочетки у воронжи во смелю — я осмелюсь удивить-
 ся — ктец задавленность и птица: — какиель милые глазели не-
 снятся лицева? он не черта и мнелъ миледивой сказель:
 — Дианна мнелъ с тобою мерять про себя? ты — царица
 я — пептица
 где присядем там сожжём
 чудивительные лица улетающих вдвоём

перепорог
 1969—1970

**co m m e n t a r i j p l i u s
 n e p r e m e n n a j a l a t i n i z a t s i j a
 r u s s k o g o j a z y k a**

v nizhe sledujushchem posleslovii
 govorirsja o tom chto u kogo pod
 podushkoj a vot na samoj podushke
 mozhet ne byt' vovse nichego slovno
 vsadnik bez golovy nochuet...

kogda ja nachinal sochinitelstvovat mne bylo toli 15 toli 16 let i
 samee pervye stihotvorenija splosh sostojali iz nraivshihsja mne
 togda otdelnyh chuzhjih strok...

drugoe delo chto nraivilos mne vovse ne vsjo podrjad i pervejshim
 uchitelem pisma byl dlja menja v 1962 godu Velimir Hlebnikov i
 poverjal ego novacii ja skudnymi i razroznennymi no vsjo taki
 svedenijami o tom chto proishodilo togda v zapadnoj poezii a bylo

eto vremja izljota lettrizma i v pervue ja prochjol neskolko strok eshche zhivogo v to vremja Francois Dufrene i mne udalos ponjat dve ochevidnye veshchi: poezija internacionalna i poezija nepreryvna...

Hlebnikov ne dolzhen ostatsja bez prodolzhenija i voobshche vsjo napisannoe prezhdje est tolko material dlja razvitija i prodolzhenija... krugom busheval raznuzdanyj literaturnyj sovdep dlja kotorogo v ravnoj mere ne sushchestvovali Hlebnikov i chistaja zapadnaja fonetika no i mir chuvstv ne oposhljonnyh prinadlezhnostju k nekiim proletarskim pobediteljam kultury...

trudno objasnit dazhe samomu sebe kakim obrazom v 15 let možno nauchitsja otlichat nastojashchee pismo ot makulatury i pochemu neustannoje chtenie zastavljalo vybirat imenno Andreja Belogo i Gumiljova i Severjanina vovse togda ne pereizdannyh i chto za nevedomaja sila zastavljala menja dni naproljot sidet v biblioteke i perepisyvat ot ruki Stupeni Kandinskogo ili statji Malevicha iz gazety «Zhizn Iskusstva» i gde zhe byla eta biblioteka mechty? ...

i pochemu k reestru «liubimyh avtorov» s takimi groznymi futurističeskimi imenami legko pribavleny byli Aleksandr Diuma i neskolкими godami pozhzhe Ry Nikonova-Tarshis prozaičeskie proizvedenija kotoroj na dolgie gody ostalis dlja menja obrazcovymi podobno ejo «Processu nad shotlandcem» izdannomu mnoj 20 let spustja v poezdke po Italii odelnoj broshjuroj? ...

odnim slovom okazavshis v 1968 godu zakljuchjonnym v sovetskuju armiju v leningrade kotoryj ja myslenno i pismenno nazывal togda Petrogorodom ja okončatelno pogrulsjsja v podvodnye plavni tvorčestva ponimaemogo prodolzhenijem i razvitiem sozdannogo v literature moimi sobstvennymi klassikami...

krome Hlebnikova pod moej armejskoj podushkoj poperemenno lezhali Hans Richter s ego knigoj «Dada-Art» i tolstye romany Belogo i latinskoe puteshestvie k Zaumi Aleksandra Tufanova i «Princ moej pečali» Ry i dazhe Miledi i graf de La Fer spokojno spali vmeste i porozn...

v teh jakoby voennyh uslovijah literatura tesno svjazalas v soznanii s nekiim tajnym promyslom i opasnym delom i potomu kazalos zanjatiem svjashčennym i temy ne mogli byt ljubymi a tolko pervymi tipa «ljubov i smert» i smert vybiralas ne ljubaja a imenno smert poeta i osobenno javna byla oshibka Guillaume Appolinaire zapisavshego po naivnosti Rossiju v Angliju gde poetov ubivat nikak ne mogut i ja tolko nachinal togda učit perechen ubityh vzbjesvshejsja vlastju negramotnogo naroda znachimyh dlja menja imjon i v njom razmera byli odinakovogo Gumiljov i Harms i Tufanov i Mandelštam...

i mne kazalos chto literatura delima slovno atom i est literatura russkaja i est podlaja sovetskaja

я крониаманталь

манталь

миндаль

да

да

даль

i svobodnaja pljaska horovodnyh i perepletajishchihsja slovno v tance slov i slovoobrazovanij vokrug Zhilja byla dlja menja ne stolko hommage a Velimir skolko lzhiveoe veselie pohoronshchikov prishedshee iz ruskogo folkljora...

i togda menja uzhe muchala chrezmernaja nacionalnost iskljuchitelno ruskoj zaumi...

no esli ljubov proizojdjet v prozopoeme posle smerti poeta to poluchitsja vpolne udobnaja literaturnaja konstrukcija sposobnaja opravdat cherez sjuzhet soznatelnoje osvoenie chuzhjih prijomov i sposobov pisma... zaumnoe umiraet i tut zhe voskresaet s pomoshchju alljuzij i reminiszencij i javnyh i skrytyh citat i prostyh pereskazov...

i ne tolko zaumnoe voskresaet ili osoznajotsja gotovoj formoj prigodnoj dlja dalnejshej pererabotki no i sam avtor ves sotkan iz chuzhogo i chem bolshe takih uzlov i petel tem bolshe dajot on dlja uznavanija i tem vozmozhnej literaturnaja forma katarsisa i tolko odin vopros mozhet meshat takomu avtoru: a gse chitateli gotovye vyuchit chuzhoj tabak? ...

i vot sejchas nachinajut oni pojavljatsja i mogut pod podushku ulozhit lliazda ili Hlebnikova ili i vovse «Smert Iskusstvu»...

i hotja vznikli novye sposoby ubijstva Kroniamantalja i umer neizdannym Igor Bahterev delavshij illiustry v moih rukopisjah mozžno gotovit zaumnoe k pečati...

hotja i chitateli okazyvajutsja smertny i umer samyj luchshij iz prezhnih Nikolaj Hardzhiev napisavshij mne odnazhdy: «Vy ispolzovali konstruktivnye prinzipy uchitelej — Gnedova, Hlebnikova i Kruchonyh ne sdelavshis ih podrazhatelem, u Vas svoj golos i sobstvennyj sigejskij jazyk, — poetomu zabudte ob uchiteljah, oni Vam uzhe ne nuzhny»...

no avtor nichego ne mozhet zabyt i vnov literatura delitsja slovno podlyj sovetskij atom na moskovskuju kolbasu i peterburgskuju i ja ne mogu vybrat literaturu ejskuju vmesto nedelimoj ruskoj i gotov k hozhdeniju za tri morja otchego i latiniziruju sobstvennyj jazyk...

*Sergej Sigej
janvar 1997*

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

В 1896 году, сто лет назад, в Англии вышла одна из самых совершенных книг мировой поэзии — «Шропширский парень» («A Shropshire Lad»). Книга была издана за свой счет (после традиционного в таких случаях отказа издательства Макмиллан — история сохранила имя рецензента, не будем его вспоминать) уже известным к тому времени ученым, специалистом по классической филологии, профессором Лондонского университета Альфредом Эдвардом Хаусманом (1859—1936). Она не была сразу замечена и распродавалась плохо. Но во время первой мировой войны произошел перелом — после того как Хаусман дал разрешение на помещение некоторых своих стихов в собрание, предназначенное для солдат в окопах, то, что любили и знали лишь немногие, стала знать наизусть вся Англия.

Хаусман написал не очень много стихов. В «Шропширском парне», вышедшем, когда поэту было уже тридцать семь лет, содержалось шестьдесят три стихотворения, в следующей и последней его прижизненной книге «Последние стихи» («Last Poems»), появившейся через двадцать шесть лет после первой, их было сорок одно. После смерти Хаусмана его брат, Лоренс Хаусман (довольно известный в свое время литератор), издал то, что осталось в рабочих тетрадах — еще около семидесяти стихотворений (в современных изданиях они делятся на две части — «Еще стихи» («More Poems») и «Дополнительные стихи» («Additional Poems»)). Это все. Но Хаусман был не только поэтом. Всю вторую половину своей жизни Хаусман-ученый считался первым авторитетом в классической филологии в Европе, им изданы и прокомментированы труды многих латинских авторов, его статьи и переводы до сих пор цитируются и переиздаются (трехтомное кембриджское издание его научных статей, вышедшее в 1972 году, содержит 1300 страниц). Его считают последним великим английским стилистом, его лекции и критические разборы — это классическая английская проза, ясная, точная, ироничная. Среди листьев его венка есть и такой — одно из фирменных блюд в парижском ресторане «La Tour d'Argent» (он был его частым посетителем) до сих пор носит его имя.

О месте Хаусмана в поэзии можно говорить долго, перечисляя имена известных поэтов, восхищавшихся им и испытывавших его влияние (от Йейтса до Набокова¹), но проще всего сказать так: теперь стихи Хаусмана — это часть английского языка, а вершины его поэзии — обязательно будут в своде лучшей мировой лирики, кем бы он ни составлялся. О том, что его стихи вошли в английский язык, лучше всего говорит следующий факт. Обычай называть свои произведения строчками из каких-нибудь известных стихов свойствен не только некоторым отечественным литераторам — англоязычные поступают так же. В Америке даже подсчитывают, чьи строчки встречаются в заглавьях чаще. Оказывается, что на первом месте — Библия, на втором — Шекспир, а на третьем — Хаусман.

© Алексей Кокотов (вступительная заметка, перевод, примечания), 1997

Всю свою жизнь и довольно долго после смерти Хаусман считался человеком-загадкой. Он не имел своей семьи, его частная жизнь оставалась закрытой для всех, даже для братьев и сестер. Неизменно мрачный тон его поэзии, постоянные мотивы смерти, самосожаления, безнадежности, неудачной любви и одиночества всегда порождали много вопросов. Подлинный смысл некоторых его вещей казался тайной за семью печатями. Теперь считается, что эта тайна открыта. Адресат значительной части хаусмановской лирики — его сокурник по Оксфорду Мозес Джон Джексон, оксфордский первый призёр, атлет и, видимо, добрый малый. Об их отношениях точно известно следующее. На четвертом году учебы в Оксфорде Хаусман вместе с Джексонем и Альфредом Поллардом снимали вместе пять комнат на троих в доме напротив своего колледжа. Сначала Хаусман был одним из лучших студентов, но положение стало быстро меняться, и дело закончилось тем, что он полностью провалил все свои последние экзамены (Джексон и Поллард заняли на них первые места). Все это совпало по времени со смертельной болезнью отца Хаусмана и серьезными финансовыми трудностями в семье. Карьера рухнула, и нищета стучалась в дверь. Но через некоторое время Хаусману удается поступить на службу в лондонское патентное бюро. В этом ему помог Джексон, работавший там же. В Лондоне Хаусман снимал одну квартиру вместе с Мозесом и его братом. После работы он просиживал вечера в библиотеке Британского Музея, готовя свои первые научные работы, которые вскоре доставили ему известность и место в лондонском университете. В 1887 году Мозес Джексон сообщает Хаусману о своей женитьбе и о предстоящем отъезде в Индию. Принято считать и писать, что именно это потрясение и вызвало к жизни хаусмановскую поэзию. Английские историки литературы не ограничились установлением этого факта и продвинулись весьма далеко в изучении частной жизни Хаусмана после 1887 года. Отдавая должное их настойчивости, мы не будем им следовать. Скажем здесь только, что известное и в России (после перевода, сделанного С. Маршак) стихотворение Хаусмана «Oh who is that young sinner» описывает атмосферу в Англии во время процесса Оскара Уайльда, которая не могла не подействовать на Хаусмана самым тяжелым образом (в СССР всегда писали, что Уайльда осудили за оскорбление ханжеских английских нравов). Не в качестве оправдания того, что не нуждается в оправдании (мир устроен так, а не иначе), а в качестве вполне уместной параллели вспомним здесь о Шекспире и об адресате его первых ста двадцати шести сонетов и оставим эту тему.

Поэзия Хаусмана — это поэзия открытого дыхания, музыкальная и гармоничная, отличающаяся (в своих лучших образцах) одновременно с чрезвычайной внутренней напряженностью той самой ясностью и простотой, которая достигается только очень большими поэтами. Эмоциональное воздействие ее необычайно велико, и популярность стихов Хаусмана в англоязычных странах вполне объяснима. В России Хаусман не столь хорошо известен. Во всяком случае, он известен меньше довольно часто теперь переводимого Харди (с которым его обычно связывают литературоведы) и гораздо меньше другого своего современника — Киплинга, который всегда переводился много и хорошо и чьи интонации явственно слышны в некоторых оригинальных стихах русских поэтов.

К сожалению, переводы Хаусмана немногочисленны и не дают должного представления о его творчестве. Хочется надеяться, что что-то здесь изменится, пусть хоть и через сто лет после первого явления миру чуда хаусмановской поэзии.

От переводчика. Опытный глаз отметит в некоторых наших переводах нетрадиционные решения. Например, появление трехсложных

размеров, нерегулярность чередования мужских и женских окончаний (обычная в английской поэзии, но крайне редко встречающаяся в серьезной русской), «лишние» рифмы в нечетных строках etc. Всякий раз переводчик шел на это после колебаний, но вполне осознанно, считая (может быть, ошибочно), что иное решение погубит стихотворение.

ИЗ КНИГИ «ШРОПШИРСКИЙ ПАРЕНЬ»

I. 1887²

Зажгли мы ярко наш маяк,
 Всем землям виден он,
 Соседи дали тот же знак,
 Пылает небосклон.

Огни в долинах и у гор,
 Страна озарена —
 Полвека минуло с тех пор,
 Как спасена она.

Бог спас корону, но парням,
 Что Богу помогли,
 Не радоваться тем огням
 И не топтать земли,

Где с небосводом заодно
 Их души ввысь росли.
 Они спасли корону, но
 Себя лишь не спасли.

Светает в Азии. Восход
 Могилы осветил.
 В своем разливе каждый год
 Их плиты моет Нил.

Они служили на войне
 Виктории своей.
 Огни горят по всей стране —
 Мы молимся о Ней.

«Храни, Господь, Ее» — поем,
 Наш хор стараться рад,
 Знакомый голос слышен в нем.
 И с нами тот солдат.

Хранит — сомнения развей.
 Будь дальше столь же смел.
 И дай таких же сыновей,
 Как твой отец имел.

II

Как лес неприветлив весною печальной,
 Как гол накануне недели пасхальной!
 Лишь вишня уже приготовилась к ней:
 Цветами усыпана вся вдоль ветвей.

Стою и считаю: мои — семь десятков,
 И два уже прожиты мной без остатка.
 А коль от семи эту пару отнять,
 Останется мне всего только пять.

И бросить! Ну вот напасть!
Но будет спокойно со мною вдвоем,
Ты прочих должна забыть —
И все для тебя отдам я, любя,
— Возможно, все может быть.

Неужто не веришь? И город далек,
Ведь добрая миля есть.
Зачем мы стоим, словно нам невдомек,
Что проще намного сесть?
Весна отцветет, и ее не вернешь,
Вся жизнь наша как цветок.
Меня пожалей. Ты будешь моей!
— Нет, нет. И прощай, дружок.

XXX

Не первый я. Многим хотелось
Зла больше свершить, чем смелость
Позволила бы. И что ж —
Вновь ночь и бросает в дрожь.

Так, верно, и их, бывало,
То в холод, то в жар бросало.
И в больших, чем мой, умах
Желанья удерживал страх.

Их тоже трясло в ознобе,
В одном им еще подобен —
В постель я улягусь ту же,
Где нет ни жары, ни стужи.

Что в душевной ночи исцелит?
С могильных не дует плит
На лоб мой. И сводят с ума
И пламя и лед и тьма.

XXXI⁴

Лес на холмах обеспокоен,
Вот ветра сильного порыв
Подлесок складывает вдвое,
Метелью листьев реку скрыв.

Терзал все тот же ветер гневный
Лес, окружавший Урикон, —

То древний ветер в гневе древнем,
Но новый лес терзает он.

Я вижу римского солдата,
Взошедшего на этот холм,
В нем та же кровь текла когда-то,
И тех же мыслей был он полн.

Как ветер буйный рвется в небо,
Так бунтовала гордость в нем —
О, род людской спокоен не был!
И тем же я горю огнем.

Пусть ветер складывает вдвое
Подлесок — скоро стихнет он,
Давно уж прах тот римский воин,
И сгинул грозный Урикон.

XXXVIII

Вот западный ветер. Случалось ему
Друзей моих видеть милых.
К востоку стремясь, уносит во тьму
Тепло их, вздыхая уныло.

Он грудь наполнял им, виски обвевал,
Играл волосами их вволю,
Язык их — слова из него создавал.
Но слов не услышу боле.

Их голос звучал, замирая и тая.
А после и вовсе стих.
Молчат имена, на восток пролетая,
Мое и друзей моих.

Друзья, я на родине слышал вас ясно,
Но здесь ваша речь нема.
Меня вам уже не окликнуть. Напрасно
Зовете меня с холма.

Мы с ветром пришли из далекого края,
Где прожили так немного.
И в ночь нас уводит дорога пустая,
И вздохи слышны над дорогой.

И, за моим вожатым
С весельем устремясь,
Приязненные взгляды
Я всё ловил, смеясь.

Над пастбищами (были
Холмы внизу тихи,
Лишь только одиноко
Бродили пастухи),

Над крышами домишек,
Глядящих из садов,
Всех мельниц мимо, мимо
Далеких городов,

Все что-то обещая,
Но слов не говоря,
Вожатый неуклонно
Куда-то вел меня.

И над страной цветущей
Вдруг начал ветер дуть,
Над каждой крышей флюгер
Указывал нам путь.

Вперед, за тенью тучи,
Летел, неутомим,

Вожатый мой. Спокойно
Я следовал за ним.

Как только буря мраком
Окутала холмы,
Заметил я, что в небе
Уже не только мы,

Что бурей в мире каждый
Опустошен был сад,
Что лепестков отцветших
Нес ветер — мириад,

Что ураган воздушный
Поток наполнил свой
Из всех лесов осенних
Захваченной листвою,

Что унесенных смертью
Всех за собою влек
Ликующий вожатый,
И впереди, далек,

На крылышках сандалий
Летел по небу он,
С улыбкою веселой
Ведя наш легион.

LXIII^б

Я над цветами спину гнул,
Чтоб в городе продать их.
Никто на них и не взглянул —
Не шли, наверно, к платью.

И я развеял семена их.
Пускай парнишка милый
Сорвет цветок, не вспоминая
Лежащего в могиле.

Хоть трудно выжить семенам,
Их губят птицы, зной —
То тут зажжется вдруг, то там
Звезда во тьме ночной.

Пусть невезучим, как и я,
Даст каждую весною
Немного радости земля,
Покинутая мною.

ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ»

IX

Ветер треплет боярышник, прочь лепестки обрывая,
Пирамиды цветные роняет на землю каштан.
Громко хлопают двери. Все ближе прощание с маем.
Окна слепы от ливня. И я наполняю стакан.

Вот и эту весну мы теряем навеки. И в мире
Смертный жребий нам выпал. Другая весна расцветет,
Лишь когда нам с тобою исполнится двадцать четыре.
Пусть прекраснее будет. Но прежней никто не найдет.

И не только у нас беспощадная буря, наверно,
Погубила мечты, унеся их с собой в пустоту.
И другие кошунством своим потрясали таверны,
Проклиная создавшего смертной земли красоту.

Да и вправду, кто скажет, что к нам небеса справедливы,
Обманув. Дав надежду, чтоб после на смерть нас обречь,
Тем испортив веселье. И мы, поначалу счастливы,
В путь бесцельный ушли, чтобы в землю когда-нибудь лечь.

Справедливости нет в том еще, что и трон королевский
Не дарован ни мне, ни тебе. Наливай же полней!
Мы хотели луну. Не досталась. Но спорить нам не с кем.
Мы с тобою лишь люди. Луна? — Позабудем о ней.

Эти грозные тучи сегодня над нами нависли.
Завтра прочь улетят. Много дел им других впереди.
Плоть живую на новых костях посетят эти мысли,
Снова плакать душе, но уже в незнакомой груди.

Все страдания нашего гордого, гневного праха
Не прейдут. Они вечны, как мир. Ведь досель
Ты их вытерпеть мог. А раз можешь, ты должен. Без страха
Плечи в небо сильнее упри. И глотай этот эль.

XVIII

Вода стекает с камня в глину,
Чтоб хлюпать под ногой,
Все сделал я, что должен был,
Я отвернулся, я забыл,
Я ухожу домой.

Прощай, мой друг, ничто не вечно
И наша дружба тоже.
И завтра будут позади
Моя тоска и боль в груди —
Все время уничтожит.

И мир мне ширь свою откроет
С дороги на холме.
Смогу я быстро в пыль стереть
Воспоминанья все. И впредь
Сюда нет ходу мне.

Не круглый год дождю идти,
Хоть низко тучи кружат.
Еще увижу небо я,
И обойдем мы все края
С другим, тебя не хуже.

Дом рухнул. Не отстроишь снова.
Нельзя помочь беде.
О, мать! Как, счастья полна,
Рожала, мучаясь, она
Тебя — лежать в воде.

XXII

Был терн
в цветах
потерян.
И вяз
скрывался
в тьму,
Был он
в любви
уверен.
Апрель
и ложь
— ему.

Шипами
куст
усеян.
И ветер
клонит
ель.
Обман
любви
развеян.
Январь
и правда
— ей.

XL⁷

Мы с ней давно знакомы. Я
Тропинки сокровеннейшие знаю.
И в тихой музыке ухода сентября,
И в пенье белой пены мая
Я чародейку узнаю. Но зря
Не говори здесь, тайну нарушая.

На пожелтевшей хвое, близ ленивых вод
Сосновой шишке сладко спится,
Пусть лиственных лощин молчащий свод
Кукушкой на время оживится —
Вот нищая — трава, и знает пешеход,
Что в сердце нищее любви не воротится.

Взгляни — еще вчера безжизненные нивы
Уже волнуются, меняются весной,
И поздним летом, под луною, молчаливы,
Стога всю ночь стоят в недвижимом строе,
В предзимье, в бурю, буки, сиротливы,
Терзаемы, пятнают снег листвою.

Владей владеньями, моими уж давно.
Как я, броди среди холмов в стране,
Той, где шоссе внизу петляет, но
И над долиною заблещет в вышине.
Пусть лес теней исполнен. Все равно
Он шепотом все тайны выдаст мне.

Но ей, природе бессердечной, ей,
Безмысленной, слепой, нет дела до того,
Кто бродит здесь и там среди ее полей,
Кому ее столь внятно кодовство,
И о следах, оставленных в росе туманных дней,
Она не спросит, чьи — мои? Еще кого?

XLI

Раз вечером, после работы
Домой возвратившись с полей,
Сойдутся соседи. И кто-то
Вдруг вспомнит о флейте моей.
Лишь свет по лугам разольется
Решатся за нею послать.
И флейта найдется,
И станут они танцевать.

И каждый почувствует счастье
Средь этих занятий простых —
И дедушка, глядя с участием,
Как ветер кружит молодых,
И я, над землею поднявшись,
За музыкой вслед устремясь,
И день, задержавшись,
На звук ее оборотясь.

Взглянув, как танцор загорелый
 С зазнобою пляшет своей,
 Том Энни обнимет несмело
 И тоже закружится с ней.
 Глаза она тихо поднимет,
 Как сладко обоим молчать!
 И музыка с ними,
 И флейте весь вечер звучать.

Вдали уже ночь. Нам же света
 Довольно еще над землей.
 Лучами равнина согрета,
 Уснула, не тронута тьмой.
 Но нет — зеленеющий клевер
 Растаял средь быстрых теней.
 И милый наш Север
 Уже все темней и темней.

Пусть тени еще торопливей,
 Мне с флейтой не страшно моей.
 Быстрей, веселее, счастливей
 Танцуйте, кружитесь за ней.
 Стемнеет — и вечер как не был,
 Назавтра уйдете в поля,
 А музыка в небо.
 И в землю я.

ИЗ КНИГИ «ЕЩЕ СТИХИ»

І. ПАСХАЛЬНЫЙ ГИМН

Что, если и не узнал Ты, что в смерти Твоей смысла нет,
 Если в сирийском саду том все спишь Ты две тысячи лет,
 И даже в смертном своем Ты не видишь сне,
 Как все выше и выше, ночью и днем, в дыму и огне
 Ненависть всходит, которую смертью своею хотел погасить Ты,
 но только раздул,
 Что ж, если так, то спи, Человеческий Сын,
 Ты навечно уснул.

Но если могила пуста и камень отброшен прочь,
 Если сидишь одесную Отца своего, и больше не властна ночь,
 Если укусной губки вкус еще помнит Твой рот,
 Если помнишь Ты крест свой и слезы и смертный пот,
 Если помнишь тоску свою в вечер последнего дня,
 То склонись с небес и увидь и спаси меня.

VI

Обману править
 Не дал я мною
 (Укрыт броней
 Был Всеблагим).
 С надеждой лгущей
 Нам не расстаться,
 Но заблуждаться
 Пришлось другим.

Мечты их были
 Так преходящи,
 О предстоящем
 Был легок сон.
 А я тревогу
 Носил с собою.
 И вышел к бою
 Вооружен.

VIII

Хочу в листву. Туда, где лес
 Стоит вечнозеленый.
 Тут зелени и след исчез,
 Редеют скорбно кроны.

Увы, тот брег уж позади,
 Желанный самый брег,

И край постылый впереди,
 И в нем мне жить весь век.

Прошедшее прошло. Напрасно
 Искать его упрямо,
 Хотя в сетях и тянут красных
 Закат из океана.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Надо сказать, что Хаусман — одна из знаковых фигур для творчества Набокова. В книге «Другие берега» — русском и во многом отличном от первоисточника варианте книги «Sreak, Метому» — Набоков говорит о своих русских стихах кембриджского периода: «Как я ужаснулся бы, если бы тогда увидел, что сейчас вижу так ясно, — стилистическую зависимость моих русских построений от тех английских поэтов, от Марвелла до Хаусмана, которыми был заражен самый воздух моего тогдашнего быта». В английском варианте это место неузнаваемо — вместо Марвелла и Хаусмана там находятся поэты-георгианцы (очевидно, в первую очередь — неназванный Руперт Брук, которого Набоков переводил и которым восхищался). Зато в конце 13-й главы «Sreak, Метому» Набоков, перечисляя многие картины своей кембриджской жизни, оставшиеся в его памяти, упоминает рядом следующие три: «...П. М., врывающийся в мою комнату с экземпляром „Улисса“, только что привезенным из Парижа; <...> Т., очень старый и немощный официант, проливающий суп на профессора Хаусмана, который тут же резко встает, как человек, внезапно выведенный из состояния транс... Е. Харрисон (тьютор Набокова в Кембридже. — *Прим. перев.*), делающий мне неожиданный подарок — „Шропширского парня“ — маленькую книжку стихов о молодых мужчинах и смерти».

Анекдот о супе подозрительно напоминает хрестоматийную историю об Альфреде Теннисоне, который, находясь на светском обеде,

перевернул красивую тарелку, чтобы рассмотреть марку мастера, и вылил на себя все содержимое. Возможно, что это аналог анекдота о декане в разбитом окне, выданного Себастьяном Найтом г-ну Гудмену в качестве своего кембриджского воспоминания. К слову, и Себастьян Найт — alter ego автора в набоковском романе «The Real Life of Sebastian Knight» — признается: «Я был бесконечно влюблен в страну, ставшую мне домом, <...> у меня бывали киплингговские настроения, брукувские настроения, хаусмановские настроения» (перевод А. Горянина и М. Мейлаха). В примечании к этому месту романа русский комментатор издания (Владимир Набоков. Романы. М., 1991) резонно пишет следующее: «О встречах (sic!) с Хаусманом — профессором Кембриджского университета — в обеденном зале (sic!!) колледжа и о его книге стихов Набоков вспоминает в английском варианте своей автобиографии „Память, говори“...» Жаль, что ни Хаусман, ни Набоков никогда не увидят этого комментария. Несомненно он бы пришелся по вкусу обоим.

Переводчик уверен, что какой-то дьявол преследует в посмертии великого текстолога (Хаусман был славен своим непревзойденным владением искусством конъектуры — об этом см. примечание 7). Так например, Набоков и в «Speak, Memoгу», и в романе «Pale Fire», упоминая книгу Хаусмана, упорно меняет в ее названии правильный и значимый неопределенный артикль на неправильный определенный; Д. С. Лихачев, цитируя Хаусмана в своей книге «О филологии» (М., 1989, с. 201), пропускает опечатку в имени — А. Хаусман. Вряд ли кто-нибудь отважится упрекнуть этих авторов в невнимании к подобным мелочам.

Один из сложнейших и загадочнейших английских романов Набокова «Бледный огонь» («Pale Fire») буквально пропитан хаусмановскими мотивами. Можно предположить, что Хаусман — пятый участник цепочки взаимоотражений Набоков — Шейд — Кинбот — Градус. Вот кое-какие следы: годы жизни Хаусмана, заботливо указанные Набоковым в примечании к строке 920 поэмы Шейда, — 1859 — 1936, годы правления короля Земблы, поклонника Хаусмана, — 1936 — 1958 (разница в год — особая тема для Набокова), год смерти Шейда — 1959! И Кинбот и Хаусман (это стало широко известно приблизительно в то время, когда Набоков писал свой роман) страдали пороком, столь часто обсуждаемым на страницах набоковской прозы. Стихи Хаусмана цитируются без упоминания автора в тексте романа, и примечание к строкам 385 — 386 несомненно свидетельствует, что Кинбот прекрасно понимал гомосексуальную подоплеку знаменитого стихотворения Хаусмана «Атлету, умершему молодым».

В заключение приведем здесь полностью примечание Кинбота к строке 920 поэмы Шейда (перевод С. Ильина): «Строка 920: *Так губом волоски* — Альфред Хаусман (1859 — 1936), чей сборник „The Shropshire Lad“ спорит с „In Memoriam“ Альфреда Теннисона (1809 — 1892) за право называться высшим, возможно (о нет, долой малодушное „возможно“), достижением английской поэзии за сотню лет, где-то (в „Предисловии“? (Нет! В лекции «Имя и природа поэзии», в качестве примера действия подлинной поэзии на организм восприимчивого человека. — А. К.)) говорит совершенно противное: в восторге вставшие волоски ему бриться только мешают. Впрочем, поскольку оба Альфреда наверняка пользовались опасным лезвием, а Джон Шейд — ветхим „жиллетом“, противоречие вызвано, скорее всего, различием в инструментах».

² В этом стихотворении, открывающем книгу, речь идет о праздновании пятидесятилетия вступления на престол королевы Виктории.

³ Сохранившиеся черновики оригинала этого стихотворения свидетельствуют о необычайно трудной борьбе Хаусмана с чуждым для него материалом. Отвергнутые автором варианты содержат, по словам исследователя творчества Хаусмана Т. Б. Хабера, «самые гротескные и банальные фразы, которые когда-либо выходили из-под хаусмановского пера».

⁴ Урикон (Uricon, Uriconium) — древнеримская крепость на территории Шропшира.

⁵ О невозможности буквального перевода этого, вероятно, самого знаменитого стихотворения Хаусмана см. статью Набокова «Искусство перевода» (в книге: Владимир Набоков. Лекции по русской литературе. М., 1996).

⁶ Последнее стихотворение книги. В своей лекции «Имя и природа поэзии», прочитанной в конце жизни, Хаусман единственный раз приоткрыл завесу над тайной своего творчества, рассказав об истории возникновения этих четырех строф: «...Случилось так, что я отчетливо помню происхождение пьесы, стоящей в конце моей первой книги. Две ее строфы, я не скажу какие, пришли мне в голову в точности такими, как они напечатаны, в момент, когда я пересекал край Хэмпстедской пустоши <...>. Третья пришла, после некоторых уговоров, за чаем. Нужна была еще одна, но она не приходила: я должен был приняться за работу и сочинить ее сам, и это было трудным делом. Я переписывал ее тринадцать раз, и прошло больше года, прежде чем я получил то, что нужно». Сохранившаяся рабочая тетрадь поэта содержит черновики почти всех стихотворений книги. Среди немногих отсутствующих — LXIII, причем те страницы, на которых оно должно было находиться, вырваны. До сих английские литературоведы спорят, выясняя — какие строфы LXIII даны выше, а какая руковорна.

⁷ В оригинале нечетные строки не рифмуются и ритмическая структура строфы строго выдержана — 434343. Во второй строфе — игра слов: *Traveller's Joy* — буквально, радость путника — название вьющегося растения, которое в России зовут *ломоносом*. Это растение имеет множество разновидностей, одна из них, согласно словарю Даля, называется *нищая трава* — счастливый случай для переводчика. *Traveller's Joy* упоминается еще в одном прекрасном английском стихотворении — «Fare Well» Уолтера Де Ла Мара, написанном приблизительно в то же время, что и XL. Любопытно, как Хаусман использовал газетную опечатку в тексте этого стихотворения Де Ла Мара в следующем, весьма характерном для его стиля отрывке (он взят из предисловия к V тому Манилия — капитальному труду Хаусмана — издателя и комментатора):

«Меня удивляет то, как много людей считают себя достаточно квалифицированными, чтобы самостоятельно судить о конъектурах и объявлять их хорошими или плохими, возможными или невозможными. Чтобы судить о поправках, нужно обладать качествами человека, умеющего делать поправки, а требования к нему громадны. Читать внимательно, думать правильно, не упускать ни одного относящегося к делу обстоятельства, подавлять самовольство — уже и эти требования далеко не обыкновенны, хотя человек, исправляющий текст, нуждается в еще большем: в точном понимании читаемого, в конгенитальной близости к автору, опыте, который должен быть получен в исследовательской работе, и природном уме, приобретенным в утробе матери.

Меня могут спросить — думаю ли я, что я обладаю этим багажом или по крайней мере большей его частью, и если я отвечу «да», то

это будет новым примером моего знаменитого высокомерия. Я охотнее буду высокомерным, чем бесстыдным. Я бы не принялся издавать Манилия иначе, как будучи уверенным, что я способен на это, в частности я считаю, что я понимаю, где надо исправлять и как надо исправлять, лучше большинства других. Следующая строфа стихотворения Де Ла Мара „Прощание“ первый раз попалась мне на глаза в газетном обозрении так, как она здесь напечатана:

Oh, when this my dust surrenders
Hand, foot, lip, to dust again,
May these loved and loving faces
Please other men!
May the rustling harvest hedgerow
Still the Traveller's Joy entwine,
And as happy children gather
Posies once mine.

(Rustling hedgerow — шелестящая изгородь, у Де Ла Мара — rustling hedgerow — ржавеющая изгородь. — Прим. перев.)

Я мгновенно понял, что Де Ла Мар не написал rustling, и еще через одно мгновение я нашел верное слово. Но, если бы все стихотворные книги погибли и эти стихи остались бы только в газетном обзоре, кто бы поверил мне больше, чем наборщику? Большая часть публики была бы совершенно удовлетворена словом rustling, нет, она совершенно искренне предпочла бы его эпитету, выбранному поэтом. И если бы я был столь неблагоприятным и опубликовал свою поправку, то мне бы сказали, что rustling здесь совершенно точно и поэтично, потому что живые изгороди действительно шелестят, особенно осенью, когда листья высыхают и солома и колосья, упавшие с проезжающего мимо воза (для которого эпитет harvest (жатвенный) является столь прозрачной аллюзией, что только подобный мне педант может ее не заметить), застревают среди прутьев. И мне рекомендовали бы бросить мои пыльные (dusty) (или заплесневелые (musty)) книги и познакомиться, пусть и слишком поздно, со звуками и пейзажами сельской Англии. И все, что я смог бы ответить — это только „Уффф!“.

Стихотворение Де Ла Мара заслуживает быть приведенным здесь полностью. Вот вольный русский перевод:

Я умер, я там, где мрак ночной
Глазам уж не застит свет,
Где ветер уже не вздохнет надо мной
И дождь не заплачет в ответ.
Как можется миру? Ведь он чудесами —
«Ты жив!» — мне твердил всегда.
Память слабеет. Ужели мы сами
С ней выцветем без следа?

О, когда этот прах возвратится
— Руки, губы, глаза — обратно в прах,
Другое лицо опять отразится
Счастьем в других глазах.
Пусть синий вьюнок в ограду вплетает
Цветы, как раньше вплетал,
Их дети веселье собирают,
Я тоже их собираю.

Гляди же влюбленно на мир отныне.
Всегда. Да не сможет тьма
Все чувства твои заточить в пустыне
Отчаявшегося ума.
О, ты заплатишь за счастье это
Ведь все, что любимо тобой,
Отобрано было от любящих где-то
В день иной.

*Вступительная заметка, перевод
и примечания Алексея Кокотова*

Сергей Сигей

БАХТЕРЕВ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

во главе пиршественного стола русской поэзии последних десятилетий с кровавым стаканом пушкинской мэри в руке сидит вечно живой Игорь Бахтерев (1908 — 1996)... свои первые стихотворения — заумные и абсурдные — он сочинил в 1925 году и с тех пор неустанно и вдохновенно лелеял обэриутскую музу и не давал ей никакой пощады и пел ей лу... впервые его стихотворения появились в печати только в 1980 и печать эта была самиздатской и пятиэкземплярной — вплоть до 1987 Бахтерев был вернейшим автором авангардистского журнала «транспонанс»... по тексту номера 25 этого издания и печатается его двухчастная ода... настоящая публикация не соответствует авторской белой рукописи своей бесцветностью — в оригинале точки обведены цветом... красные, синие и зеленые оболочки создают предваряющее чтение мерцание... предупреждают о мерцании смысла и утверждают постоянную точечность обэриутского времени... придет время и для цветной печати стихотворений Игоря Бахтерева и разноцветные его рукописи обретут еще и следующую жизнь... но и сейчас пришла пора колотить ложками по кастрюлям и повышать лу и продолжать пировать поэзию не на время а навсегда...

апрель 1997

Игорь Бахтерев

ЛУ

Ода петру ефремычу, представителю самых опасных предводителей, начинается с уведомления:

каждому, кому предоставится возможность огласить оду, предстоит дренкать струной, шлепать по клавишам, колотить лож-

В публикации сохранены авторские орфография и пунктуация, по техническим причинам мы не смогли соблюсти одну из их особенностей — читатель обязан умозрительно вписать каждый знак препинания в квадрат. — *Рег.*

© Сергей Сигей (вступительная заметка), 1997

© Анна-Ры Никонова-Таршис (послесловие), 1984

© Транспонанс, 1984

кой по кастрюле, ладонью по чему попало, сопровождая этими или другими звуками многочисленные знаки припенания, которые ясно обозначены.

Предложение выполнять неукоснительно .

**первая часть —
вычетаний, сочленений, сочетаний.**

/

Лу — спичка .
Лу — высота пуха .
круг бедности,
куб разности .
Клуб вычетаний .
Юность — в любви к праздности .
частица участия,
единица желаний
и пустота .
возможно полнейшая .

/

Но остается утренняя исповедь .
А еще причастие .
Причастность к сочленению,
к сочетанию .
Затем спор Всевышнего
при всеобщем одиночестве .

/

Зачем же он в пустоте,
когда осталось вычетание .
Сочетание .
Сочленение .
Когда стынет и стонет — Лу .
Хранительница прозрачных птиц .
Небесных рыб .
Воздушных лясепетов .
Помнится, постоянный хранитель — Лу,
только она .

/

Впереди выклубок созвездий,
клубок надземных соборов .
Но у бедняг

страшно развились пяги :
пчесл .
Рыбл .
И скяды .
И всё на чреслах .
Тонких претонких .
Длинных предлинных .

/

В том безводном омуге .
кто-то обратился к содействию .
Длинных колёс .
Тонкого бинокля .
Без которых невозможно .

/

А дальше —
прелесть безволосой кобылицы .
Соревнование безногих горбунов .
На волосатых волосефетах,
под грубое пение лютни .

/

В завершение — укромность,
угрюмость .
Преданность многострунной,
вечно иностранной рыбе .
Прозванной — Лу .
По-нашему: злупанькой .
Затем, верность бедности,
преданность посеребренной тыкве .
Горестным корсарам,
густому пространству .
И всё для жителей Номи .

/

Но главное — возвращение вперед .
где черствая тыква .
Везде .
Для всех .
Для каждого .

/

Знайте !
Лу — жестикуляция безруких .
Говор немых .

Сговор безучастных .
Дзень исповеди .
Бзесь причастия .
Мечты и днище
туркменской Евы .
Предсмертной девы .

/

Значит Лу высота пуха .
Она же — гром созвездий .
Потом единица желаний .
Потом исчисление
и вычитание .
Горестных морсаров .
Грозных тыкв и букв .
Потом грязных точек,
гундосых греческих курцаров .

/

Сочетание .
Сочленение .
Соревнование горбатых .

/

Тогда всё и объяснилось :
Лу — оно, всегда — оно .
Лу — спичка .
и оно неповторимо .
Оно исключительно спичка .
Только спичка .
Личико критика,
скачка на тачках
и на точках .
Праздных,
сквозных,
разных .
Прачка в неопознанных стоках .
Так кто же то самое — Лу,
кто оно ?

/

строчка фелаха,
тачка в бочке,
печь с тещью
в пещере ничтожных вод .
Гладких единиц .
Ничтожных услуг .

И всё это — Лу .
Оно ужасно,
однодневно,
односложно .

/

Знайте !
Лу — вечерняя исповедь,
причастие .
И участие .
Устные причитания
усатых кабалеро .
Жестикуляция
безпупых,
безногих,
безрогих .

/

А впереди стрельбище безоружных .
Безлуких .
Скачка безошадной прачки
на двухголовом верблюде .
Стачка в трехкомнатном овраге .

/

И снова скачки :
безбровых .
безхвостых .
безротых .
На шкафах .
На комодах .
На трех чреслах .
на двух паломниках,
даже повойниках .

/

Наконец — прелюдия,
с беззвучной одышкой .
Потом гуцул .
Всех превосходящий .
непрерывно падающий .
Затем воспитание гуцула
прелесть гуцула
темя
тело
пепел гуцула .

/

И скачки безлошадных
на безногих ведьмедах,
на безколесых велосипедах .
Многоголовых прачках .
На многококих
многооких рыбаках .
Рыбах из прекрасного Номи .

/

Потом корсары,
потом единица желания .
Велосипед,
велосипед,
воссед .
И высота пуха .*)
Кубок мудрости в гнезде понятий .
И всё это вместо слухов :
дворовых
паровых
портовых
ковровых — атмосферических,
всяких .

/

А из за угла —
трепет и мечта эвенка .
время — эвенка .
И снова, непременно, эвенк .

/

Глупость,
грубость,
прелесть
И еще кубкообразного ежа .

/

Мудрость греческих каблуков .
Грязных корсаров .
грозного простора,
трепет над проспектом
радость над пропастью .
Лепет одряхлевшей эвенковой супруги .

*) Усиление голоса до крика

/

Она мечта ВР плюс — Лу,
которое кашляет .
Без мечты ВЗ плюс Лу,
которое чихает .
С приложением Ы .
При минусе — Лу,
которое фыкает .

/

Потом разлука с Номи .
Прогулка —
от ночного Урала
до мечты об Урале .
Где индустриализация .
Паспортизация .
Канализация .

/

Причастие грузных пабубков .
Пастухов
пидтухов
цесарок .
Из пробирок
из курдюров
мимолетных усекирок .

/

И прочее :
в кустах
в лесах .
Среди саженцев .
В негромких но быстрых перелесках .
С белой шапочкой .
Синими волками .
Зеленой бабушкой .
С лиловатыми конями самого Гаврилова .

вторая часть —
равенств, тождества двумыслия.

/

Он — Лу .
Единый ,
единожды повторяемый .
Одним голосом ,
двумя,
тремя,
четырьмя,
пятью ...
и так далее .

/

Не в ледяном предбаннике,
в отдаленном пространстве .
Где ютится карзина .
с грустным петухом,
который не Лу,
а — Ру .
Это в отдаленном пространстве .
Где ютится карзина,
с грустным петухом .
Отдаленный шар,
прямо над ним .

/

Потому что Ру — пидтух,
обыкновенный воздухоплаватель,
который плывёт .
Частично потухая .

/

В ту дождливую ночь
причастие отправляя — он .
Ни пидтух,
ни Гаврилов .
Только — он .
Тогда, разбиваясь в крах,
Лу и становится — им,
обязательно им .
Именно тогда те двое и вошли .
В подвал входят жандармы .

/

А гаврилов, который Ру,
сел на жеребенка
огромного, уморительного
и вылетел прочь .

/

Только превращенный к тому времени .
Петр Ефремыч поступил иначе .
Поступил по-другому .
Он сидел без рук .
без живота,
в пустом углу .
И без внутренностей .
Сидел, сидит и кваркает :
Лу, Лу, Лу ...
Еще и еще — Лу !

/

Ну, дед, ты и даешь, ну и бубнишь. В одной квартире с подобным не окажись. Весь свет проклянешь. Как так? влипаете, сударь. Я же не тот, а значит совсем другого значения. Я парфенон, слышь : парфенон — обыкновенный. Да, ну? Тогда, дед, прости. Вали — продолжай. Покуда я тебя не заподозрил ...

/

Вот он и сидит и глядит
и кваркает :
Лу, Лу, Лу ...
Брук бру бру .
Ак га гу .
Бясь, бясь .
И опять :
Лу Лу Лу .

/

Да потому что он сам — Лу .
И его жена Петрясовна,
бывшая береза .
И его детки :
финь, фень и кобла,
бывшие кастрюли,
обыкновенные лунтики
или лунники .
У петра ефремыча круглый зад,

мелкая проседь .
И всё же он — Лу .
Все они — Лу .
Даже Гаврилов,
который — Ру .
Все таковские .
Когда скакали
и скачут .
И будут скакать
потухая патухами .

/

Всегда и везде .
На безбровых .
Безпалых .
верблюдах
ведьмедях
волосатых велокикедах .

/

А теперь Петр Ефремыч
лежит после жирного стола .
постной скатёрки .
Лежит-бренчит и кваркает :
Лу Лу Лу .

/

Вот прежний Лу медленно в пол и врос
продолжая кваркать .
Разрывая длинное горло :
Скорее уходите вон .
Подальше вперед
в прошлое !
Жандармы, конечно, исчезают .
Уходят и те в зеленых фуфайках .
Не таков Гаврилов,
который, как прежде, взмывает .
Возможно на исповедь .

/

Ура-ура! Петру Ефремычу,
который всегда и везде — Лу .
всегда уезжает,
и всегда и везде на волосатом .
то двухколесном .
то одноколесном .
А за ним всегда бегут кости собаченок ,

махонькие скелетики .
Потом они распадаются,
то ли от брошенной склянки
то ли от нагана .

/

Ура ему !
Который всегда великий .
Всегда апостол Вермеер .
Всегда понимается
на волосатой, крылатой
матечиклетке .
За крышу, за трубу .
Даже выше .
Еще выше — в далекую пустоту .
Возможно полнейшую .
Это чтобы спасти фень и финь .
Но главное коврү .
Там где грешный,
на красивом воздушном шаре .
от грубости порозовевший — педтух .

/

Ура знаменитому петру !
Он очень опасен — ефремыч .
Очень — очень !
Везде и для всех .
Особенно :
кто скачет на двухголовом верблюде .
на лиловатой кобылице без ног .
кто увидит утро с причастием .
день с причастием .
вечер с причастием .
Единицу желаний
и ночь .

/

Клуб праздности .
Кубок радости .
Бег бедности .
Век вольности .
Никому ненужных карцаров .
Из казармы Волынского полка .
Откуда монах Гаврилов .

/

Кас зарм и гры .
Цвет и бец .
Бень финь ковра .
Бень .
Финь .
Ковра .
Бру ру ак га гу .
Бясь бясь .

/

И еще раз — виват !
два раза ура !
Ему, который гуцул .
Который эвенк .
Который Кцы из Номи .

/

Который Всевышний
Великий — знаменитый .*)
Который — Лу .

/

Тут горло и пространство
разрываются .
Снова улетает Гаврилов .
укатывает на грустном патухе Ковра .
И дважды неповторяемая ода —

/

она завершается для меня . для вас .
для всех .
Не на время — навсегда .

1954 — 1984
Пулковское шоссе

*) понижение голоса до шепота

Анна-Ры Никонова-Таршиц

ЛУ — ИГОРЬ БАХТЕРЕВ

Ода «представителю самых опасных предводителей» соответствует своему адресату — она представительна и опасно-шикарна. Инкрустированная цветом (помимо отдельных спонтанных выражений, цветом выделены именно точки, т. е. демонстрируется интересный прием: инкрустация вакуума), декорированная заумью и акционными ремарками (просьба «дренькать струной», «шлёпать по клавишам» и т. д.), чётко поделенная на две части, она предстаёт многообразным, эклектичным и миражным сооружением с явственным и очень крепким фундаментом — мыслью.

Интеграционность оды, её очевидная и даже выпячиваемая связь с математикой, но и символизмом («хранительница прозрачных птиц»), её дуалистская лексика («воздушных лясопетов»), неологизмы («пчесл») аналогизмы (пчесл — рыба — на чреслах), её пунктирность вплоть до лейт-мотивности Лу, определяемого всё в новых и новых категориях — всё это настолько обогащает конструкцию оды, что её вполне можно назвать поэмой в духе Лермонтова.

Чем Лу — не Мцыри? Высота духа и ярость несомненны, романтизмом так и веет из всех закоулков оды:

юность — в любви к праздности.
 частица участия.
 единица желаний
 и пустота.
 возможно полнейшая.

Тоска и одиночество («Когда стынет и стонет Лу»), частные апелляции к Всевышнему, к «выклубку созвездий», наделение «небесностью» рыб и пр. «надземные соборы» — Лермонтов, Лермонтов! И это очень приятно.

Это именно «причастность к сочленению», указанная в оде.

Бахтерев вакуумизирует образную ткань, превращая поток образов в «безводный омут», в «жестикуюляцию безруких». Он подчёркивает «предельность безволосой кобылицы», пишет о безногих горбунах, о «безбровых, безхвостых, безротых на шкафах». Этот нонее-стиль (стиль отсутствия и отрицания) естественно сочетается с парадоксальным замещением, т. е. переменной знака + на минус («под грубое пение лютни»).

«Густое» пространство Бахтерева предано «многострунной, вечно иностранной рыбе». Его метод — «возвращение вперёд».

Замещения отдельных букв в стиле «ошибки» — нередкий приём в оде («горестных морсаров», «радость над пропастью»).

Определение Лу, причём, перманентное — один из стержневых сюжетов («стачка в трёхкомнатном враге»). Интересно, что нонее-элементы, т. е. все беззркие и безвсякие уравниваются плюрали-элементами, т. е.

многоголовыми прачками
 на многооких
 многоогих
 многооких рыбаках

Фонетическая палитра Бахтерева изысканна и посвящена то гуцулу, то эвенку («трепет и мачта эвенка»).

В последнем слове I части оды появляются один из её героев — Гаврилов.

Во второй части возникает интересный образ — альтернативный Лу — Ру. Причём, Лу временами модулирует в Ру, со всеми вытекающими образными последствиями. Интересна и индентификация Ру и Гаврилова.

Во второй части оды возникает и сам её адресат Пётр Ефремович, который «сидел, сидит и кваркает». Причём, кваркает он: Лу, т. е. это своего рода прародитель всего, такая атрибуция, надо сказать, сделана в лучших традициях одического мышления.

В лирическом прозаическом отступлении поэт даёт себе самохарактеристику: «Я — парфенон». Характеристика эта не лишена обоснованности, автор оды вполне парфеноносен.

Возникают во второй части и «детки»: финь, фень и кобла — резко характерные детки, «бывшие кастрюли». Поэтика абсурда вполне адекватна здесь своим лучшим завоеваниям (вторая часть оды вообще сильно напоминает остальные произведения Бахтерева по стилистике). Поэт как бы взбирается всё выше и выше, достигая той точки, с которой все — Лу: и Пётр Ефремович, и его семья, и «даже Гаврилов, который — Ру»

Ура — ура! Петру Ефремычу,
который всегда и везде — Лу.

Пунктирные образы, сквозящие в произведении: причастие, велосипеды (велокикеды, велопипеды), двухголовые верблюды, безногие кобылицы, педтухи, пустота («возможно полнейшая») дополняется во второй части «очень опасным» Ефремычем (очень-очень). Некоторые строфы в конце оды посторяются почти целиком, к ним стягиваются отдельные ударные фразы и образы из всей оды, и создаётся конгломерат, сгусток, «ударная рать», вооружённая виватами в честь «гуцула, который эвенк». Он же, разумеется, всевышний, он же — Лу. Равнодушие к авторитетам Лермонтова здесь обрастает экспрессионистскими нотами («горло и пространство разрывается»), и ода завершается «навсегда».

Поэт работал над ней 30 лет.

1984

(опубликовано в журнале «Транспонанс» № 25)

Александр Кондратов

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

Мистерия-моралитэ

Этот Фауст посильней, чем
штука Гете.

(Фауст)

В действе действуют (в порядке появления на сцене)

ОПАРИН — академик (биохимик).

БОГ — седобород, похож на Опарина, но не столь солиден, а тем более — умен.

ЖИЗНЬ — она же РАК, она же ЛЕМУР, она же ГОМУНКУЛ, она же РОБОТ (он же — ФРАНКЕНШТЕРН). Все они — бесовские обличья САТАНЫ.

ДУДОЧКА — ассистент Опарина.

СУККУБ — ассистент Опарина.

ИНКУБ — ассистент Опарина.

ЕВСЕЕВ — первый аспирант Опарина.

ЕЛИСЕЕВ — второй аспирант Опарина.

ЕСЕЕВ — умный аспирант Опарина.

САТАНА — см. выше.

Действо вершится в лаборатории доктора Фауста, в ночь на сотворение мира от рождества Христова — год 2000-й.

ОПАРИН (*возле шкафа и пробирок, колб и проч.*):

Сначала воды мы пропарим
с парами аммиака в паре,
а дабы не был пар коварен,
мы вентиляцию поправим:

(поправляет вентиль шкафа)

И, выпарив излишки пара,
в шкафу зажжем шикарно фары —
пусть Свет с Водой — Жизнь заварят!

(озабоченно)

Не допустить бы лишь аварий —
я в атмосфере не уверен.
А, впрочем, это мы проверим...

(Усердно и вдумчиво принюхивается; после паузы — с глубоким удовлетворением):

Чудесно! Кислородом веет!
 А кислород — белку хозяин.
 ...Ну, Жизнь, рождайся поживее —
 эксперимент я учиняю!

(включает установку, отдувается, вытирая пот со лба)

Фффу!!.. до чего же я запарен...

(Появляется БОГ, досель присутствовавший незримо.)

БОГ: Послушай, что задумал, парень?
 Ты для чего намерен баню
 в научном затопить шкафу?

ОПАРИН (*гордо*): Не заполняют зря графу!

БОГ (*обиженно*): Подумаешь, — великий барин...

ОПАРИН (*с алломбом*): Моя фамилия — Опарин!

БОГ (*участливо*): Татарин?

ОПАРИН (*подчеркивая формант*): па-рин!

БОГ (*миролюбиво*):

Миром, парень!

Но почему ты так запарен,

Покрылся потом, точно мерин?

ОПАРИН: Я объясняться не намерен.

БОГ: И тем не менее уверен,

что Жизнь — бульончик в клубах пара?

ОПАРИН (*латетически*):

Моих мозгов взошла опара,

в ней мысль упорная стоит —

мой опыт в шкафе — устоит!

БОГ (*сокрушенно*): Бандит!

ОПАРИН (*горделиво*): Пандит!

БОГ (*сетуя*):

Зачем, зачем

природу трогаешь мечем?

Снискав большой ученый чин,

ты ищешь следствий и причин.

Ужель спокойство — нипочем?

Не может меч служить ключом.

Ты к небу правь свой утлый челн.

ОПАРИН (*веско*): Ты стар. А я учен, — учен!

БОГ (*в досаде*): Вот черт!

ОПАРИН (*резко*):

Совсем нет, черт!

В моем шкафу процесс течет.

Кооцерватный аммиак,

залитый в надлежащий бак,

преобразуется в белок.

Белок соединится в блок

белковых кубиков...

БОГ (*в сторону, в сердцах*): Дур-р-рак!

ОПАРИН (*пророчески*):

В начале зародится злак,
потом бацилла, вирус-рак,
освоит сушу мрачный РАК,
ЛЕМУР к уму поднимет зрак,
и человек, в итоге драк,
планеты покорит бардак.

БОГ (*вслух, но также в сердцах*): Бардак!

ОПАРИН: Совсем не так — итог!
В шкафу ты слышишь робкий стук?
Вселенной правильный сундук
Существовал всегда, везде —
рождая Светом Жизнь в Воде!

(Опарин энергично распаковывает шкаф, оттуда, в виде липкой, зеленовато-желтой лужицы весьма неприятного цвета и запаха, вытекает ЖИЗНЬ.)

ЖИЗНЬ (*шелестя, вытекая*): Опарин прав! Бесспорно прав!

БОГ (*в ужасе*):

О Боже! Нет на вас управ!
Господь, по-вашему, не прав?

ЖИЗНЬ (*верноподданно подтекая к ногам творца-Опарина*):
Я лишена гражданских прав...

ОПАРИН (*отечески, — Жизни*):

Созрей, развейся, после — правы!

(*Богу, фамильярно*)

Ты думаешь, что это — шкаф?
Да это же Вселенной штоф!
Здесь Жизнь сложилась... Но пора
продолжить опыты в парах.

(*Заботливо собирает Жизнь в бутылку емкостью 3 литра, ставит бутылку в шкаф, закрывает шкаф.*)

БОГ: Опарин! Божий мир подарен
Всевышним — и ему будь верен.

(*в сторону*) Болтают, будто я коварен...

(*строго*) Опарин! Я не злонамерен!

ОПАРИН: Мудра природа. Ты — бездарен!

БОГ (*с горечью*): Да ты неисправим, Опарин!

(*Произносит предостерегающую речь номер 1*):

Куда идешь, высокопарен,
незваней, чем в гостях татарин?
В своей алхимии уверен?
Опарин! Путь твой не проверен.
Возможно, он и правоверен
в глазах химической науки.
Но в гитиках наук — паук,
и на поверку грязны руки
у самых чистеньких наук.

ОПАРИН (*отвергая инсинуации Бога, убежденно*):

Я чист как лист и бел как мел!
Проникнуть в таинства сумел
той жизни, что всегда едина —
будь то архангел иль скотина —
везде белков материя...

БОГ (*искренне сокрушаясь*): О, вотум недоверия!

ОПАРИН (*столь же искренне жалея Бога*):

Слепец! С клопами и попами...

БОГ (*обидчиво*): Не богохульствуйте, Опарин!

(БОГ явно нервничает, ходит по сцене крупными шагами, которым мешает старость; Опарин, в противовес ему, монументален и непоколебим.)

БОГ (*нервно*): Силен же враг!

ОПАРИН (*отмахиваясь*): Довольно врак.

Эй, вылезай, созревший Рак!

(Опарин открывает шкаф, не обращая внимания на Бога. Из шкафа вылезает, пятясь, РАК. Речь его — рачьи стихи, палиндромы, каждая строка которых читается евреями и арабами справа налево, а всеми остальными — наоборот.)

РАК (*мрачно бубня*):

Как
небу бубен
Отто,
киник.

БОГ (*Опарину, с укором*): Да он безумен!

ОПАРИН (*иронично*):

Будто б! — Лирик!
Стихом он рачьим говорит.

БОГ (*лирическая, но предостерегающая речь номер 2*):

На небе ночь. Звезда горит.
И светит ладаном и мирром
над всем пригожим Божьим миром.
Лишь ты, алхимик, ты, Опарин
корпишь над богомерзкой тварью.

РАК (*с висельным юмором*):

О вер чрево
«ого!» богово.
Но он —
тут как тут,
шиш.
Вере в
кабак,
а не
лег на храм архангел!

БОГ (*третье предупреждение, вопрошающее*):

Опарин! Что задумал дале?
Смотри — благоухают дали,

но от химических ордалий
и звезды стали цвета стали,
в твоём шкафу созрел метан,
не аммиак... Смотри, металл
терпеть устанет, станет поздно...
Опарин! Посмотри на звезды!

ОПАРИН (*веско, академически, смотря на шкаф, а не на Бога или звезды*):

Я не алхимик — биохимик!
Не просто химик — академик.
Не Бог хозяин моей теме —
я строго следую системе.
Системе чисел и пробирок,
системе четких вычислений,
системе правильных дубинок
в чреде несчетных поколений.
И — не топорен, а упорен,
мой каждый шаг и жест отмерен:
в сплошной победе в нашем споре
без колебаний я уверен!

РАК (*висельно веселясь*):

О, логово голо!
Не бубен —
потоп,
нот стон:
«СОС! СОС! СОС!»

(*Пауза; Опарин вслушивается в речения Рака;
Рак продолжает глумление над Богом*):

Вере — тетерев!
Кум мук.
Туго могут,
еще
как
туго могут
они... Но
себе бес,
вере тетерев,
себе бес,
кум мук.

БОГ (*первое серьезное предупреждение свыше*):

Закрыв забрало эволюций,
в гробницу лег последний рыцарь.
На блюде, вынутое сердце!
Ты воцарился, разум, сер-царь.
Бертольды Шварцы — всюду спецы.
Химичит химик, перец специй
творя алхимику на зависть...
Плоди плоды, познания завязь!

Философ объясняет фаллос,
его оправдывает Фалес
и ФАУ запускает Фауст...
О где же ты, Джордано хворост —
уйми ума тупую хворость,
поползновений в небо ворох...

ОПАРИН (*резко*):

Довольно разговоров хворых!
Уймите митинг! Мне по теме
работа предстоит уму —
согласно логике системы
за Раком следует — Лемур.

(*По-хозяйски прикрикивает на Бога*):

Довольно клерикальных врак!
Эй, полезай обратно, Рак!

РАК (*ворча, пятясь*):

Зова воз:
иди!
Там, тут — мат!
Хитр, тих,
иди, Рак кар, иди
во список «коси псов!» —
и сени неси
ребер мором.
Туго могут... О! Туго могут!

(*Рак, пятясь, скрывается в шкафу. Опарин вновь включает шкаф-установку. Внезапно появляется гнусного вида СУККУБ, хотя по замыслу автора первой должна была появиться ДУДОЧКА. Чувствуя скорую поживу, СУККУБ оживлен, суетлив, но в действие на сцене пока что не вмешивается.*)

БОГ (*обращаясь к человечеству, в тоске и смятении — но одновременно деля 2-е серьезное предупреждение Опарину*):

Лопарь, татарин иль хазарин,
ты весь измотан и затарен,
тебя влечет упырь-Опарин
в свое преступное сафари.
Но, преступив законы Божьи,
поправ — без права! — правду мира,
ты затоскуешь в бездорожье,
избрав Опариных в кумиры.
Они, волхвуха над пробиркой,
и на тебя отыщут бирку,
загонят белый свет в бутылку,
в свою логичную Бутырку,
в свою научную Таганку.
Свою вонючую поганку
хваля, отешут, как рубанком,

презренной гитикой науки
твои мозги, твой дух и руки...

(тоскуя)

...О, человек! О, человече!

ОПАРИН (сухо):

Идет эксперимент, — не вече!
Дискуссиям отпущен вечер,
попридержи-ка свои речи.

(БОГ стыдливо умолкает. Опарин открывает шкаф. Оттуда выскрывает большеголовый, большеглазый, шустрый и ушлый ЛЕМУР.)

ЛЕМУР (*быстро моргая, скороговорочкой, деловито*):

Уму
суму
сулит зима —
клеймо уму
она сама!

ОПАРИН (*веско*):

О, да, Лемур!
Всесильный Разум —
широк, как море аль Амур,
покончит с мистикой не сразу.
Ты мудр, Лемур.
Ты прав, Лемур!

ЛЕМУР (*польщенный, убыстряя моргание и скороговорку*):

«Уйму» — уму,
уму — ему!
Уча, леча —
пора начать...

ОПАРИН:

Да! На тебе ума печать!
Дал суеверия суму
на поругание уму...
увы! Ты все ж — не человек.
В шкафу готовь себе ночлег...
Пусть опыт топает вперед —
теперь, Гомункул, — твой черед!

(БОГ, во время диалога Опарина и Лемура молча ходивший по сцене и отчаянно жестикулировавший, то вздымая руки к небу, то приседая и пытаясь посмотреть в лицо Лемура снизу, то изображая душевную муку жестами и мимикой, не выдерживает, услышав слова Опарина о Гомункуле, и делает третье серьезное предупреждение.)

БОГ:

Опарин! Видишь — на суку
твоих волшебств сидит Суккуб.

(указывает на Суккуба, тот весело кивает)

И вид его вполне сугуб.

(Суккуб снова кивает, усугубляя присутствие)

А ты, приникнув к сундуку
 (величественно указывает на шкаф),
 Волхвуеть снова... Сгинь, Инкуб!

(ИНКУБ, появившийся было во время порицания Опарина, опять-таки, почему-то раньше ДУДОЧКИ, исчезает; но время от времени он то и дело высовывает свою тусную физию в дверь лаборатории, где творится ГОМУНКУЛ.)

ОПАРИН (не слушая Бога):

Работай, перегонный куб!
 Твори, как непреклонный дуб,
 дитя Познанья и Реторты —
 послав ханжей сначала к черту,
 потом подальше, — и роди
 ГОМУНКУЛА, сказав «уйди»
 и лону женскому, и уду
 мужскому...

БОГ (в ужасе): О, любви Иуда!

Ты думаешь, что твой Петруччи,
 зародышей ученых дуче,
 постиг Любви святую суть?
 И лоно женское — сосуд
 греха и вместе с тем святыня —
 отменено пробиркой ныне?
 Ты думаешь, что уд мужской
 теперь подернется тоской,
 узнав, что есть его модель?
 Дана зачатию постель,
 дана Адаму его Ева,
 для брака созревает дева,
 для человечества — жена...
 ОНА детей рождать должна,
 а не в шкафу сперматозоид...

ОПАРИН (пренебрежительно, в сторону):

Не думал, что Господь — шизоид...
 Эротоман и сексманьяк...
 Совокупления коньяк
 пьянит, но дорог и бесцелен,
 когда деторождение — целью.
 К чему фонтан энерготрат
 (да и порой — в пандан! — разврат),
 когда в ученой колбе тихой
 технически дается выход
 инстинкту продолженья рода,
 который создала природа!

(Опарин, открыв шкаф, берет колбу и капает в нее то, что положено, в колбе начинается реакция.)

БОГ (грозно): Опарин! Я предупредил!

ОПАРИН: Еще вся сказка впереди!
Родись, дитя! Твоя натура
мудрее умного Лемура, —
продукт научного труда,
пусть позовет тебя Дуда!

(Опарин достает из кармана раскрашенную гудочку, раздвигает ее, она становится все глиняней и глиняней, пока не превращается в глиняную антропоморфную ДУДОЧКУ. Она начинает петь, приплясывая, скормороша, подмигивая, наглая, похожая на Алексашку Меншикова согласно романа А. Н. Толстого «Петр I». Кривлянье происходит перед ликом Божьим. Опарин, сохраняя академическую серьезность, дирижирует.)

ДУДОЧКА: Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду!
Я, дуда, дудю-дудю...
Я, дуда, всегда дудю,
я, дуда, дудю удадом:
ядом-людом, взглядом-ядом,
дам я людям яд услады!

(Опарин, завершив дирижирование, обращается к ГОМУНКУЛУ, который, распахнув шкаф тоненькой ручкой, появляется из колбы на свет Божий.)

ОПАРИН (отечески): Ну, как, сынок?
ГОМУНКУЛ: Я — сосунок.
Но скоро стану носорог.
Тогда взойду на пьедестал —
коль я расти не перестал.
Креста не зная и Христа,
зажгу мозгов моих кристалл!

(ГОМУНКУЛ собирается вырастать, но Опарин предупредительным жестом останавливает рост продукта рук, липетки, колбы и шкафа.)

ОПАРИН: Хорош! Умен... Но погоди —
мой главный козырь впереди.
Пускай алхимик в бороде
тебя считает за предел.
Он ненаучен. Я ж, научен
законам правильных наук,
заполучу гораздо лучший
продукт ума — не только рук!

(Опарин сажает Гомункула в колбу, втискивает его в узкое горлышко колбы, не слушая попискиваний, подавляя слабое сопротивление ручек и ножек. Затем сдвигает гримасничающую Дудочку, прячет в карман белого халата.)

ОПАРИН (вытирает пот со лба, отдуваясь):
Ффуу... Да, устал я, тамада
пирушки Жизни... Борода
седа. Но опыт завершу я —

твори в шкафу моем, бушуя,
кооцерватная вода,
венец творенья. Вот тогда
заулыбаюсь я, отпарен...

БОГ (в суеверном ужасе):

Опарин! Что творишь, Опарин!

ОПАРИН (как и прежде, игнорируя очередное серьезное предупреждение Бога и не ведая, что оно — последнее, включает установку-шкаф на полную мощность, мужественно произнося свой собственный смертный приговор):

Смелее в бой! Последний опыт —
гряди, родись, покорный Робот!
Одев в негнущуюся тогу,
тебе мы вручим руки-крюки,
на нос навеса гибкий хобот
во имя истинной науки!

БОГ (из милости своей снисходя еще раз, милоя смертника):

Опарин! Ты упорный парень,
но оглянись — твой путь опасен.
Он, с Сатаной в паре спарен,
отправит в пропасть его пасти.

ОПАРИН (отмахиваясь, небрежно, но веско):

Ох, эти козни клерикалов!
Как надоели их уколы,
коль диалектики лекалом
разоблачить могу легко их.

(вдохновенно, знающе)

Спираль — движение природы!
Спирально движутся народы.

(делает спиральные движения руками)

Спирально носят огороды
свои сезонные наряды.

(делая поясняющие жесты руками)

Нужны снаряды — и наряды,
нежны наяды — но и яды,
должны успехи и парады,
дружны отравы — и отрады,
важны леса и зоосады...

(Лицом изображается «нужны», «нежны», «должны», «гружны», «важны», руками — то, что должно, нежно, важно, гружно, нужно... Но эту умную, нескончаемую и размеренно-уверенную диалектическую речь прерывает бестактная выходка Бога.)

БОГ: О, Люциферова засада!

ОПАРИН (по-прежнему не внимая словам Бога):

И сетуй ты или не сетуй —
взамен молитвенных закатов
грядут научные рассветы!

БОГ (*срываясь, потрясая худым пальцем*):

Опарин! С Сатанюю в паре
твое движение наук.
Но, погоди, — взойдет опара,
а блин окажется каюк.
Вы, вызвав джинна из бутылки,
вновь не заманите на дно —
он вас поздравит по затылку,
оставив мокрое пятно!

(*Опарин, не слушая увещеваний Бога, открывает шкаф. Стенки шкафа прогибаются, ломаются, падают, рыча появляется из недр РОБОТ, он же ФРАНКЕНШТЕРН.*)

РОБОТ (*нечленораздельно*):

Кгх-ыы-кгхыххх
Аггга-рр-ггхх — гггыкх!

(*Обликом Робот похож на Опарина, но металлически-пароуен и лицом ужасен; хватает своего творца за горло и душит Опарина, от удовольствия меняясь в цвете, как осьминог или хамелеон.*)

РОБОТ: Арррык!
Кхыггг-гггыкк!

БОГ (*кратко склонив голову набок, наблюдает за удушением Опарина, ибо сделал все, что мог; резонерски*):

Ты был предупрежден, Опарин, —
вкуси итог безбожных варев,
поправши с Сатанюю в паре
святой закон рождения тварей!

(*СУККУБ потирает ручки, хихикает, издает радостный писк. ИНКУБ, не решаясь войти в лабораторию, просовывается в дверь, алоцирует.*)

РОБОТ (*протягивая руки к Богу*):

А я-я-я-я-я-йя
Ияй-йя-йяя...

БОГ (*отстраняясь, резко*):

Довольно!
Вольно вам, отпавшим,
творить грехи, греша — творить...
Ваш труд смешон, когда б не страшен...
Лукавый — сгинь! уйди! Изыдь!

(*БОГ осеняет крестным знаменем все вокруг. И тогда Робот сбрасывает маску, напомиравшую шаржированное лицо Опарина, — под маскою оказывается САТАНА. Враг рода человеческого, воя, прихрамывая, издавая запах серы, едкий и научный, покидает лабораторию посрамленным, но жажущим реванша.*)

БОГ (*зрителям*):

Стыдись, безбожный человек!
Сколь ты Лукавым искалечен!

Тебе дана свободы воля —
а ты гноишь ее в неволе.
Тебе дана святая доля —
а ты доишь Шкафов удои.
Тебе зачем дарован разум? —
Постичь убожество его!
А ты ж — научною проказой
смердишь природы естество!

(БОГ замечает, что Суккуб приник к телу Опарина, все еще не потерявшего своей академичности)

И ты изыдь, Суккуб презренный!
...Почуял падали янтарь...
(делает широкий жест рукой окрест)
Пускай в моей большой Вселенной
вернется все, как было встарь!

(Темнота. Тихо. Затем зажигается свет. Пустая лаборатория. Шкаф — на месте. БОГА — нет. Входят три аспиранта.)

ЕЛИСЕЕВ: Шеф скоро будет?

ЕВСЕЕВ: Где-то бродит.

ЕССЕЕВ *(едко)*: На заседание бодро бредит.

ЕЛИСЕЕВ *(озабоченно)*:

Однако срок уже подходит —
Смотри — над головою бреет
полночный час...

ЕВСЕЕВ *(у шкафа)*: Включать сейчас?

ЕССЕЕВ *(геловито-умно)*:

Ключом тотчас
сейчас включай-с!

(Слышен бой часов, отбивающих полночь.)

ЕЛИСЕЕВ *(считая на пальцах)*:

Удар! Один-два-три...

ЕВСЕЕВ *(подхватывая, также на пальцах)*: Четыре!

ЕССЕЕВ *(умно подытоживая)*:

Уж полночь скоро в этом мире...

ЕЛИСЕЕВ *(продолжая считать на пальцах)*:

Пять-шесть-семь-восемь...

ЕВСЕЕВ *(подхватывая, ибо пальцев еще хватает)*:

Девять! Десять!

ЕССЕЕВ *(оставаясь умным)*:

На небе весел светлый месяц...

ЕЛИСЕЕВ *(пытается считать, но пальцев не хватает, молчит смущенно, пауза)*.

ЕВСЕЕВ *(гогодавшись разуться, загибает палец на ноге)*:

Одиннадцать!

ЕССЕЕВ *(все так же умно)*: Последний срок...

(Пауза)

ЕЛИСЕЕВ (молчит).

ЕВСЕЕВ (разуевает вторую ногу, загибает большой палец — и вместе с ним все остальные — на второй ноге):

Двенадцать!

ЕССЕЕВ (очень умно):

Открывай —

звонок!

(Внутри шкафа раздается звон будильника. Елисеев открывает дверь шкафа, отпуга, прихрамывая, появляется ОПАРИН.)

ОПАРИН (вытирая пот со лба):

Сегодня я разволновался.

Сегодня опыт не удался.

Посмотрим, что сулит нам завтра...

БОГ (глас Всевышнего — раздается сверху):

Ох, Сатана!

Все тот же автор!

Я снова заклинаю — сгинь!

(Разряд молнии вслед за гласом Божьим. Опарин сбрасывает маску и оказывается САТАНОЙ, который, вновь посрамленный, прихрамывая, изгавая запах серы, покидает лабораторию, однако, как и всегда, не теря надежды на реванш.)

ЕЛИСЕЕВ (в страхе крестясь): Аминь!

ЕВСЕЕВ (в страхе крестясь, разутый): Аминь!

ЕССЕЕВ (умно крестясь): Аминь!

(Произнося «аминь», аспиранты, один за другим, исчезают. Пауза. Затем, в тишине, невидимые, аспиранты произносят вместе с Богом, который, конечно, также невидим):

— АМИНЬ!

(Вновь пауза. На сцене остается только шкаф. Отпуга, как ни в чем не бывало, слегка прихрамывая, изгавая запах серы, выходит ОПАРИН. Уверенный в себе, в своей научной правоте, неустребимости и в окончательной победе, приступает к эксперименту.)

ОПАРИН:

Итак, сомнения отпали!

Все дело было в атмосфере.

Нет никакой небесной сферы —
теперь я твердо в том уверен...

И если буду впредь упорен,
то зародится Жизнь в отваре,
который мы сейчас заварим —
я буду твердо схеме верен!

(Опарин, прихрамывая, подходит к шкафу, отвечающему ему рогатым запахом серы)

Сначала воду мы попарим
с парами аммиака в паре,
А дабы не был пар коварен,
мы вентиляцию поправим.

(поправляет вентиль шкафа)

И, выпарив излишки пара,
в шкафу зажжем шикарно фары —
пусть Свет с Водой Жизнь заварят!

(При желании действо можно продолжать и далее, возвратясь к началу мистерии, проследовать до самого конца, затем начать сначала и т. д. — зациклясь, пока не надоест.

При отсутствии желания — занавес.)

З а н а в е с ?

Айн Рэнд

ГИМН

Айн Рэнд — литературный псевдоним Алисы Розенбаум (1905, Петербург — 1982, Нью-Йорк). Она родилась в семье аптекаря, училась в частной гимназии Стоюниной, в 1921 г. поступила в Петроградский университет на исторический факультет, который закончила в 1925 г., некоторое время работала экскурсоводом в Петропавловской крепости, написала статью об актрисе Поле Негри и брошюру о Голливуде. В начале 1926 г. эмигрировала в США, воспользовавшись приглашением знакомых из Чикаго. В США она вскоре вышла замуж за актера Фрэнка О'Коннора. Ее жизненный путь прошел попеременно через Голливуд и Нью-Йорк. Алиса Розенбаум зарабатывала на жизнь работой в сценарном отделе и в гардеробной. Ее творческий путь отмечен пьесой «В ночь на 16 января» (1933), которая некоторое время шла на Бродвее, далее последовал роман «Мы — живые» (1936). Небольшая повесть «Гимн» написана в 1937 г., но американских издателей не заинтересовала и была издана в 1838 г. в Англии. В отличие от других произведений эта повесть создавалась, как говорится, на одном дыхании. В США она вышла в свет вскоре после Второй мировой войны небольшим тиражом в издательстве с характерным названием «Памфлетчики». Некоторую известность Айн Рэнд принес роман «Источник» (1943), а следующий философско-фантастический роман «Атлант расправил плечи» (1957) сделал ее знаменитой. В дальнейшем вышло еще восемь книг — очерки на философские, социально-политические и экономические темы.

В постсоветской России изданы романы «Мы — живые» и «Источник», а также сборник публицистических статей и философских фрагментов из художественных произведений, в том числе и короткий заключительный отрывок из «Гимна», но целиком это произведение Айн Рэнд еще не публиковалось.

Повесть «Гимн» — первый опыт Айн Рэнд в жанре социально-политической фантазии, или антиутопии. По-видимому, сама писательница считала этот опыт достаточно удачным и позднее возвратилась к нему, создав тысячестраничный роман «Атлант», после выхода в свет которого в США стали популярными и ее ранние произведения.

Философская концепция Айн Рэнд, которую она позднее назвала объективизмом, изложена ею самой в послесловии к «Атланту» и часто цитируется: «Моя философия — это представление человека как существа героического, для которого моральная цель жизни — собственное счастье, самая благородная деятельность — творчество, а единственный абсолют — разум». Все эти составляющие: стремление к собственному счастью, творчество, разум, героическое начало человеческой природы — проявляются и в «Гимне», но в условиях тоталитарного общества, где люди лишены личных имен и права выбора деятельности, проявляются не как естественные качества в нормальных обстоятельствах, а в преодолении того, что правильнее имено-

вать панурговым стадом, чем коллективизмом. Поэтому и обязательное для всех номеров «мы» вместо «я» уже не имеет (почти не имеет) значения, характерного для русских поэтов начала двадцатых годов, символа общей беды и перерождения. Например, у З. Гиппиус: «Мы стали псами подзаборными», у Ахматовой: «Думали: нищие мы, нету у нас ничего», у раннего Тихонова: «Мы разучились нищим подавать». Осталось только жесткое, диктаторское, повелевающее «мы» революционной идеологии. Примерно такое, как «Мы» Е. Замятина.

Повесть «Гимн» писалась, когда роман Замятина уже вышел из печати, но Айн Рэнд могла ознакомиться с его содержанием и в первой половине двадцатых. Во всяком случае она, независимо от Замятина, была хорошо знакома с советской действительностью тех лет. Но выводы из этой действительности оба литератора сделали прямо противоположные. Замятин все же поверил в силу и способность коммунистической утопии превратить Россию в нечто технологически совершенное (поэтому индивидуалистический бунт его героя терпит поражение). Айн Рэнд посчитала, что Великое Воскресение приведет к великому и тотальному технологическому вырождению, к такой деградации, что забудется даже электричество (поэтому ее герой, овладевший тайной электричества, может не опасаться тоталитарного Совета). Чтобы утвердиться в возможности такого исхода, Алисе Розенбаум было совсем не обязательно читать «Россию во мгле» Герберта Уэллса — разруху «военного коммунизма» она пережила сама. (Собственно, российский коммунизм всегда был в той или иной степени военным.) А поскольку идеология коммунизма выводит себя, в смысле историко-социального адресата, из первобытного, варварски-дикого общества, Айн Рэнд оставалось лишь вернуть известный ей строй к его изначальным корням.

Современный российский кризис подтверждает частичную правоту Айн Рэнд. Командно-административная система способна добиться однобокого и временного технологического рывка, за которым следует элегантно называемый застой, то есть отставание, а значит, и деградация. Российская цивилизация, стало быть, и в начале и в конце XX века находилась и находится на шаг-два от края пропасти, куда время от времени соскальзывает. (В конце 80-х — начале 90-х она под «мудрым» руководством «Совета» чуть было не рухнула туда, и в этой катастрофе могла вообще развалиться на куски.) Если бы Айн Рэнд дождала до нынешнего российского кризиса, то вряд ли бы сильно удивилась результату правления ее идеологических противников. Между тем возможность новой разрухи не миновала и сейчас.

В «Гимне» есть еще один план повествования, который может вызывать живую реакцию читателя. Учреждения и методы показанного в повести управления очень напоминают реальные советские. Стоит вспомнить, например, методы принудительного труда. В сталинский период без разрешения начальства нельзя было сменить место работы, затем последовала «борьба с туеядством», а позднее — андроповская охота за людьми на улицах во время «рабочего дня». И никогда человек не имел возможности сам организовать свою деятельность.

Однако самая глубинная аналогия с российской современностью заключается в процессе отхода от стадно-мычашей психологии страха, пассивности и безволия, от духовного рабства, в осознании своей личной самооценности и права на самореализацию. От серокаменного «мы» к динамичному живому «я». Этот социально-психологический процесс прошел и проходят сотни тысяч, может быть, миллионы наших сограждан.

Другое дело, что оптимально-рациональный баланс между «мы» и «я» установить трудно. В размышлениях героя слово «мы» звучит

«по личному выбору и обдуманно»: ему тоже необходима социальная среда аналогичных ему индивидуумов. Ведь начать новую цивилизацию силами одной семьи невозможно. В современной российской действительности индивидуальное начало зачастую проявляется в дикой форме, ближе к условным рефлексам по Павлову, чем к разуму и творчеству. Но чего можно ожидать после коммунистического «мы», подавляюще-репрессивного и сводящего индивидуальное начало к функции головы стада, винтика, атома социума, еще и монополизирующего сознание.

Айн Рэнд писала «Гимн», когда индивидуальное начало в его рационально-творческом виде было и ценностью, и живой, работающей идеей, а стада «носорогов» только собирались его вытоптать, но угрозу писательница чувствовала и, вспоминая свой советско-коммунистический опыт, задумывалась над тем, как личностное самосознание придется восстанавливать от абсолютного нуля. Сейчас вызов времени для России как раз и заключается в необходимости восстановления индивидуалистически-творческого разумного начала. Социальную связь между одним и другим (одними и другими) «я» установить вполне возможно. В человеческой личности есть линии связи с внешним миром и с другими «я», и они немаловажны. Но сначала следует развить и укрепить само личностное начало, выпрямить его.

Сергей Бернагский

1

Писать такое — грех. Грех — думать слова, которые не делают другие, и записывать их на бумагу, которую не должны видеть другие. Это низко и порочно. Это все равно что разговаривать, чтобы никто не слышал. Мы хорошо знаем, что нет страшнее преступления, чем действовать или думать в одиночестве. Мы нарушили закон, потому что никому нельзя писать, если на то нет повеления Совета по Трудю. Да простят нам это!

Но это не единственный наш грех. Мы совершили даже более страшное преступление, преступление, которому нет названия. Какое наказание ожидает нас, если все откроется, — не знаем. О таком преступлении люди еще не слышали, и ни в одном законе не предусмотрено наказание за него.

Здесь темно. Пламя свечи не колеблется. В туннеле все замерло, и только наша рука перемещается по бумаге. Здесь, под землей, мы одни. Одни — какое страшное слово. В законе сказано, что никто не должен оставаться один, никогда. Это ужасное преступление — причина всех зол. Но это не первый закон, нарушенный нами. Здесь нет ничего, кроме нашего тела. Странно видеть только две ноги, вытянутые по земле, а на стене перед собой только одну тень. Вода тихо, тонкими струйками стекает по щелям в стене. Темная и блестящая, как кровь. На полу — свеча, украденная из кладовой Дома Подметальщиков. Если это обнаружится, нас приговорят к десяти годам заключения в Исправительном Дворце. Но это неважно. Важно, что свет бесценен и нельзя тратить его на записи, потому что он нужен нам для

работы, которая и есть наше преступление. Ничто вокруг не имеет значения, кроме нашей работы, тайны, порока, нашей драгоценной работы. И все же мы должны писать — да помиует нас Совет! — мы хотим хоть раз поговорить только с собой и ни с кем больше.

Наше имя Равенство 7-2521. Так написано на нашем железном браслете, таком, какой все люди носят на левом запястье. Нам двадцать один год. Наш рост шесть футов. Это плохо, не так уж много людей шести футов ростом. Учителя и Начальники всегда выделяли нас и, хмурясь, говорили: «Равенство 7-2521, в твоих костях живет зло, ибо твое тело переросло тела твоих братьев». Но мы не в силах изменить ни нашего тела, ни наших костей.

Мы родились проклятыми. Это всегда порождало в нас запрещенные мысли и недозволенные желания. Мы знаем, что порочны, но в нас нет ни сил, ни воли противостоять этому.

Мы сознаем свою порочность и не сопротивляемся ей — и это источник нашего изумления и тайного страха.

Мы стараемся быть похожими на братьев — все люди должны быть похожими. На мраморных воротах Дворца Мирового Совета высечены слова, которые мы повторяем про себя всякий раз, когда нас одолевает искушение:

«Мы во всем, и все в нас. Нет людей, есть только великое Мы. Единственное, неделимое, вечное».

Мы повторяем эти слова снова и снова, но это не помогает. Эти слова высечены давно. Буквы и желтые прожилки в мраморе покрылись зеленой плесенью, возраст которой уже никто не способен определить. Эти слова — правда, потому что написаны они на Дворце Мира и Мирового Совета — символе нашей веры.

Так было всегда, со времен Великого Воскресения и даже до него. Так давно, что никто не может этого помнить. И мы никогда не должны говорить о том, что было до него, под страхом заключения в Исправительный Дворец. Только старики в Доме Бесполезности шепчутся об этом по вечерам.

Они шепчутся о сотнях странных вещей: о башнях, поднимавшихся к небу, о вагонах, двигавшихся без лошадей, и свечах, горевших без пламени. Но те времена были порочны, и когда люди поняли Великую Истину, правду о том, что все люди — одно целое и нет желания, кроме общего желания всех людей, тем временам пришел конец.

Все люди достойны и мудры. Только мы, Равенство 7-2521, родились проклятыми и не похожими на братьев.

Так было всегда, и это шаг за шагом вело нас к нашему последнему тягчайшему преступлению, преступлению из преступлений, спрятанному здесь, под землей.

Мы помним Дом Детей, где вместе с другими детьми Города, родившимися в один год с нами, жили до пяти лет. В спальнях залах были белые чистые стены. Там ничего не было, кроме сотни кроватей.

Тогда мы были похожи на братьев во всем, кроме того, что дрались с ними. Мало преступлений хуже, чем драка с братьями,

независимо от возраста и причины. Совет Дома объявил нам об этом, и из всех детей нашего возраста нас чаще всего запирали в подвал.

Когда нам исполнилось пять лет, нас перевели в Дом Учеников. Там было десять корпусов на десять лет обучения.

Люди должны учиться до пятнадцати лет. Затем идти работать.

Мы вставали с боем большого колокола на башне и ложились спать, когда он бил во второй раз. Перед сном нас собирали в большом зале, где, подняв правую руку, мы хором повторяли за учителями: «Мы — ничто. Человечество — все. По милости наших братьев даны нам наши жизни. Мы существуем благодаря нашим братьям и только для них. Ибо они и есть Государство. Аминь».

Затем мы ложились. Спальни были белые, чистые, там не было ничего, кроме сотни кроватей.

Мы, Равенство 7-2521, не были счастливы, живя в Доме Учеников. Но не потому, что нам трудно давалось обучение, а как раз потому, что оно было слишком легким. Большой грех — родиться с головой, которая слишком быстро соображает. «Плохо быть не такими, как братья, но быть выше их еще хуже» — так, сердито глядя на нас, поясняли Учителя. Итак, мы боролись против своего проклятия. Пытались забывать уроки, но всегда помнили их, пробовали не понимать того, чему учили Учителя, но всегда понимали еще до того, как они открывали рот.

Мы пытались подражать Союзу 5-3992. Они были бледный мальчик, у которых не хватало половины мозга. Мы пытались говорить и делать все так, как они, чтобы быть похожими на них, но каким-то образом Учителя всегда выводили нас на чистую воду. Нас пороли чаще других.

Учителя были справедливыми, ведь они назначались Советом, а Совет — голос справедливости, голос народа. И если иногда мы и жалели об этом в самом темном уголке сердца, о том, что произошло в день нашего пятнадцатилетия, мы знаем, что это случилось только по нашей вине. Мы не вняли словам Учителей: «Не смейте задумываться о том, какую работу хотели бы выполнять, когда выйдете из Дома Учеников. Вы будете работать там, куда вас направит Совет по Трудю. Совет по Трудю, в своей великой мудрости, знает, где вы нужны вашим братьям, лучше, чем можете это знать вы, имея всего лишь свой недостойный маленький умишко. А если вы не нужны братьям, то вам нет смысла обременять землю своим телом». Тем самым мы нарушили закон.

С детства нас учили этому, но проклятье поколебало нашу волю. Мы виновны в великом Преступлении Предпочтения. Мы предпочитали одну работу и одни уроки другим. Не слушая историю Советов, избранных со дня Великого Воскресения, мы обожали Науку о вещах. Мы хотели знать, знать обо всем, что составляло мир вокруг нас. Мы задавали столько вопросов, что учителя запретили нам это делать.

Мы думали, что в небе, под водой, в растущих растениях заключены тайны. Но Совет Ученых сказал, что никаких тайн не

существует, а Совет Ученых знает все. Многие мы узнали от Учителей. Нас научили, что земля плоская и что солнце вращается вокруг нее, что это и является причиной смены дня и ночи. Мы учили названия ветров, которые дуют над океанами, надувая паруса наших великих кораблей. И узнали, как делать кровопускание, чтобы вылечить от любой болезни.

Мы любили Науку о вещах. И, просыпаясь среди ночи, когда вокруг не было братьев и только очертания их тел виднелись в темноте и слышался их храп, мы закрывали глаза, сжимали губы, задерживали дыхание, чтобы дрожь не выдавала нашим братьям нашу самую сокровенную мысль. Мы мечтали о том, что, когда придет время, нас пошлют в Дом Ученых. Все великие изобретения совершаются там. Например, не более ста лет назад там открыли, как делать свечи из воска и веревки, как делать стекло, которое вставляют в окна, чтобы защитить нас от дождя. Чтобы делать открытия, Ученые изучают землю, реки, пески, ветра, горы. И если бы только мы попали в Дом Ученых, то все это стало бы понятно и нам. Мы могли бы задавать столько вопросов, сколько захотели, потому что там не запрещается задавать вопросы.

Вопросы не давали нам покоя. Мы теряемся в догадках, пытаюсь понять, почему проклятие заставляет нас искать неизвестно что снова и снова. Но мы не можем противиться этому. Проклятие нашептывает нам, что на земле есть великие тайны и что мы сможем открыть их, если постараемся, и мы должны это сделать.

Мы спрашиваем: почему? Но нет нам ответа. Мы должны знать, что мы можем.

Итак, мы мечтали о Доме Ученых. От одной мысли об этом по ночам наши руки начинали дрожать, и мы до боли кусали их, чтобы уменьшить ту, другую боль, которая была невыносима. Это так порочно. Наша вина была так велика и мы так остро ощущали ее, что утром не осмеливались взглянуть братьям в глаза. Человек не должен ничего хотеть для себя. И наше порочное желание было наказано, когда Совет по Трудю выдавал пожизненные Мандаты. В них пятнадцатилетним определяли место работы на всю оставшуюся жизнь.

Совет по Трудю собирался в первый день весны. Он заседал в большом зале. Учителя и мы, те, кому исполнилось пятнадцать, тоже вошли туда. Совет восседал на высоком помосте. Ученикам они говорили не более двадцати слов. Первое было именем ученика, и, когда тот подходил, Совет произносил: «Плотник», или «Доктор», или «Повар», или «Начальник». И каждый ученик, поднимая правую руку, отвечал: «Воля братьев будет исполнена». Если Совет выкрикивал: «Плотник» или «Повар», то ученик шел работать без дальнейшего обучения. Но назначенные Начальниками отправлялись в самое высокое, трехэтажное здание Города — Дом Начальников. И там в течение долгих лет они обучались для того, чтобы впоследствии стать кандидатами и быть выбранными в Городской, Государственный или Мировой Совет свободным и всеобщим голосованием. Но мы совсем не хотели

быть Начальниками, хотя это и считалось великой честью. Мы хотели быть Учеными. Итак, стоя в большом зале и ожидая своей очереди, мы услышали: «Равенство 7-2521». Мы подошли к возвышению и без дрожи в коленках, твердо взглянули на Совет. В нем было пять человек, трое мужского и двое женского пола. Волосы их были белы, а лица покрыты трещинами, как глина в русле высохшей реки. Они выглядели древнее мрамора храма Мирового Совета. Неподвижно сидели они перед нами. Ни одно дуновение ветерка не тревожило складок их белых тог. Но мы знали, что они живы, — палец руки старейшего поднялся, указывая на нас, и снова опустился. Это был единственный признак жизни. Даже губы старейшего не дрогнули, когда они произнесли: «Подметальщик».

Мышцы нашей шеи напряглись, когда мы поднимали голову, чтобы посмотреть на членов Совета, и мы были счастливы. Мы осознавали свою вину, но вот нам предоставлена возможность искупить ее. Получив пожизненный Мандат, мы станем работать на благо братьев с великой радостью и охотой, смоём наш грех против них, грех, о котором они и не подозревали. И там мы были счастливы и гордились победой над собой. Подняв правую руку, мы произнесли: «Воля братьев будет исполнена». В тот день наш голос был самым твердым и звонким в зале. Мы взглянули в глаза Совета, но они были холодны, как голубые стеклянные пуговицы. Итак, нас отправили в Дом Подметальщиков. Это серое здание на узкой улице. Во дворе висели солнечные часы, по которым Совет Дома определял время суток и то, когда надо звонить в колокол.

Мы поднимаемся со звоном колокола. В выходящих на восток окнах видно зеленое, холодное небо. Тень на часах проходит половину часового интервала, пока мы одеваемся, едим завтрак в обеденном зале, где на пяти длинных столах стоят двадцать глиняных тарелок и двадцать глиняных кружек. Затем мы отправляемся на улицы Города работать, взяв с собой грабли и метлы. Через пять часов, когда солнце стоит высоко, мы возвращаемся в Дом и обедаем. На это также отпускается полчаса. Затем снова работаем. Через пять часов на тротуарах появляются голубые тени.

Мы возвращаемся на ужин, который длится один час. Затем звонят в колокол, и мы стройной колонной идем к одному из Городских Залов, на Общественное собрание. Колонны из других домов следуют за нашей.

Свечи зажжены, и Советы разных домов поднимаются на кафедру. Они говорят о наших обязанностях и братьях. Затем выходят приезжие Начальники. Они произносят речи, приготовленные для них Городским Советом, — Городской Совет представляет всех людей, и все должны знать его мнение. Затем мы поем гимны: Гимн Братства, Гимн Равенства и Гимн Коллективного Духа. Небо становится серо-лиловым. И мы возвращаемся в Дом.

Опять звонит колокол, и стройная колонна движется в Городской Театр, где проходят два часа досуга. На сцене играет

пьеса. Два больших хора из Дома Актеров задают вопросы и тут же отвечают на них. Пьеса о труде и о том, как он важен. Затем мы маршируем обратно в Дом. Небо подобно черному решету с подрагивающими серебряными каплями, готовыми провалиться сквозь него. Мотыльки бьются об уличные фонари.

Мы ложимся спать и спим, пока колокол не зазвонит снова. Спальные залы белые, чистые, и в них нет ничего, кроме сотни кроватей.

Так день за днем мы прожили четыре года, пока две весны назад не преступили закон. Так должны жить все люди до сорока лет. В сорок их силы истощаются. Тогда их посылают в Дом Беспольности, там живут Старики. Они не работают. О них заботится Государство. Летом они сидят на солнце, зимой — у огня, редко говорят, ибо утомлены. Они знают, что скоро умрут. Если случается чудо и они доживают до сорока пяти, их называют Древнейшими, и дети, проходя мимо Дома Беспольности, с интересом разглядывают их.

Такова наша участь. Такова была бы и наша участь, если бы мы не совершили преступление, которое перевернуло всю нашу жизнь. Наше проклятие привело к преступлению. Мы были хорошими Подметальщиками, во всем похожими на братьев. Лишь одно отличало нас от них — наше проклятое желание знать. Мы слишком часто засматривались на звезды по ночам и слишком пристально рассматривали деревья и землю.

Подметая двор Дома Ученых, мы собирали стеклянные бутылочки, кусочки металла, высушенные кости, выброшенные на помойку. Нам очень хотелось оставить все это себе и хорошенько изучить потом, но это было негде спрятать. И мы относили все в Городскую Выгребную Яму. А затем мы сделали открытие.

Это случилось в день предпоследней весны. Мы, Подметальщики, работаем в бригадах по трое. В тот день с нами был Союз 5-3992, тот, с полуизвилиной, и Интернационал 4-8818. Союз 5-3992 сильно болен, и иногда с ними случаются судороги. Тогда у них стекленеют глаза, изо рта идет пена. Интернационал 4-8818 другой. Они высоки и сильные, и глаза их похожи на светлячков — со смешинками. Мы не можем смотреть на Интернационал 4-8818 и не улыбнуться в ответ. Из-за этого их не любили в Доме Учеников. Нельзя беспричинно улыбаться. И еще их не любили потому, что они кусочком угля рисовали на стенах картинку, вызывающие хохот. Но только братьям из Дома Художников разрешено рисовать, поэтому Интернационал 4-8818 послали в Дом Подметальщиков, как и нас. Интернационал 4-8818 и мы были друзьями. Порочно говорить так. Любить кого-то из людей больше, чем других, — великое преступление предпочтения. Мы обязаны любить всех людей, и все должны быть нашими друзьями. Поэтому Интернационал 4-8818 и мы никогда не говорили об этом. Но мы понимаем это, лишь взглянув друг другу в глаза. В эти моменты мы оба осознаем и многое другое, то странное, что не выразишь словами и что пугает нас. Итак, в тот день предпоследней весны, на краю Города, у Городского Те-

атра, с Союзом 5-3992 случился приступ. Мы оставили его лежать в тени театральной палатки и пошли с Интернационалом 4-8818 заканчивать работу. Мы вместе шли к большому оврагу за театром. Там нет ничего, кроме деревьев и сорняков. За оврагом — равнина, а за равниной — Неведомый Лес, думать о котором запрещено.

Мы подбирали листья и мусор, который разбросал ветер, как вдруг среди сорняков увидели железный прут. Он был стар и из-за дождей покрылся ржавчиной. Даже потянув изо всех сил, мы не смогли сдвинуть его. Поэтому мы позвали Интернационал 4-8818 и вместе выскребли землю вокруг прута. Неожиданно земля перед нами обвалилась, и мы увидели старую железную решетку, закрывавшую черное отверстие.

Интернационал 4-8818 отступил на шаг. Мы сами потянули решетку, и она поддалась. Там были кольца, похожие на ступеньки, ведущие в глубину шахты — в темноту. Она была бездонна.

— Спустимся, — сказали мы Интернационалу 4-8818.

— Это запрещено, — отозвались они.

— Совет не знает об этой дыре, а потому не может запретить спускаться в нее, — настаивали мы.

— Если Совет не знает об этой дыре, не может быть закона, разрешающего входить туда. А все, что не разрешено законом, запрещено, — продолжали они.

— Мы все равно пойдем.

Они были испуганы, но, не отходя, смотрели на нас.

Мы зацепились руками и ногами за кольца и стали осторожно спускаться. Внизу была непроглядная тьма. А отверстие с кусочком неба наверху становилось все меньше и меньше, пока наконец не сделалось размером с пуговицу. Но мы все продолжали двигаться. Вдруг ноги коснулись земли. Протерев глаза, мы огляделись. Поначалу ничего не было видно, но вскоре глаза привыкли к темноте, хотя поверить тому, что они увидели, было невозможно. Никто известный нам, ни братьям, ни тем, что жили до нас, не мог построить такого, и все же это было сделано руками человека. Большой туннель. Стены твердые и гладкие. На ощупь, казалось, это был камень, и все же это был не он. На земле две длинные железные колеи, но это не было железом. Они были гладкие и прохладные, как стекло.

Мы поползли вперед, держась руками за колею, пытаюсь понять, куда она ведет. Но впереди была непроходимая ночь, только колея поблескивала в ней, прямая и белая, зовущая за собой. Ползти становилось все труднее и труднее. Темнота окружала нас. И, повернувшись, мы поползли назад.

Сердце беспричинно стучало, и его стук отдавался в кончиках пальцев. Вдруг мы поняли почему. Все это осталось с Незапамятных Времен. Значит, они действительно существовали, все чудеса, о которых шепчутся Старики, действительно совершались. Сотни и тысячи лет назад люди знали секреты, которые мы потеряли. И мы задумались: «Скверное место. Те, кто трогает вещи, оставшиеся с Незапамятных Времен, прокляты». Но когда

мы ползли, рука, держащаяся за железо, вцепилась в него и не отпустила бы, будто кожа, чувствуя жажду, просила металл открыть ей секрет той жидкости, которая билась в его холоде.

Мы выбрались на поверхность. Интернационал 4-8818 взглянул на нас и отпрянул.

— Равенство 7-2521, — сказали они, — вы бледны.

Но мы не могли произнести ни слова и смотрели на них не отрываясь.

Они отступили на шаг, не осмеливаясь дотронуться до нас. Затем улыбнулись. Но улыбка эта не была веселой. Она была полна растерянности и мольбы. Но мы по-прежнему молчали, и тогда они сказали:

— Мы донесем о нашем открытии Совету, и нас обоих наградят.

Затем заговорили мы. Наш голос был тверд и безжалостен. Мы сказали:

— Мы не донесем об этом ни в Совет, ни куда-либо еще.

Они зажали уши руками — никогда не слышали они подобных слов.

— Интернационал 4-8818, — спросили мы, — вы донесете на нас Совету и будете спокойно смотреть, как нас бьют плетью на ваших глазах?

Внезапно расправив плечи, они проговорили:

— Скорее умрем.

— Тогда молчите. Это место наше. Оно принадлежит нам, Равенству 7-2521, и никому больше. И если нам придется отдать его, то мы отдадим и нашу жизнь вместе с ним.

Глаза Интернационала 4-8818 наполнились слезами, не режившимися скатиться. Дрожанием голосом они прошептали, слова застревали у них в горле:

— Воля Совета превыше всего, ведь это воля наших братьев, она свята для нас. Но если вы так хотите, мы подчинимся вам. Лучше мы совершим грех с вами, чем добро со всеми нашими братьями. Да будет Совет милосерден к нам.

Возвращались мы в Дом Подметальщиков в тишине.

С тех пор каждую ночь, когда звезды были высоко и Подметальщики сидели в Городском Театре, мы, Равенство 7-2521, прокрадывались наружу сквозь темноту, пробирались к заветному месту. Сбежать из Театра нетрудно. Когда задувают свечи и актеры выходят на сцену, никто не замечает, как мы крадемся под стульями к выходу. Позже, под прикрытием тьмы, легко незамеченными встать в колонну, строем идущую из Театра, рядом с Интернационалом 4-8818. На улицах темно, и вокруг никого нет, — никому не разрешается бесцельно бродить по Городу. Каждую ночь мы бежим к оврагу, отодвигаем камни, которые набросали на решетку, чтобы спрятать ее от людских глаз. По три часа мы проводим под землей в полном одиночестве, украв свечи из Дома, украв кремь, ножи и бумагу, мы перенесли все туда. У нас есть даже стеклянные пузырьки, порошки и кислоты из Дома Ученых. И вот каждую ночь по три часа мы в туннеле,

мы учимся: распрямляем странные металлы, смешиваем кислоты, разрезаем тела животных, которые находим на Городской Свалке. Выстроив печь из кирпичей, собранных на улице, мы сжигаем в ней сучья, которые находим в овраге. Огонь потрескивает в печи, и голубые тени танцуют на стенах, ни один звук не беспокоит нас. Мы украли манускрипты. Это ужасный проступок. Манускрипты бесценны. Братья из Дома Клерков тратят около года на то, чтобы разборчивым почерком переписать один манускрипт. Манускрипты — большая редкость, и они хранятся в Доме Ученых.

Вот мы сидим под землей и читаем украденные манускрипты. Прошло два года с тех пор, как мы нашли это место. И за эти два года мы узнали больше, чем за десять лет, проведенных в Доме Учеников: познали то, чего нет в манускриптах, раскрыли тайны, о существовании которых Ученые даже не подозревают. Мы поняли, как велико неисследованное и как мало одной жизни, чтобы понять все это. Мы ничего не хотим, лишь в уединении проводить исследования, чувствовать, как день ото дня наше зрение становится острее ястребиного и чище, чем горный хрусталь.

Неисповедимы пути порока. Мы нечестны перед братьями, нарушили волю Совета. Мы единственные из всех, кто ходит в этот час по земле, совершаем работу только потому, что мы этого хотим.

Ужас нашего преступления не постичь умом. А наказания, которое нас ждет, не может вынести человеческое сердце, ибо даже память Древнейших не вспомнит похожего на то, что совершили мы. И все же мы не чувствуем ни стыда, ни сожаления, называя себя предателем и злодеем, не чувствуем тяжести на душе и страха в сердце.

Кажется, что душа наша чиста, как озерная вода, и ее не тревожит ни один взгляд, кроме взгляда солнца. А на сердце — неисповедимы пути порока — спокойно, как никогда.

2

Свобода 5-3000... Свобода 5-3000... Свобода 5-3000...

Нам хочется писать и писать это имя, прокричать его во все горло, но мы осмеливаемся лишь шептать его. Мужчинам запрещено замечать женщин, а женщинам мужчин. Но мы думаем об одной из них, о тех, имя которых Свобода 5-3000, мы не думаем о других.

Женщины, которые работают с землей, живут в Доме Крестьян за Городом. Там, на окраине, есть большая дорога, ведущая на север. И мы, Подметальщики, должны поддерживать чистоту этой дороги до первого столба. Вдоль нее изгородь, а за ней простираются поля, черные, вспаханные, похожие на громадный раскрытый веер. Борозды сходятся к какой-то невидимой руке за горизонтом. Они простираются от нее вперед и широко распахиваются перед нами, как черные пластинки, на которых блещут тонкие зеленые прожилки.

На полях работают женщины, и их белые туники, развевающиеся на ветру, похожи на крылья чаек, бьющихся о черную землю. Тем мы и увидели Свободу 5-3000. Они шли вдоль борозды, и тело их было прямо и тонко, как металлическое лезвие, твердые глаза блестели. В них не было ни страха, ни доброты, ни вины. Их блестящие волосы переливались золотом на солнце. Дикае, они как будто умоляли кого-нибудь их приручить. Они бросали зерна, будто соблаговоллив бросить этот презренный дар, а земля была нищенкой у них под ногами.

Мы стояли, не двигаясь, впервые познав страх, а затем и боль. Мы стояли, не двигаясь, чтобы не расплескать эту боль, более драгоценную, чем удовольствие. Затем мы услышали, как кто-то позвал: «Свобода 5-3000». Они повернулись. Так мы узнали их имя и не отрываясь смотрели, как они уходили, пока туника не пропала в голубом тумане. И на следующий день мы опять пришли на северную дорогу и замороженно смотрели, как Свобода 5-3000 работали в поле. С тех пор мы вновь и вновь каждый день испытывали эту тоску ожидания начала работы на северной дороге. И там мы видели Свободу 5-3000. Мы не знаем, замечали ли они нас, скорее всего — да. Однажды мы подошли близко к изгороди, и вдруг они повернулись к нам, подхваченные каким-то водоворотом. Минуту они неподвижно, подобно камню, стояли, пристально рассматривая нас, глядя прямо в наши глаза. На лице не было ни улыбки, ни приветствия. Но его выражение было напряженно и глаза темны. Они отвернулись так же резко, и быстро пошли прочь.

На следующий день, подойдя к изгороди, мы заметили улыбку. Они улыбались нам. И мы улыбнулись в ответ. Их голова откинулась, руки повисли как плети, будто великая усталость окутала все тело. Они не смотрели больше на нас, взгляд был обращен в небо. Они повернулись, и мы почувствовали, как невидимая рука дотронулась до нас, тепло ее прошло с головы до ног.

Теперь мы приветствовали друг друга глазами, не осмеливаясь говорить, каждый день. Говорить с людьми других профессий, кроме как на Общественных Собраниях, — преступно. И вот однажды, стоя у забора, подняв руку ладонью вниз, мы медленно протянули ее к Свободе 5-3000. Если бы другие заметили это, они бы ничего не поняли. Было похоже на то, что мы заслоняемся от солнца. Но Свобода 5-3000 заметили и поняли все. Они сделали так же. С этого дня мы так приветствовали Свободу 5-3000, и они отвечали так же. И никто не мог заподозрить ничего дурного. Мы не удивляемся этому нашему новому преступлению. Ведь это уже второе преступление. Предпочтение, совершенное нами, ведь ни об одном из братьев мы не думаем, как о Свободе 5-3000. Не знаем, ни почему мы думаем о них, ни почему, когда мы думаем о них, земля становится прекрасной и жизнь не кажется больше только нудной необходимостью, она становится удовольствием.

Мы не думаем о них как о Свободе 5-3000. В мыслях мы дали им другое имя — Золотая. Но давать людям имена, отлича-

ющие их от других, — грех. И все же мы называем их Золотая, потому что они не похожи на остальных. Мы не вспоминаем, что никогда, кроме Времени Спаривания, мужчины не должны думать о женщинах. Время Спаривания — это одна ночь весной, когда всех мужчин старше двадцати и женщин старше восемнадцати посылают в Городской Дворец Спаривания, каждому мужчине Совет Евгеники выделяет женщину. Дети рождаются каждую зиму, но ни родители, ни дети не знают друг друга. Нас дважды посылали во Дворец Спаривания, но это так безобразно и постыдно, что мы не любим думать об этом.

Ко всем нашим преступлениям сегодня прибавилось еще одно — сегодня мы поговорили с Золотой. Когда мы остановились на краю дороги у изгороди, другие женщины были далеко в поле. Золотая стояла на коленях у пересекающего его рва, одна. И когда они подносили воду к губам, капли, падающие с их рук, походили на солнце, на искры огня. Затем они увидели нас, но, все еще не двигаясь, продолжали стоять на коленях и смотреть на нас. Отблески солнца играли на их белой тунике, и блестящая капля упала с руки, застывшей в воздухе. Золотая поднялась и подошла к изгороди, будто прочитав в наших глазах мольбу.

Двое других Подметальщиков нашей бригады были в шагах вниз по дороге. Мы были уверены, что Интернационал 4-8818 не предаст нас, а Союз 5-3992 просто ничего не поймет. И мы впились глазами в Золотую. Тень от ресниц лежала на белых щеках, и солнце играло на губах. И мы прошептали:

— Вы прекрасны, Свобода 5-3000.

Ни одна мышца лица не дрогнула, и они не отвели взгляда. Только глаза расширились и выражение торжества появилось в них. Но это не было торжеством над нами, это было торжество над чем-то другим, о чем мы не догадывались.

— Как ваше имя? — спросили они.

— Равенство 7-2521, — отозвались мы.

— Вы не один из наших братьев, Равенство 7-2521, потому что мы не хотим, чтобы вы были им.

Мы не можем точно сказать, что они имели в виду, ведь этого не выразить словами, но мы понимаем это и без слов и понимали тогда.

— Нет, — согласились мы, — и вы не одна из сестер.

— Если вы увидите нас среди других женщин, вы посмотрите на нас?

— Мы будем смотреть только на вас, Свобода 5-3000, даже если вокруг будут все женщины земли.

— Подметальщиков посылают в разные части Города или они всегда работают в одном и том же месте?

— Всегда в одном, — ответили мы. — И никто не отнимет у нас эту дорогу.

— Ваши глаза, — сказали они, — не похожи на глаза других людей.

И вдруг страшная мысль пришла нам в голову. Мы похолодели.

— Сколько вам лет? — почувствовав холод в желудке, спросили мы.

Словно поняв нашу мысль, они опустили голову и выдавили из себя:

— Семнадцать.

Мы облегченно вздохнули. Словно камень свалился с души — никогда раньше мысль о Дворце Спаривания беспричинно не посещала нас, и мы подумали, что не допустили бы, чтобы Золотую послали во Дворец. Как предотвратить это, как воспрепятствовать воле Совета, мы не знали, но вдруг поняли, что придумаем. Почему подобная мысль пришла нам в голову? Это уродство не могло иметь ничего общего с нами и Золотой. Что общего здесь могло быть? И все же, стоя у изгороди, мы почувствовали, как ненависть сжимает губы, внезапная ненависть ко всем братьям. А Золотая, увидев это, мягко улыбнулась. И впервые ее улыбка была грустной. Наверное, Золотая, обладая женской мудростью, понимают больше, чем можем понять мы.

Затем в поле появились три сестры. Они направлялись к дороге, и Золотая ушла от нас. Уходя, они бросали зерна из сумки в борозду, и те разлетались в стороны, потому что рука Золотой дрожала. По дороге в Дом Подметальщиков мы почувствовали беспричинное желание запеть. Нас упрекали за то, что вечером в столовой, сами того не замечая, мы начали напевать какую-то мелодию. Нигде нельзя петь просто так, кроме как на Общественных Собраниях.

— Мы поем потому, что счастливы, — ответили мы члену Совета Дома, упрекнувшему нас.

— Конечно же, вы счастливы, — ответил он. — Какими же еще могут быть люди, когда живут ради братьев?

И теперь, сидя в нашем туннеле, мы размышляем над этими словами. Запрещено быть несчастными, объяснили нам; люди свободны, и земля принадлежит им, и все на земле принадлежит всем, и воля всех людей хороша для всех, поэтому все должны быть счастливы. Но все же, стоя ночью в большом зале, снимая перед сном одежду, мы взглянули на братьев и задумались. Они стояли, опустив головы, глаза их были грустны, и никогда никому из них не решиться посмотреть в глаза другому. Плечи их сутулены, тела хилые, сжавшиеся, как будто стремящиеся стать невидимыми. И когда мы смотрим на братьев, нам в голову приходит одно-единственное слово. И слово это — страх. Страх повис в воздухе улиц, страх бродит по городу, страх без имени, без формы. Он пронизывает всех, все чувствуют это, но не решаются говорить об этом вслух.

Когда мы в Доме Подметальщиков, он есть и в нас. Но здесь, в туннеле, он исчезает. Воздух под землей чист. Нет духа людей. Три часа, проведенных под землей, дают нашему организму силы жить наверху. И он выдает нас. Совет Дома смотрит на нас с подозрением. Нехорошо быть таким веселым и так радоваться жизни. Ведь мы ничего не значим, и для нас не должно иметь никакого значения, будем ли мы жить или умрем. Это зависит

только от воли братьев. Но мы, Равенство 7-2521, радуемся жизни. Если это порок, то нам не нужна добродетель. Наши братья не похожи на нас. Не все в порядке с ними. Например, Братство 2-5503, тихий юноша с умными и добрыми глазами, может вдруг беспричинно расплакаться посреди дня или ночи, и тело его будут сотрясать необъяснимые рыдания. А Солидарность 9-6347, цветущий брат, в котором не чувствуется страха в течение дня, кричит во сне, он зовет: «Помогите! Помогите! Помогите!» — голосом, от которого холодеет сердце. Доктора не могут вылечить ни Солидарность 9-6347, ни Братство 2-5503.

И когда ночью, в мрачном свете свечи, мы все раздеваемся, наши братья молчат, не осмеливаясь высказать то, о чем думают. Все должны соглашаться со всеми, и они не могут узнать, совпадают ли их мысли с мыслями всех остальных, и поэтому они боятся говорить. И они рады, когда свечи задуты на ночь. Но мы, Равенство 7-2521, смотрим в окно, на небо. Там, высоко, — мир, чистота, достоинство. А за Городом — равнина, а за ней чернеет на фоне темного неба Неведомый Лес.

Мы не хотим смотреть на него. Мы не хотим думать о нем. Но он постоянно притягивает наш взгляд. Люди никогда не входили в Неведомый Лес — нет ни возможности исследовать его, ни тропки, которая бежала бы между деревьями, охраняющими его страшные секреты. Шепотом передается молва, что раз или два в сто лет человек из Города убегает в Неведомый Лес без приказа или причины. Больше таких людей никто не видит. Они погибают либо от голода, либо от когтей хищных зверей, которые бродят по лесу. Но Совет говорит, что это всего лишь легенда. Мы слышали, что вообще-то на земле между Городами есть много Неведомых Лесов. И говорят, что они выросли над руинами Городов Незапамятных Времен. Леса поглотили руины, и кости под руинами, и все, что погибло там. И когда мы смотрим на Неведомый Лес глубоко в ночи, мы думаем о тайнах Неведомого Леса. Как вышло, что секреты потеряны для мира? Мы слышали легенды о великих сражениях, в которых множество людей с одной стороны боролось против кучки других. И это была кучка порочных людей, их побеждали, и затем великие пожары бушевали на их землях. И в огне эти люди и все их окружавшее сгорало. Огонь же был назван Рассветом Великого Воскресения. Его еще называют Манускриптным Огнем, потому что все Манускрипты Порочных сгорели, а вместе с ними и все слова Порочных. Пламя не прекращалось на площадях Городов по три месяца. Затем произошло Великое Воскресение. Слова Порочных, Слова Незапамятных Времен. Что это за слова, которые мы потеряли?

Да помилует нас Совет! Мы совсем не хотели писать об этом и не знали, что пишем, пока наша рука не вывела этого на бумаге. Мы никого не спросим об этом и сами не будем думать об этом. Мы не будем навлекать на себя смерть. И все же... Все же...

Есть одно слово. Всего одно слово, которого нет в языке людей, но которое когда-то существовало. И это — Непроизноси-

мое Слово, которое ни один человек не должен ни слышать, ни выговаривать. Но иногда, очень редко, один из людей находит его, его находят в обрывках старых манускриптов или высеченным на древних камнях. Но как только люди его произносят, их приговаривают к смерти. Нет ни одного преступления, которое каралось бы смертной казнью, кроме Преступления Произношения Непроизносимого Слова.

Однажды мы видели, как одного из этих людей заживо сожгли на площади Города. И это зрелище надолго осталось у нас в памяти. Оно преследует нас, не дает нам покоя.

Нам было тогда десять лет, мы были ребенком. Мы стояли на площади, и все дети и люди Города, собранные на церемонию сожжения, стояли рядом. Преступника вывели на площадь и подвели к столбу. Ему вырвали язык, чтобы он больше не мог говорить. Он был молод и высок. У него были золотые волосы и глаза голубые, как небо. Он шел на костер, и шаг его был тверд. Из всей толпы на площади, из всех визжавших и вопивших, выкрикивавших проклятия, он был самым счастливым и самым спокойным.

Когда его цепями приковали к столбу и пламя лизнуло его тело, он оглядел Город. Тоненькая струйка крови показалась из угла его рта, и губы его улыбались. Ужаснейшая мысль пришла тогда нам в голову, мысль, никогда не покидавшая нас. Мы слышали о Святых. Святые Труда, Святые Совета, Святые Великого Воскресения. Но мы никогда не видели ни Святого, ни чего-либо похожего на него. И тогда, стоя на площади, мы подумали, что что-то похожее на Святого было перед нами в огне. Это был преступник Непроизносимого Слова. По мере того как огонь разгорался, произошло то, что видели только наши глаза, ведь если бы это было не так, нас бы уже не было в живых. Возможно, нам тогда только показалось, что глаза преступника оглядели толпу и остановились на нас. Не было в этих глазах ни боли, ни предчувствия агонии. Там были только радость и гордость, гордость более святая, чем подобает человеческой гордости.казалось, эти глаза пытаются сказать нам что-то сквозь огонь, беззвучно донести до нас какое-то слово. И, казалось, эти глаза молили нас понять его и сохранить на земле для людей. Но пламя захлестнуло и человека, и его слово.

Что же это за Непроизносимое Слово, если человек может отдать за него жизнь?

3

Мы, Равенство 7-2521, открыли новую силу природы. И мы открыли ее в одиночку. Мы единственные, кто знает о ней. Шаг сделан. Пусть нас быт за это, если необходимо. Совет Ученых утверждал, что нам известно все, а того, что неизвестно всем, не существует. Но мы думаем, что Совет слеп. Не все люди способны понять секреты земли — только те, кто будет их искать. Мы знаем, потому что мы поняли секрет, неизвестный братьям.

Мы не знаем, что есть эта сила и откуда она берется. Но мы знаем ее природу, мы видели ее в действии и работали с ней. Однажды ночью, разрезав тело лягушки, мы увидели, что ее ноги дергаются. Она была мертва, но двигалась. Неизвестная сила заставляла ее дергаться. Мы не могли понять этого. Затем, после многочисленных опытов, мы нашли ответ. Лягушка висела на медном проводе, и металлический нож передавал эту странную силу в медь через соленую слизь на теле лягушки. Мы положили кусок меди и кусок цинка в кувшин со слизью и дотронулись до них проводом. Вдруг прямо под пальцами произошло чудо, неизвестное доселе. Новое чудо, новая сила.

Открытие захватило нас. Нам хотелось понять все больше и больше. Мы предпочитали его всем другим занятиям. Мы работали над ним, проверяя его снова и снова, и каждый шаг был новым чудом, открывавшимся нашим глазам. Мы осознавали, что открыли величайшую силу на земле, ведь она отрицала все законы, известные людям. Она заставляла двигаться и поворачиваться стрелку компаса, который мы украли из Дома Ученых, но нас учили, что магнитный железняк всегда показывает на север и что ничто не может изменить этого. И все же новая сила отрицает все законы. Мы обнаружили, что она является причиной молний, а люди никогда не знали, откуда они берутся. В бурю мы поднимали высокий железный шест над дырой и наблюдали за ним снизу. Мы видели, как молния ударяла в него снова и снова. И теперь мы знаем, что металл притягивает небесную силу и что его можно использовать для пропускания этой силы.

Мы сделали странные вещи с помощью этого открытия. Мы использовали для этого медные провода, которые нашли здесь, под землей. Пройдясь по туннелю, освещающая путь свечой, мы не смогли уйти дальше чем на милю, потому что в обоих концах были завалы. Подобрав все, что попадалось на пути, мы перенесли это к себе.

Мы нашли странные коробки с металлическими прутьями внутри, с какими-то струнами, веревочками, спиральками. Мы нашли провода, которые вели к странным маленьким стеклянным шарикам на стене. Внутри у них были ниточки, тоньше паутинки. Все эти вещи помогают нам в работе. Мы не понимаем их, но думаем, что люди из Незапамятных Времен имели власть над небом и все эти непонятные предметы как-то с этим связаны.

Мы ничего не знаем, но постараемся понять. Мы уже не можем остановиться, хотя и то, что мы обладаем таким знанием в одиночку, пугает нас.

Никто не может обладать большей мудростью, чем Ученые, выбранные всеми людьми как раз за мудрость. И все же мы можем. И обладаем. Мы подавляли в себе это, но теперь слово сказано. Нас это не волнует. Мы забываем всех людей, законы, все, кроме наших металлов и проводков. А сколько еще предстоит узнать! Какая длинная дорога лежит перед нами. И разве нас может пугать то, что мы пойдем по ней в одиночку?

Много дней прошло, прежде чем мы вновь смогли заговорить с Золотой.

Но пришел день, когда небо побелело, словно солнце обожгло все вокруг. Поля лежали бездыханные, и пыль на дороге была белой от зноя. Все женщины в поле устали, и они находились далеко, когда мы пришли. Золотая стояла одна у изгороди, будто поджидая нас. Мы остановились и увидели, что их глаза, твердо и презрительно смотревшие на мир, смотрели на нас так, будто они готовы подчиниться любому нашему слову.

И мы сказали:

— В мыслях мы называем вас по-другому, Свобода 5-3000.

— Как? — спросили они.

— Золотая.

— И мы не называем вас Равенство 7-2521.

— Как же вы называете нас?

Они пристально и прямо посмотрели нам в глаза и, высоко подняв голову, ответили:

— Непобежденный.

Некоторое время мы не могли вымолвить ни слова. Затем мы сказали:

— Такие мысли запрещены, Золотая.

— Но ведь вы думаете об этом и хотите, чтобы мы тоже думали.

Мы взглянули им в глаза и поняли, что не сможем солгать.

— Да, — прошептали мы, и они улыбнулись. Затем мы сказали: — О, наша дорогая, не повинуйтесь нам.

Они отступили на шаг, их зрачки были расширены и спокойны.

— Повторите это еще раз, — пробормотали они.

— Что? — спросили мы. Но они не ответили, и мы поняли без слов. — Наша дорогая.

Никогда мужчина не говорил такого женщине. Голова Золотой опустилась; они стояли перед нами, не двигаясь, расслабившись. Ладони их были обращены к нам, будто они были готовы подчиниться любому велению наших глаз. Мы не могли говорить. Затем они подняли голову и мягко и нежно, будто стараясь подавить свою тревогу, проговорили:

— День жаркий, а вы работали уже много часов. Должно быть, вы устали.

— Нет, — ответили мы.

— На полях прохладнее, — сказали они. — Здесь есть вода. Вы хотите пить?

— Да, — ответили мы, — но нам нельзя пересекать изгородь.

— Мы принесем вам воды, — ответили они.

Нагнувшись к канаве, они зачерпнули ладонями воду, они поднялись и поднесли ее к нашим губам.

Мы не знали, выпили ли мы ее, только вдруг поняли, что руки Золотой пусты, а мы все еще стоим, прижавшись губами к этим рукам, и они, чувствуя это, не двигались.

Мы подняли голову и отступили на шаг. Не понимая, что заставило нас сделать это, мы боялись понять.

Золотая тоже подались назад и с удивлением рассматривали свои руки. Затем они начали отходить, хотя вокруг еще никого не было, но они не могли оторваться от нас. Руки были согнуты у них на груди, как будто они не решались опустить их.

5

Мы все же добились этого. Мы создали это. Мы достали это из глубины веков. Мы одни. Наши руки. Наш мозг. Мы и только мы.

Мы не знаем, что говорим. Голова идет кругом. Мы горды светом, который сами создали. Нас простят за все, что мы скажем сегодня.

Сегодня, после многих дней поисков, мы наконец закончили работу над этой странной вещью из остатков Незапамятных Времен. Стеклоянной коробкой, предназначенной для того, чтобы произвести силу сильнее той, которую мы открыли раньше.

Когда мы поместили провода в коробку и замкнули их, провод накалился. В него вошла жизнь, он покраснел, и пятно света упало на камень, лежащий перед нами.

Мы стояли, схватившись руками за голову. Наш мозг отказывался понять увиденное. Мы не трогали кремь, не зажигали огня. И все же перед нами был свет, свет ниоткуда, свет из сердца металла. Мы задули свечу. Темнота поглотила нас. Ничего не было вокруг, кроме ночи и тонкой полоски огня в ней, похожей на щель в стене тюрьмы. Мы протянули руки к проводу и увидели свои пальцы в красном свечении. Мы не могли ни видеть, ни чувствовать своего тела. В тот момент ничего вокруг не существовало для нас, кроме двух рук и свечения в черной бездне. Затем мы задумались о значении того, что лежало перед нами. Мы сможем осветить туннель, наш Город, все Города мира, используя только металл и проводки.

Мы можем дать братьям новый свет, чище и ярче того, который они когда-либо видели. Силу неба, которая подчинилась человеку.

Нет предела ее секретам и возможностям, и, может быть, нам будет дано все, о чем мы только осмелимся спросить природу.

Затем мы поняли, что надо делать: наше открытие слишком велико, чтобы тратить время на подметание улиц. Мы не должны держать секрет в себе, хоронить его под землей. Мы должны отдать его людям. Нам нужно все наше время, нужно работать в Доме Ученых. Нам нужна помощь и ум наших братьев Ученых. Впереди еще столько работы для всех Ученых Мира.

Через месяц в нашем Городе будет проходить Всемирный Совет Ученых. Это великий Совет, в который выбираются умней-

шие со всех земель. Он заседает раз в году в разных городах мира.

Мы пойдем в этот Совет и выставим перед ними, как подарок, стеклянную коробочку, в которой заключена сила небес. Мы признаемся во всем. Они увидят, услышат, поймут и простят, потому что наш подарок важнее, чем наше преступление. Они все объяснят Совету по Трудю, и нас переведут в Дом Ученых. Такого еще никогда не случилось раньше, но никогда раньше и подарок, подобный этому, не преподносился людям.

Мы должны подождать. Мы должны охранять наш туннель, как никогда раньше, ведь если кто-нибудь кроме Ученых прознает о нем, они не поймут и не поверят нам. Они не увидят ничего, кроме преступления работы в одиночку, они уничтожат и нас, и наш свет. Нас не беспокоит наше тело, но свет...

Нет. Впервые мы задумались о своем теле. Этот провод — словно часть нашего тела, словно вена, вырванная из него, наполненная и светящаяся нашей кровью. Гордимся ли мы этим кусочком металла или руками, которые сделали его? И есть ли грань, разделяющая их?

Мы вытянули руки, впервые почувствовав, как они сильны. И странная мысль появилась у нас в мозгу: впервые мы захотели узнать, как мы выгядим. Люди никогда не видели своих лиц и никогда не интересовались у братьев об этом. Потому что грешно думать о своем собственном лице и теле. Но сегодня вечером по необъяснимой причине мы не можем понять, почему мы хотели бы узнать, на что мы похожи.

6

Мы не писали уже тридцать дней. Тридцать дней мы не были здесь, в туннеле. Нас поймали.

Это случилось в ту ночь, когда мы писали в последний раз. Тогда мы забыли о песке в песочных часах, по которым определяли, когда проходили три часа и пора возвращаться в Городской Театр. Когда же мы вспомнили о нем, песок уже весь пересыпался. Мы поспешили к Театру. Серая и тихая палатка выделялась на фоне неба. Улицы Города лежали перед нами, темные и пустые. Вернись мы назад в туннель, нас бы нашли и свет обнаружили бы вместе с нами. Итак, мы направились в Дом Подметальщиков.

Совет Дома стал спрашивать нас о нашем отсутствии. Мы взглянули в лица членов Совета, но не заметили там ни гнева, ни любопытства, ни жалости. И, когда Старейший спросили нас:

— Где вы были? — мысль о стеклянной коробочке промелькнула у нас в голове с быстротой молнии и все остальное потеряло значение.

Мы проговорили:

— Мы вам не скажем.

Старейший больше ничего не спрашивали. Они повернулись к двоим младшим и усталым голосом приказали:

— Возьмите брата нашего, Равенство 7-2521, и отведите его во Дворец Исправительного Содержания. Бейте его плетью, пока он не признается.

И нас отвели в Каменную Комнату, находившуюся под Дворцом Исправительного Содержания. Это была комната без окон. В ней не было ничего, кроме железного шеста. Двое мужчин стояли около него. На них не было ничего, кроме кожаных передников и капюшонов. Те, кто привели нас, ушли, оставив нас двум судьям, которые стояли в углу комнаты. Судьи были маленькие, худые, седые, сторбленные. Они подали сигнал людям в капюшонах. Те сорвали одежду с нашего тела, бросили нас на колени и привязали наши руки к шесту.

Первый удар плети, казалось, разорвал спину надвое. Второй остановил боль первого, и секунду мы ничего не чувствовали. Затем боль пронзила горло, и огонь перешел в легкие, сжигая воздух. Но мы не закричали. Плеть свистела в воздухе. Мы попытались считать удары, но потеряли счет. Сознывая, что удары все еще сыплются нам на спину, мы не чувствовали их. Огненная решетка плясала у нас перед глазами, и ничего больше не существовало для нас, кроме решетки, решетки из красных квадратов; затем мы поняли, что смотрим на квадратные камни в стенах и думаем о квадратах, которые плетью высекала на нашей спине, снова и снова касаясь нашей плоти.

Затем перед глазами возник кулак. Он ударил нас в подбородок. Мы увидели красную пену, капающую изо рта на ослабевшие пальцы. Судья спросили:

— Где вы были?

В ответ мы только вскинули голову, спрятали лицо в связанные руки и закусили губу.

Плеть снова засвистела. Интересно, кто раскидывал горящие угольки по полу. Вокруг на камнях поблескивали капли чего-то красного.

Затем все пропало, кроме двух голосов, непрерывно и хрипло выговаривающих слова, хотя мы знали, что они произносились с большим интервалом:

— Где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были, где вы были.

А наши губы двигались в ответ, но звук уплывал назад в горло, только одно слово вырывалось:

— Свет. Свет. Свет.

Затем все исчезло.

Открыв глаза, мы обнаружили, что лежим на кирпичном полу в темнице. Увидели широко раскинутые руки. Мы попытались двинуть ими и поняли, что это наши руки. Мысль о свете и о том, что мы не предали его, пришла нам в голову.

Так прошло много дней. Дважды в день открывались двери: один раз — чтобы выпустить людей, которые приносили хлеб и воду, и другой — чтобы выпустить судей. Много судей входили к нам в темницу, сначала самые незначительные, затем более почитаемые в Городе. Они стояли перед нами в белых тогах и спрашивали:

— Вы готовы говорить?

Но мы качали головой, лежа перед ними на полу. И они уходили. Мы считали дни и ночи. И вот сегодня вечером поняли, что пришло время бежать. Завтра Всемирный Совет Ученых соберется в Городе. Из Исправительного Дворца было легко убежать. Замки на дверях старые, и вокруг нет стражи. Нет смысла иметь стражу, ведь люди всегда настолько подчинялись Совету, что не осмелились бы бежать из того места, куда их поместили. Наше тело здорово, и силы постепенно возвращаются к нам. Мы надавили на дверь, и она поддалась. Прокравшись по темным коридорам и улицам, мы наконец очутились у себя в туннеле.

Мы зажгли свечу и увидели, что наше место никто не обнаружил и все так, как мы оставили. Стеклянная коробочка стояла перед нами на холодной печи. Что теперь значили шрамы на спине!

Завтра, при свете дня, взяв коробочку и покинув туннель, мы открыто пройдем по улицам до Дома Ученых. Мы положим перед ними величайший подарок, когда-либо преподносимый людям.

Мы скажем им правду, как признание, отдадим все, что написали. Мы протянем им руки и станем работать вместе, вместе с силой небес во славу человечества.

Благословляем вас, братья! Завтра вы вернете нас в свои ряды, мы больше не будем изгнанником среди вас. Завтра мы снова будем с вами. Завтра...

7

Здесь, в лесу, темно. Над головой шелестят листья, черные на фоне последнего золотого луча. Мох мягок и тепл. Мы проспим на нем много ночей, пока лесные звери не придут, чтобы разорвать наше тело на куски. У нас нет теперь другой кровати, кроме мха, другого будущего, кроме встречи со зверями.

Мы очень стары сейчас, но еще утром, когда мы несли свою стеклянную коробочку по улицам города к Дому Ученых, мы были молоды. Никто не остановил нас, потому что никого из Исправительного Дворца не было, а другие ничего о нас не знали. Никто не остановил нас у ворот. Мы прошли по пустым коридорам и вошли в большой зал, где Всемирный Совет Ученых проводил свое торжественное собрание.

Войдя, мы ничего не увидели, кроме неба в огромных окнах, голубого и светящегося. За длинным столом сидели Ученые, они были похожи на бесформенные облака, собирающиеся в тучу на небе. Это были и люди, чьи знаменитые имена мы знали, и те, кто приехал издалека, чьи имена были нам неизвестны. Над их головами висели портреты двадцати знаменитых людей, которые изобрели свечу.

Все взгляды Совета обратились к нам, когда мы вошли. Эти самые великие и мудрые люди земли не знали, что подумать, и разглядывали нас с удивлением и любопытством, будто увидели чудо.

Да, действительно, наша туника была порвана и забрызгана коричневатыми каплями, которые когда-то были кровью. Подняв правую руку, мы заговорили:

— Приветствуем вас, наши досточтимые братья из Всемирного Совета Ученых.

Затем Коллектив 0-0009, старейший и мудрейший из всех, спросили:

— Кто вы, брат наш? Вы не похожи на Ученого.

— Наше имя Равенство 7-2521. Мы Подметальщик, — ответили мы.

В ответ словно буря влетела в зал. Все Ученые разом заговорили, испуганно и сердито.

— Подметальщик! Подметальщик в Совете! Не верим своим глазам! Это против всех правил и всех законов!

Но мы знали, как их остановить.

— Братья наши, — начали мы. — Мы ничего не значим, ни мы, ни наше преступление. Имеют значение только наши братья. Не думайте о нас, мы — ничто, но прислушайтесь к нашим словам, потому что мы принесли вам подарок, подобного которому никто не приносил людям. Послушайте нас, ведь будущее человечества в ваших руках.

И они прислушались. Поставив коробочку на стол перед ними, мы стали рассказывать о нашем открытии, о туннеле, о побеге из Исправительного Дворца. Ни одна рука не шевельнулась, ни один глаз не моргнул, пока мы говорили. Затем мы сложили провода в коробочку. Они наклонились, наблюдая, а мы не двигались, взгляд наш был прикован к проводу. И медленно, медленно, как кровь, красное пламя задрожало в нем. И провод накалился и засветился.

Ужас охватил людей из Совета. Они вскочили на ноги, выбежали из-за столов, прижались к стене, сгрудившись вместе, надеясь, что тепло тел, стоящих вместе, даст им смелость.

Мы посмотрели на них и засмеялись:

— Не бойтесь ничего, братья. В этих проводах — великая сила, но они приручены. Они ваши. Мы даем их вам.

Они не двинулись.

— Мы даем вам небесную силу, — закричали мы. — Мы даем вам ключ к земле! Берите его и разрешите нам быть одним из вас! Самым ничтожным. Разрешите нам работать с вами, приручить эту силу, облегчить с ее помощью труд людей. Отбросим же наши свечи и наши факелы. Затопим светом наши города. Дадим человеку новый свет.

Но они смотрели на нас так, что мы вдруг испугались. Их маленькие глаза были неподвижны и злы.

— Братья! — молили мы. — Неужели вам нечего сказать нам?!

Коллектив 0-0009 подались вперед, они направились к столу, за ними последовали остальные.

— Да, у нас есть много чего вам сказать.

Звук их голоса, нарушив тишину, отдавался у нас в сердце.

— Да, у нас есть много чего сказать злодею, нарушающему все законы и похваляющемуся своим бесчестьем. Как вы посмели подумать, что обладаете большей мудростью, чем ваши братья? И если Совет определил, что вам следует быть Подметальщиком, как вы осмелились подумать, что окажетесь полезнее где-нибудь больше, чем подметая улицы?

— Как посмели вы, чистильщик канав, — вставили Братство 4-3452, — отделить себя от других и думать не как все?

— Вас сожгут на костре, — сказали Демократия 4-6998.

— Нет, их будут сечь, сечь, пока под плетью ничего не останется, — сказали Единодушие 7-3304.

— Нет, — сказали Коллектив 0-0009, — мы не можем решить это. Никогда еще не слышали мы о таком преступлении, и не нам судить. Ни один Совет не должен этого делать. Мы передадим это существо на сам Всемирный Совет, и да будет воля Его! Посмотрев на них, мы взмолились:

— Братья! Вы правы. Пусть Совет осудит наше тело. Для нас это неважно. Но свет? Что вы сделаете со светом?

Коллектив 0-0009 посмотрели на нас и усмехнулись:

— Значит, вы считаете, что открыли новую силу. Все ли братья думают так?

— Нет, — пробормотали мы.

Что не считают правильным все, не может быть правильным.

— Вы работали над этим один? — спросили Интернационал 1-5537.

— Да.

— То, что не сделано коллективно, не может быть хорошо, — проговорили Единодушие 7-3304.

— У многих людей Дома Ученых были в прошлом такие идеи, — сказали Солидарность 8-1164, — но когда большинство их братьев Ученых проголосовали против этого, они оставили свои мысли, как и подобает всем.

— Эта коробочка бесполезна, — сказали Единство 6-7349.

— Будь это не так, — сказали Гармония 9-2642, — это бы разрушило Отдел Свечей. Свечи — великое достижение человечества, одобренное всеми. И они не могут быть уничтожены из-за каприза одного человека.

— Это разрушит Планы Всемирного Совета, — подхватили Единодушие 2-9913.

— А без Планов Всемирного Совета солнце не может взойти. Пятьдесят лет ушло на одобрение Свечей всеми Советами, на то, чтобы определить их необходимое количество, на то, чтобы изменить планы в связи с заменой свечами факелов. Это затронуло тысячи и тысячи людей, работающих в сотнях государств. Мы не можем изменить планы так скоро.

— А если это облегчит труд людей, — сказали Общность 5-0306, — то это еще большее зло, ведь люди существуют только для того, чтобы работать для других.

Коллектив 0-0009 поднялись и указали на нашу коробочку.

— Это должно быть уничтожено, — сказали они.

И все закричали как один:

— Это должно быть уничтожено!
— Глупцы! — заорали мы. — Вы глупцы!

Разбив кулаком окно, мы кинулись в звенящий дождь падающего стекла. Падая, мы не выпустили коробочку из рук. Потом мы помчались. Мы бежали, не замечая ничего на своем пути, люди и дома пронеслись мимо бесформенным потоком. И дорога не была плоской, она, казалось, подпрыгивала нам навстречу, и мы ждали, что земля поднимется и ударит нас. Но мы продолжали бежать, не зная куда, сознавая только, что нам надо бежать, бежать до края мира, до конца своих дней.

Затем вдруг почувствовали, что лежим на мягкой земле, — мы остановились. Деревья, выше, чем мы когда-либо встречали, возвышались над нами в тишине. И вдруг мы поняли. Это был Неведомый Лес. Сами того не желая, мы пришли сюда, наши ноги вели наш ум и привели нас сюда, в Неведомый Лес, против нашей воли.

Стеклянная коробочка лежала рядом. Мы подползли к ней и упали на нее, спрятав лицо в руках, лежали не двигаясь.

Мы лежали так долго. Потом поднялись, взяли коробочку и пошли в чашу леса.

Для нас не имело ровно никакого значения куда. Мы знали, что никто не последует сюда за нами, они никогда не осмелятся войти в Неведомый Лес. Нам нечего бояться их. Лес сам решает судьбу своих жертв. Но это не пугало нас. Единственное, чего мы хотели, — быть далеко, уйти от Города, от того воздуха, которым он наполнен. И мы продолжали идти, держа в руках коробочку, с опустошенным сердцем.

Мы обречены. Сколько бы дней ни оставалось нам, мы проведем их одни. Мы знаем, что быть одному — большой грех. Мы вырвали себя из правды наших братьев, и нет для нас дороги назад, и нет для нас спасения, нам не искупить своей вины.

Но нас не волнует все это. Нас не волнует ничто на земле. Мы устали.

Только стеклянная коробочка в руках похожа на сердце, дающее нам силы. Но мы солгали себе. Не для блага своих братьев смастерили мы ее. Для себя. Она для нас превышает всех братьев. Эта правда выше их правды. Но зачем думать об этом? Нам осталось жить не так уж долго. Мы бредем к острым клыкам, которые ожидают нас где-то среди громадных безмолвных деревьев. Нет ничего, о чем бы мы могли сожалеть.

Приступ боли охватил нас, первый и единственный. Мы подумали о Золотой, которую больше не увидим. Затем боль стихла. Так лучше. Мы одни из Проклятых. Для Золотой лучше забыть наше имя и тело, которое носило его.

8

Это был день чудес, наш первый день в лесу.

Когда луч солнца упал нам на лицо, мы проснулись. Захотелось вскочить на ноги, как мы вскакивали каждое утро нашей

жизни, но вдруг нам пришла мысль, что колокол не звонил, что вообще нет такого колокола. Лежа на спине, раскинув руки, мы смотрели на небо. Краешки листьев были покрыты серебром, которое дрожало и шелестело, как зеленая река и свет, освещающий ее.

Двигаться не хотелось. Мы думали о том, что можем лежать так столько, сколько захотим, и мы громко рассмеялись от этой мысли. Мы могли подняться, подпрыгнуть, побегать, снова лечь. Наше тело поднялось раньше, чем эта безрассудная, бессмысленная идея дошла до нас. Руки вытянулись сами собой, и тело закружилось, и оно кружилось, пока ветер от этого кружения не зашумел в листве. Руки ухватились за ветку и подбросили тело высоко на дерево. Без цели, только чтобы проверить его силу. Ветка подломилась под нашей тяжестью, и мы упали на мох, мягкий, как подушка. Наше тело бессмысленно каталось и каталось по мху, сухие листья прилипали к тунике, застревали в волосах. И вдруг мы засмеялись. Мы смеялись громко, полностью отдаваясь смеху. Затем, взяв стеклянную коробочку, мы пошли в лес. Мы шли, пробираясь сквозь ветки, будто плыли в море листьев. И деревья, как волны, вставали и падали и снова вставали перед нами, вскидывая ветки к верхушкам.

Деревья расступались перед нами, зовя вперед. Лес, казалось, приветствовал нас. Мы шли дальше и дальше, не думая ни о чем, ничего не чувствуя, ничего, кроме того, как поет наше тело.

Остановились мы, когда почувствовали голод. Увидя птиц, вспархивающих из-под наших ног на ветки деревьев, мы подобрали камень и, как стрелу, запустили его в птицу. Она упала перед нами. Разведя костер, мы приготовили ее, съели, и никакая пища еще не казалась нам такой вкусной. И вдруг мы подумали, какое огромное удовольствие еда, в которой мы нуждаемся и которую добываем собственными руками. И мы снова пожелали быть голодными, чтобы снова и снова ощутить это новое счастье — есть.

Продолжая идти, мы наткнулись на ручеек, который, как кусочек стекла, виднелся среди деревьев. Он струился так спокойно, что не видно было воды, только щель в земле, в которой деревья росли вниз головой, опрокинутые, и небо оказалось внизу. Встав на колени перед ним, мы нагнулись, чтобы попить. И замерли. На голубом фоне перед собой мы впервые увидели собственное лицо. Мы сидели, не двигаясь, задержав дыхание. Наше лицо и тело были прекрасны. Наше лицо было не похоже на лица братьев, — их вид вызывал жалость, а наше тело, руки и ноги были сильны и изящны. И мы подумали, что существу, смотревшему на нас из воды, можно доверять и с ним ничто не страшно. Мы шли до захода солнца. И когда тени собрались среди деревьев, мы забрались в ямку между корнями одного из них, где и проведем сегодняшнюю ночь. И вдруг мы вспомнили, что зовемся Проклятыми. И, вспомнив это, рассмеялись.

Мы пишем это на бумаге, которую спрятали в тунике вместе с теми исписанными страницами, которые принесли в Совет Уче-

ных, но не отдали. Нам о многом надо поговорить с самим собой, и мы надеемся вскоре обрести нужные слова. Пока же мы не можем говорить, ибо не можем понять.

9

Мы не писали уже много дней. Не хотелось — нам не нужно было слов, чтобы описать случившееся.

На второй день, проведенный в лесу, мы услышали позади шаги. Спрятавшись в кустах, мы ждали. Шаги приближались, затем среди деревьев мелькнули складка белой туники и сияние. Выскочив, мы побежали к Золотой и остановились, любуясь ими.

Они напряглись, чтобы не упасть. Они не могли говорить. Мы не осмеливались подойти. Дрожащим голосом мы спросили:

— Как вы оказались здесь, Золотая?

Они только прошептали:

— Мы нашли вас...

— Как вы оказались здесь, в лесу?

Они вскинули голову, в их голосе послышалась гордость, и они ответили:

— Мы последовали за вами.

Теперь мы онемели, а они продолжали:

— Мы услышали, что вы ушли в Неведомый Лес, — весь Город говорит об этом. И вот, в ночь того дня, когда мы узнали об этом, мы убежали из Дома Крестьян. Мы нашли следы ваших ног на равнине, куда не ходят люди, и последовали за ними. Мы пришли в лес и пошли по тропке, где увидели сломанные ветки.

Белая туника порвалась, и сучья поцарапали кожу на руках, но Золотая говорили, не замечая ни этого, ни усталости, ни страха:

— Мы пошли и пойдём за вами везде. Мы разделим с вами все невзгоды, несчастья и даже, если понадобится, смерть. Вы прокляты, и мы разделим с вами это проклятие. — Они взглянули на нас, их голос был тих, но горечь и торжество слышались в нем: — Ваши глаза как огонь, а у братьев нет ни надежды, ни огня. Ваши уста выточены из гранита, а братья смиренны и мяжки. Ваша голова высоко поднята, а братья сгорблены. Вы ходите, а братья ползают. Лучше мы будем прокляты с вами, чем благословенны с ними. Делайте с нами что хотите, но не отсылайте нас назад.

Они встали на колени, опустив свою золотую голову перед нами. Мы не ожидали от себя этого, но, нагнувшись поднять Золотую на ноги, мы почувствовали, как какое-то сумасшествие вселилось в нас. Мы охватили их тело и прижали их губы к своим. Золотая вздохнули, и вздох их был похож на стон, и руки обвили нас вокруг нас.

Мы долго стояли так. И ужасающая мысль о том, что, прожив двадцать один год, мы не знали, что такое счастье возможно, пришла нам в голову. Мы сказали:

— Наша дорогая. Ничего не бойтесь в лесу. Одиночество не страшно. Нам не нужны братья. Забудем их добро и наше зло,

забудем все, кроме самих себя и того счастья, что связывает нас. Дайте нам вашу руку. Взгляните: это наш мир, Золотая. Странный, неизвестный, но наш.

И мы вошли в лес, взявшись за руки. В ту ночь мы узнали, что обладать женщиной не постыдно и не противно. Это одно из высших наслаждений, которое может познать человек.

Мы шли много дней. Лес не кончался, но мы не искали его конца. Каждый день, отдалявший нас от Города, был еще одним днем счастья.

Сделав лук и стрелы, мы смогли убивать больше птиц, чем нам было нужно, мы нашли воду и фрукты в лесу. Ночью, выбрав полянку, мы окружали ее кострами. И спали посередине, чтобы животные не напали на нас. Их глаза, зеленые и желтые, как угольки, наблюдали за нами из-за ветвей деревьев. Огни тлели, напоминая корону, а дым поднимался подобно столбам и казался голубым при свете луны.

Мы спим вместе, посреди кольца. Руки Золотой обвивают нас, а их голова покоится у нас на груди. Когда-нибудь мы остановимся и построим дом, но не раньше, чем отойдем на достаточное расстояние. Нам не надо торопиться. Дни не имеют конца, как и лес. Мы не понимаем этой новой жизни, которую нашли, хотя она кажется такой простой и чистой.

Неразрешимые вопросы одолевают нас, и тогда мы начинаем идти быстрее, затем оборачиваемся и забываем обо всем, потому что видим Золотую, идущую следом. Тени листьев падают на их руки, когда они раздвигают ветки, но плечи остаются на солнце. Кожа рук как голубой туман, но плечи белы, и кажется, что свет идет изнутри. Мы смотрим на лист, лежащий на изгибе шеи, и на каплю росы, светящуюся, словно драгоценный камень. Они останавливаются, улыбаясь, зная, о чем мы думаем, и терпеливо ждут, пока мы, налюбовавшись, повернемся и пойдем дальше.

И мы шли и благословляли землю под ногами. Но вновь и вновь вопросы приходили нам в голову. Если то, что мы нашли, — грех одиночества, то чего еще может желать человек, кроме греха? Если быть одному — великое зло, то что есть добро?

Что исходит от многих — хорошо. Что делает один — порочно. Так нас учили с того момента, как мы сделали первый вдох. Мы нарушали закон, не сомневаясь в нем самом. И вот сейчас, когда мы идем по лесу, эти сомнения начинают появляться.

Нет другой жизни для людей, кроме жизни в труде, во благо братьев. Но в труде мы не жили, а просто тратили силы, истощали, изнашивали свой организм. Нет другой радости для людей, кроме радости, разделенной с братьями. Единственная же вещь, которая принесла нам радость, это сила, которую мы создали в проводах, и, конечно же, Золотая. Но эти радости принадлежали нам одним, они исходили из нас и не были связаны с братьями, и не касались их никоим образом. Это было удивительно. В этом была какая-то ошибка, роковая ошибка в мыслях людей. В чем она? Мы не знаем, но знание бьется внутри нас, пытаясь родиться.

Сегодня Золотая вдруг остановились и сказали:

— Мы любим вас. — Затем, нахмурившись, покачав головой и беспомощно взглянув на нас, прошептали: — Нет, не то. — Они помолчали и медленно-медленно, запинаясь, как ребенок, который только учится говорить, произнесли: — Мы одни, единственные, и любим вас одного.

Душа наша разрывалась в поисках слова, но мы не нашли его.

10

И вот мы сидим за столом и пишем на бумаге, изготовленной тысячи лет назад. Свет тусклый, и Золотой не видно. В темноте различим только ее локон, лежащий на подушке древней кровати. Это наш дом. Мы нашли его сегодня на рассвете. Много дней мы пересекали цепи гор. Лес поднимался между утесами, и всюду, куда бы мы ни взглянули, всюду были горы, красные, бурые, с зелеными прожилками, леса как вены, пронизывающие какой-то большой организм, и голубые туманы окутывали их вершины. Никогда не слышали мы об этих горах, не видели их на картах. Неведомый Лес защитил их от Городов и людей. Мы взбирались по тропкам, куда не осмеливались заходить горные козлы. Из-под ног катились камни, и слышно было, как они разбиваются о скалы внизу, дальше и дальше, и горы звенели от каждого удара, и долго еще до нас доносилось эхо от этих ударов. Но, зная, что здесь нас никто не достигнет, мы все же продолжали карабкаться выше и выше.

И вот сегодня, на рассвете, пред нашими глазами предстало среди деревьев белое пламя. Решив, что это пожар, мы остановились. Но огонь был мертв и слепил, как расплавленный металл. Пробравшись к нему через глыбы камней, мы увидели на открытой поляне дом, равного которому не видели никогда. Яркие лучи солнца, отражавшиеся в его окнах, били в глаза, а горы поднимались за ним.

Это был двухэтажный дом, крыша у него была очень странной. Она была плоская, как пол. Большую часть стен занимали окна. Даже углы были стеклянными. Мы не могли понять, как стоял этот дом. Стены были твердые и гладкие. Они были сделаны из такого же непохожего на камень камня, какой мы видели в туннеле.

Этот дом остался с Незапамятных Времен. Это было понятно без слов. Деревья защитили его от времени и непогоды — и от людей, которые были более жестоки. Повернувшись к Золотой, мы спросили:

— Вы боитесь?

Мы покачали головой. Мы толкнули дверь. Она распахнулась, и мы вместе вступили в старый дом. Нам понадобятся дни и годы, чтобы осмотреть, изучить и понять все в нем. Сегодня мы только можем смотреть, не веря своим глазам. Отодвинув тяжелые занавески с окон, мы увидели маленькие комнатки и

подумали, что в них могло поместиться не более двенадцати человек. Странно, что людям разрешалось строить такие маловместительные дома.

Никогда еще не встречались нам комнаты, настолько наполненные светом. Солнечные лучи плясали по стенам, покрашенным во все цвета радуги. Трудно было поверить этому. Никогда еще не видели мы цветных домов, лишь белые, коричневые и серые цвета запомнились нам с детства.

Там на стенах висели кусочки стекла, но это не было просто стеклом: взглянув на них, мы увидели свое собственное тело и все, что окружало нас, как в озере. Вокруг было много вещей, предназначение которых непонятно для нас. Везде, в каждой комнате, стеклянные шарики с металлическими паутинками внутри, такие, как были в нашем туннеле.

Мы нашли спальный зал и остановились в страхе на его пороге. Это была маленькая комната, и в ней стояло всего две кровати. Во всем доме больше не было кроватей, и тогда мы поняли, что только двое жили здесь. Это выше нашего понимания. Что это был за мир тогда, в Незапамятные Времена?

Мы нашли одежды, и у Золотой вырвался вздох восхищения при виде их. Это не были ни белые туники, ни тоги. Они были разноцветные, и ни одна не походила на другую. Некоторые рассыпались в пыль от прикосновения, но другие были из более тяжелой и крепкой ткани, и они казались мягкими и новыми на ощупь.

Еще там была комната, от пола до потолка заполненная манускриптами. Никогда еще мы не видели их в таком количестве, такой формы. Они не были мягкими и свернутыми. На них облочка из кожи или ткани, буквы на страницах маленькие и такие ровные, что мы подивились человеку, который обладал таким аккуратным почерком. Книги написаны нашим языком, но некоторые слова нам непонятны. Завтра же мы начнем их разбирать. Осмотрев комнаты, мы взглянули на Золотую и поняли мысли друг друга.

— Никогда не покинем мы этот дом, — сказали мы, — и никогда не допустим, чтобы его отобрали у нас. Это наш дом и конец нашего путешествия. Это ваш дом, Золотая, и наш, и он не принадлежит больше ни одному живущему на земле человеку. Мы не будем делить его с другими, как не делим с ними ни нашу радость, ни любовь, ни голод. Да будет так до конца наших дней.

— Да будет исполнена ваша воля, — вторили они.

И мы отправились собирать хворост для огромного очага в нашем доме. Мы принесли воду из ручейка, бежавшего среди деревьев под нашими окнами, убили горного козла и принесли его тушу, чтобы приготовить в странном железном котле, который нашли в чудесном месте, которое, должно быть, было местом для приготовления пищи в этом доме.

Все это мы делали в одиночку, потому что никакие слова не могли заставить Золотую отойти от стекла, которое не было

стеклом. Они стояли перед ним и все рассматривали и рассматривали собственное тело.

Когда солнце скрылось за горами, Золотая заснула на полу, среди драгоценностей, стеклянных бутылочек, искусственных цветов. Взяв Золотую на руки, мы отнесли их на кровать, и голова их откинулась на наше плечо. Мы зажгли свечу и, взяв манускрипты, устроились у огня, зная, что не сможем заснуть сегодня вечером. И вот мы оглядываем небо и землю. Эта обнаженная скала, и пики, и лунный свет похожи на мир, готовый родиться, мир, который ожидает своего часа. Казалось, он ждет только нашего сигнала, искры, первой команды. Мы еще не понимаем, что за слово нам надо произнести, какого великого свершения ожидает земля, но мы знаем, что она ждет. Кажется, она говорит о богатствах, которые готова отдать нам, но ждет еще большего дара. Мы должны заговорить. Мы должны передать ее цель, ее высшее значение всему сверкающему пространству скал и неба.

Мы ждем и надеемся, просим у сердца ответа на вопросы, которые никто не задавал, но которые не дают нам покоя. Мы посмотрели на свои руки. На них была пыль веков, пыль, скрывавшая великие тайны и, возможно, великие пороки. И все же это не наводит на нас страха, только почтение и сожаление возникают в сердце. Да снизойдет на нас знание. Что за секрет понял наше сердце, но еще не открыло нам, хотя и бьется так, будто старается раскрыть его?

11

Я есть. Я думаю. Я хочу.

Мои руки. Моя душа. Мое небо. Мой лес. Это моя земля.

Разве можно сказать больше? Это самые важные слова. Это ответ. Я стою здесь, на вершине горы. Я поднимаю руки, развожу их в стороны. Это мое тело и моя душа. Наконец я понял. Мы хотели осмыслить все это. Я и есть этот смысл. Мы хотели найти оправдание своему существованию. Но оправдание — я сам. Мне не нужно ни оправдания, ни одобрения. Мои глаза видят, и они дарят миру красоту. Мои уши слышат, и в них звучит песня. Мой мозг думает, и только он будет тем лучом, который осветит правду. Моя воля выбирает, и выбор ее — единственный мне указ, единственный, что я уважаю.

Многие слова открыты мне. Многие из них мудры, другие лживы, но только три святы: «Я хочу этого».

Какой бы дорогой я ни шел, путеводная звезда во мне, и звезда и компас, они укажут мне ее, укажут мне дорогу к самому себе. Не знаю, есть ли земля, на которой я стою, — сердце вселенной или только пушинка, затерянная в вечности. Не знаю и не думаю об этом.

Ведь я знаю, что счастье возможно для меня на земле. И моему счастью не нужно высокой цели для оправдания себя. Оно — не средство для достижения цели. Оно и есть цель.

И я не есть средство для достижения целей других. Я не служу ничьим желанием. Я не бинт для их ран. Я не жертва на их алтарях. Я человек. Этим чудом своего существования владею лишь я, лишь я его охраняю и использую, только я преклоняюсь перед ним.

Я не отдам своих богатств, не разделю их ни с кем. Сокровище моей души не будет разменяно на медные монеты и разбросано ветром, как подаяние. Я охраняю свои богатства: мысли, волю, свободу. Величайшее из них — свобода.

Я ничем не обязан своим братьям, и у них нет долга передо мной. Я никого не прошу жить ради меня, но и сам живу только для себя. Я не домогаюсь ничьей души, но и не хочу, чтобы кто-нибудь домогался моей. Я не враг и не друг братьям, нищим духом. Чтобы заслужить мою любовь, братья должны сделать еще кое-что кроме того, что родиться. Я не отдаю любовь просто так, и никто, случайно захотевший ее, не получит моей любви. Я вручаю людям свою любовь как великую честь. Но честь надо заслужить.

Я выберу друзей среди людей, но не рабов, не хозяев. И я выберу только тех, кто понравится мне, и их я буду уважать и любить, но не подчиняться и не приказывать. И мы соединим руки, когда захотим, и пойдем в одиночку, когда захотим.

В храме своей души человек одинок. И пусть храм каждого останется нетронутым и неоскверненным. Пусть человек протянет руку другому, когда захочет, но только не переступив этот святой порог.

А слово «мы» люди смогут употреблять, только когда захотят, и с великой осмотрительностью. И никогда это слово не будет главным в душе человека, ибо завоевав нас, это слово становится монстром, корнем зла на земле, корнем мучений человека человеком и неслышанной ложью.

Слово «мы» — гипс, вылитый на людей. Оно застывает и затвердевает, как камень, и разрушает все вокруг. И черное и белое становится серым. С помощью этого слова грязные крадут добродетель чистых, слабые — мощь сильных, слабоумные — мудрость умнейших.

Что есть моя радость, если любые, даже грязные пальцы могут потрогать ее? Что есть моя мудрость, если даже дураки могут приказывать мне? Что есть моя свобода, если даже бесталанные и слабые — мои хозяева? Что есть моя жизнь, если я ничего не могу, кроме как кланяться, соглашаться и подчиняться? Но я покончил с этой гибельной верой. Я покончил с монстром «мы» — словом рабства, воровства, несчастья, фальши и стыда.

И вот я вижу лицо бога, и я возношу его над землей. Бога, которого человек искал с тех пор, как люди начали существовать. Этот бог даст нам радость, мир и гордость. Этот бог — «Я».

Это случилось, когда я читал первую книгу, которую нашел в доме. Я видел слово — «я», и, когда понял его, книга выпала из моих рук и я заплакал, я, который не знал слез. Я рыдал, чувствуя свободу и жалость к человечеству. Я понял благословенную вещь, которую называл проклятьем. Я понял, почему лучшим во мне были мои грехи и преступления и почему я никогда не чувствовал за них вины. Я понял, что века цепей и плетей не способны ни убить человеческую душу, ни вытравить чувство правды в нем. Прошло время, я прочитал много книг. И вот я позвал Золотую и рассказал ей обо всем, что понял. Она посмотрела на меня, и первые слова, сорвавшиеся с ее губ, были:

— Я люблю тебя.

Затем я продолжил:

— Моя дорогая, неправильно, что у людей нет имен. Было время, когда они были у всех, чтобы отличаться друг от друга. Я прочитал о человеке, который жил много тысячелетий назад, и из всех имен, которые я встречал в книгах, это то, которое я хотел бы носить. Он похитил пламя богов и подарил его людям, он научил людей быть богами. И пострадал за это, как страдают все, кто несет свет. Его звали Прометей.

— Да будет это твоим именем, — сказала Золотая.

— И еще я прочитал о богине, что была матерью Земли и всех богов. Ее имя было Гея. Пусть это будет твоим именем, моя Золотая, потому что ты будешь матерью новых богов.

— Да будет это моим именем, — сказала Золотая.

И вот я вглядываюсь в свое будущее. Оно ясно встает перед моими глазами. Святой на костре видел это будущее, когда выбрал меня своим наследником, наследником всех святых и мучеников, которые приходили до него и погибли за то же самое, за то же слово, независимо от того, как они называли свою правду.

Я буду жить здесь, в своем собственном доме. Я буду добывать еду у земли трудом собственных рук. Я достигну тайны своих книг. В грядущие годы я восстановлю достижения прошлого. Открою пути для их развития, достижения станут понятны мне, но навсегда останутся загадкой для братьев, ибо их умы скованы одной цепью с умами самых слабых и глупых. Я узнал, что моя небесная сила была известна людям много лет назад; ее называли Электричество. Это сила, которая двигала их великие открытия. Она освещала этот дом светом, который шел от стеклянных шариков. Я нашел устройство, вырабатывающее его, узнаю, как починить его и заставить снова работать; я узнаю, как использовать провода, которые передают эту силу. Затем я построю забор из проводов вокруг дома, через тропки. Забор, легкий, как паутинка, и крепкий, как гранитная стена, который братья никогда не смогут преодолеть. Потому что им нечем бороться со мной, кроме грубой силы их количества. А у меня есть мой ум. И здесь, на вершине горы, когда весь мир у моих ног и над головой только солнце, я буду жить своей правдой.

Гей беременна моим ребенком. Наш сын вырастет человеком. Его научат произносить «я» и гордиться этим! Его научат ходить, высоко подняв голову, на своих ногах. Мы научим его преклоняться перед своим собственным духом.

Когда я прочту все книги и пойму, что делать, когда дом будет готов и земля вспахана, я однажды, в последний раз, проберусь в тот проклятый Город, в котором родился. И призову к себе друга, у которого нет другого имени, кроме Интернационал 4-8818, и людей, похожих на Братство 2-5503, который плачет без причины, и Солидарность 9-6347, который зовет на помощь ночью, и некоторых других. Я призову к себе всех мужчин и женщин, чей дух не убит и кто страдает под ярмом своих братьев. Они последуют за мной, и я приведу их в свою крепость. И здесь, в девственной тишине, я и они, мои избранные друзья, мои помощники, мы напишем первую главу новой истории человечества. Вот что ждет меня. И, стоя здесь у ворот славы, я оглядываюсь назад, на историю людей, что прочитал в книгах, и удивляюсь. Это долгая история, и дух, двигавший ее, — дух человеческой свободы. Но что есть свобода? Свобода от чего? Никто и ничто не может отнять у человека свободу, кроме других людей. Чтобы быть свободным, человек должен быть независимым от братьев. Это истинная свобода. Это и ничто другое.

Сначала человек был поработан богами. Но он разбил свои цепи. Затем царями и королями. Но и эти цепи были сброшены. Затем своим рождением, родством, расой. Но и это прошло. И вот он объявил своим братьям, что человек имеет права, которые ни бог, ни царь, ни другие люди не могут отобрать, независимо от того, много их или мало, потому что это его право, право Человека, и нет ничего выше этого на земле. И вот он уже стоял на пороге свободы, за которую проливалась кровь в течение многих столетий до него. Но он отдал все, что получил, и пал ниже, чем был в самом своем диком начале.

Что привело к этому? Какая болезнь лишила людей разума? Какая плеть бросила их на колени? Поклонение слову «мы»?

Когда люди стали поклоняться этому божеству, мир перевернулся. Мир, каждое колесико которого имело своим началом мысль одного, отдельного человека, из глубин духа, существовавшего для себя и ради себя. Те, кто выжил и смог подчиниться, жить для других, потому что не было больше ничего, ради чего они могли существовать, — они не сумели ни продолжить развитие, ни сохранить то, что получили. Так вся мысль, вся наука, вся мудрость умерли на земле. Так люди — люди, которым нечего было предложить, кроме собственной многочисленности, — потеряли стальные башни, летающие корабли, провода с током, все, что не они создавали и что не смогли сохранить. Возможно, позже рождались разумные и смелые люди, которые могли восстановить потерянное. Возможно, они приходили в Совет Ученых.

И им отвечали то, что ответили мне, — по той же причине. Но я все же не могу понять, как было возможно в те ужасные

времена перехода, что они не понимали, что творят, и продолжали слепо и трусливо двигаться, подчиняясь судьбе. Не могу понять, потому что мне трудно понять людей, знавших слово «я» и отдавших его. Как они могли не осознавать, что теряют? Но так все и было, ибо я жил в Городе проклятых и знаю, каким ужасам люди позволили себе подчиниться.

Возможно, в те дни мало было среди людей тех, кто обладал трезвым взглядом и чистой душой, кто отказывался отдать это слово. Какую агонию они должны были преодолевать, видя, что происходит, и не имея возможности остановить это! Должно быть, они кричали, протестовали, предупреждали. Но никто не внял их предупреждениям. И они, те, кто участвовал в этой безнадежной битве, они погибли, пропитав свои знамена собственной кровью. И они выбрали смерть, потому что знали. Им шлю я свое приветствие сквозь века и свой поклон.

Их знамя теперь в моих руках. И я хотел бы иметь возможность сказать им, что отчаяние их сердец не было беспросветным и их ночь была чревата надеждой. Потому что битва, которую они проиграли, не могла быть проиграна. То, за что они погибли, бессмертно. Сквозь темноту, через унижение, через которое только способны пройти люди, дух человека останется жить на земле. Он может спать, но он проснется. Он может быть закован в цепи, но он вырвется. Он не в силах остановиться. Человек, не люди.

И вот, на этой горе, я и мои дети и мои избранные друзья, мы построим свою новую землю и крепость. Она будет, как сердце земли, затеряна и спрятана, пульсируя все громче и громче с каждым днем. И весть о ней дойдет во все уголки земли. И дороги мира станут венами, по которым будет течь лучшая кровь к моему порогу. И все мои братья и их Совет услышат о ней, но будут бессильны против меня. И придет день, когда я разобью все цепи на земле и сотру с ее лица города рабов, и мой дом станет столицей мира, где каждый человек будет волен существовать во имя свое.

Я буду бороться за то, чтобы наступил этот день. Я, мои дети и избранные друзья. За свободу человека. За его право. За его жизнь и честь. И здесь, над воротами моей крепости, я высеку в камне слово, которое станет моим маяком и знаменем. Слово, которое не умрет, даже если мы все погибнем в битве. Слово, которое не может умереть на земле, потому что оно есть ее сердце, смысл и слава. Это священное слово —

EGO.

1937

Перевод Д. В. Костыгина

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ЛЕРМОНТОВ

- I 1 Горные вершины
2 Спят во тьме ночной;
3 Тихие долины
4 Полны свежей мглой.
- II 1 Не пылит дорога,
2 Не дрожат листы,
3 Подожди немного, —
4 Отдохнешь и ты.

1

Стихотворение Лермонтова (перевод гетевского «Wanderers Nachtlied»), знакомое едва ли не каждому русскому первокласснику и традиционно включаемое во все мыслимые хрестоматии, с детских лет производило на автора этих заметок завораживающее и почти устрашающее впечатление. Весьма приблизительно это впечатление можно описать как состояние человеческого глаза, наблюдающего невероятное сочетание абсолютной прозрачности и абсолютной темноты. Сила этого гипнотического воздействия не ослабевает до сих пор.

«Горные вершины...», написанные 26-летним Лермонтовым не позднее октября 1840 года, были опубликованы в том же году в «Отечественных записках» (т. 11, № 7, отд. III, с. 1).

Современник Лермонтова, поэт и переводчик Струговщиков вспоминает: «На вопрос его <Лермонтова — В. Х.>, не перевел ли я «Молитву путника» Гете? — я отвечал, что с первой половиной сладил, а во второй — недостает мне ее певучести и неуловимого ритма...». «А я, напротив, мог только вторую половину перевести», — сказал Лермонтов и тут же, по просьбе моей, набросал на клочке бумаги свои „Горные вершины“...»¹.

Валерий Брюсов считал «Горные вершины...» недостижимым прекрасным переводом «Wanderers Nachtlied». Известны также переводы самого Брюсова, Н. Хвостова, И. Анненского — гораздо более близкие к оригиналу, но не идущие ни в какое сравнение с маленьким шедевром Лермонтова.

¹ Струговщиков А. Н. Воспоминания. «Русская старина», 1874, Апрель. С. 712.

Между тем все без исключения комментаторы называют лермонтовский перевод «вольным, свободным», отмечая, что «содержание стихотворения Лермонтова, вся система мотивов и образов не вполне совпадают с оригиналом».¹ Лермонтоведение скромно признает, что «тип связи «Горных вершин...» с Гете окончательно не установлен» (ЛЭ, 183).

Ничто не мешает поэту оставить в стороне историко-литературный, биографический и переводческий аспекты и взглянуть на лермонтовский текст как на самодостаточное произведение русской словесности: многие факты, с ним связанные, отмечены печатью уникальности.

В ряду современных ему поэтов Лермонтов обладал самым впечатляющим и разнообразным ритмическим арсеналом: он пользовался 41 типом классических размеров, различными видами неклассических, ему принадлежат 54 (!) собственных строфических модели, которых не повторил никто (у Пушкина таких моделей — 20, у Жуковского — 37) (ЛЭ, 542, 544).

Тем более поразительно, что на фоне столь мощного поэтического инструментария стихотворение «Горные вершины...» стоит совершенно особняком — это единственный во всем лермонтовском наследии текст, написанный трехстопным хореем. Мало того: это единственное трехстопное хореическое восьмистишие во всей русской поэзии XIX века. Иначе говоря, «Горные вершины...» образуют самостоятельную метрико-строфическую категорию с единственной моделью (ЛЭ, 547).

Об исключительной музыкальной природе «Горных вершин...» свидетельствует и необычно быстрое проникновение текста в песенный фольклор, и то, что на протяжении XIX века более 90 (!) композиторов делали попытки положить его на музыку (ЛЭ, 183).

2

Текст «Горных вершин» слагается из двух строф-катренов, отделенных пробельной строкой и отталкивающих друг от друга смысловой антитезой и глубоким несходством ритмики и грамматического состава.

Первый катрен — чисто пейзажная, даже метеорологическая констатация, означаемое которой можно выразить весьма тривиально: «стоит абсолютно тихая, безветренная погода, в природе царит абсолютный покой». Второй катрен — философская медитация, где первые два стиха как бы лишь подхватывают «метеорологическую» тему предыдущей строфы, а два финальных представляют собой тот странный, двусмысленный поэтический вы-

¹ Лермонтовская энциклопедия. М., «Советская энциклопедия», 1981. С. 183. В дальнейшем ссылки на Лермонтовскую энциклопедию (ЛЭ) даются в тексте с указанием страниц в скобках.

вод, к которому и устремлен весь текст. «*Погожди немного, — отдохнешь и ты*», — к этому обещанию покоя буквально «стягивается» все стихотворение.

Главное слово, слово-ключ здесь — конечно, глагол с раздваивающимся смыслом «отдохнешь», произносимый Лермонтовым с некоторой зловещей, не сразу уловимой, иронией. Совершенно справедливо, но несколько робко комментаторы отмечают: «Предельный, близкий смерти покой в стихотворении «Из Гете» приобретает символическое значение: это трагическое замирание жизни, наступающее всякое ее проявление...» (ЛЭ, 302). Нужно, видимо, сказать определеннее (и символика здесь совсем ни при чем): с точки зрения семиотики, означаемое финальных строк — «философская развязка» — есть парадоксальное удвоение и «выворачивание наизнанку» означаемого первого катрена. Состояние абсолютного покоя природы чревато и блаженством отдохновения, и ужасом небытия одновременно. То же самое относится, естественно, и к означаемым обеих строф, т. е. к фактуре самого текста.

Стихотворение построено так, чтобы «столкнуть» первую и вторую строфы, заставить их взаимно отразиться и звучать как две, хотя и связанные, но совершенно отличные мелодии. Внутри каждого четверостишия в отдельности господствуют законы симметрии: они пронизаны параллелизмами подобий, сближений и отталкиваний. Между строфами — отношения асимметрии.

Формальная антитеза внутрострофической симметрии и межстрофической асимметрии прослеживается здесь на любых языковых уровнях (начиная фонетикой и кончая синтаксисом), однако с наибольшей очевидностью, а точнее, слышимостью эта антитеза проявляется в ритмическом рисунке и распределении ударных гласных.

I	1.	/ <u>о</u> у / уу / <u>ы</u> у /
	2.	/ 'а у / 'э у / о /
	3.	/ <u>ы</u> у / уу / <u>ы</u> у /
	4.	/ о у / 'э у / о /
II	1.	/ уу / <u>ы</u> у / оу /
	2.	/ уу / а у / <u>ы</u> /
	3.	/ уу / <u>ы</u> у / оу /
	4.	/ уу / оу / <u>ы</u> /

Первая строфа распадается на два зеркально симметричных дистиха: по ритму перекрестные строки (1 и 3, 2 и 4) идентичны, смежные (1 и 2, 3 и 4) противопоставлены, а первое и второе двустишия воспроизводят один и тот же ритмический рисунок.

Облегченные стопы (пиррихии) симметрично расположены в центре нечетных строк; симметрия же строк четных не только оппозиционна по отношению к нечетным (в центре здесь —

стандартная хорейческая стопа), но и подкреплена внутренней ассонансной рифмой [‘Э]: ${}_2$ [Т’М’Э] — ${}_4$ [СВ’ЭЖ Ъj]. Отметим попутно, что ритмическая оппозиция четных и нечетных стихов первого катрена напрямую связана с содержанием:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| ${}_1$ Горные вершины | ${}_2$ Спят во тьме ночной |
| ${}_3$ Тихие долины | ${}_4$ Полны свежей мглой |

Субъекты	Предикаты
${}_2$ ударных / ${}_4$ безударных	${}_3$ ударных / ${}_2$ безударных

Нечетные строки называют субъекты, четные — предикаты. Несмотря на то, что четные строки имеют мужскую клаузулу, т. е. на один слог меньше, резкое возрастание в них количества ударных слогов по отношению к безударным ($3/2$ вместо $2/4$) делает четные строки более растянутыми, длительными — с их помощью и констатируется состояние сна, абсолютного покоя, что ясно слышно при декламации. Четвертая строка первого четверостишия дополнительно «утяжелена» нестандартным, и, следовательно, фонетически маркированным, ударением ${}_4$ [пóлны] (вместо нормативного [палны]).

Внутренняя ритмическая структура второго катрена аналогична структуре первого: та же идентичность двустушии, то же уподобление перекрестных стихов и расподобление смежных. Но, как видно из схемы, это совершенно другая «мелодия», полностью асимметричная ритму первой строфы. Все пиррихии анафорически перемещены в начальную стопу, внутренняя ассонансная рифма [и] связывает стихи 1 и 3 (ср. I ${}_2$, ${}_4$), последовательность рифмующихся гласных в клаузулах зеркально перевернута (в I ${}_1$ Ы — ${}_2$ О — ${}_3$ И — ${}_4$ О; в II ${}_1$ О — ${}_2$ Ы — ${}_3$ О — ${}_4$ Ы).

Кроме того, на фоне внутренней однородности всего комплекса ударных гласных во всем тексте ([о], [а], [и/ы]), первая строфа противопоставлена второй и количественно, и качественно наличием двух «избыточных» ударных [э].

3

Грамматическая и синтаксическая структура «Горных вершин» пронизана множеством антирез и сближений.

Первая строфа состоит из двух предложений, занимающих полное двустушие и практически аналогичных по структуре. Симметрия дистихов очевидна. Каждый стих второй строфы представляет собой отдельное предложение, причем все четыре структуры подобны (с единственным исключением в третьей строке).

Оба предложения первого катрена распространены (в каждом по три второстепенных члена). Все четыре предложения второго катрена, кроме третьей строки, нераспространенные: естественно, что здесь нет и форм косвенных падежей, в то время

как в первом они представлены предложным (2*во тьме ночной*) и творительным (4*свежей мглой*), причем опять-таки в симметричных позициях. Последовательность главных членов в предложениях двух катренов взаимно противоположна.

Как уже отмечалось, нечетные стихи первой строфы (1*горные вершины*; 3*тихие долины*) называют субъекты, четные — предикаты. Рифмующиеся слова, обозначающие субъекты, — почти прямые антонимы [1*вершины* — 3*долины*]. Определяющие их прилагательные [1*горные* — 3*тихие*], связанные с антонимами, «обрастают» в таком контексте дополнительными антитетичными отношениями, не свойственными им в изолированном языковом употреблении.

Таким образом, между нечетными стихами — субъектами ус-танавливаются отношения лексической антонимии (напомним, что ритмически они идентичны). Четные же строки — предикаты, напротив, содержательно синонимичны: (2*спят во тьме ночной* — 4*полны свежей мглой*) — они констатируют уже известное состояние сна и абсолютного покоя, при этом, с точки зрения семиотики, синонимичны и означаемые обоих дистихов первой строфы.

Особого упоминания заслуживает тонкая игра пространственными категориями, с помощью которой как бы «сшивается» внутренняя структура обеих строф и в то же время строфы как целое противопоставляются друг другу. Лермонтов достигает здесь почти кинематографического эффекта при исключительном лаконизме.

1«*Горные вершины*» — это как бы «взгляд вверх», 3«*тихие долины*» — взгляд вниз. Указаны предельные точки земной поверхности, доступные глазу; разворачивается полная вертикальная панорама мира с ясно обозначенной оппозицией «верх-низ». В сущности, это один из столь частых у Лермонтова «космических», надчеловеческих пейзажей — состояние абсолютного покоя носит здесь почти вселенский, буквально мета-физический характер, сон охватывает весь мир, царит «везде» и «нигде», «вверху» и «внизу». Помимо оппозиции «верх-низ», любопытна еще одна, более глубокая антитеза физического состояния «действующих субъектов»: «вершины» «спят во тьме», т. е. погружены во тьму, окутаны ею; «долины», наоборот, наполнены, залиты мглой.

Два начальных стиха второй строфы, как мы убедились, продолжают «метеорологическую» констатацию первого катрена. Однако оппозиция «верх-низ» в этих стихах зеркально перевернута: 1«*дорога*» — взгляд вниз, 2«*листы*» — взгляд вверх, причем пейзаж не просто приземляется — он опредмечивается, из мета-физического превращается в физический, телесно-ощутимый. Впервые возникают объекты, доступные не только глазу, но и человеческому прикосновению (дорога, листы).

В отличие от предикатов первой строфы, предикаты «не пылит», «не дрожат» носят совершенно земной, грубо-физический характер. Начальные стихи второй строфы, по контрасту с первой, предсказывают и готовят возникновение мира человека, ко-

торый со всей силой звучит в двух финальных стихах — в обращении «подожди» и двусмысленном обещании «отдохнешь» — оба эти глагола прямо подразумевают лицо — респондента.

Отметим и своеобразный «контрапункт», оживляющий и раздваивающий структуру «Горных вершин»: при слуховом восприятии стихотворение как бы дважды делится двумя разными способами. Ритмически и грамматически текст явно распадается на два отталкивающихся четверостишия: в первом — абсолютный надчеловеческий покой мира, во втором — инверсия покоя, сон-смерть мира человека. С другой стороны, две начальные строки второго катрена содержательно примыкают к первому, развивая «метеорологический» мотив «тихой, безветренной ночи». Текст, таким образом, может быть поделен иначе на две несимметричные части: шесть начальных строк собственно «метеорологических», и две последних — медитативные. Схематически этот «контрапункт» можно изобразить так:

I	1	I	1	
	2		2	
	3		3	— «метеорологический мотив»
	4		4	
			5	
			6	
II	1	II	7	
	2		8	— вывод — медитация
	3			
	4			

Одновременное созерцание двух различных «способов деления» текста создает дополнительное напряжение структуры и усиливает «взрывную» силу финальных стихов.

При этом особая связующая, двойственная роль начальных строк строфы II, которые попадают то в первую, то во вторую часть, подкреплена глубокой паронимазией, вообще редкой у Лермонтова, но здесь очень явной:

II ₁Н'ь пыЛ'ИТ Д АРог ь
₂Н'ь ДРАжат Л'ИСТЫ

4

«Взрывной» характер финальных стихов, уводящих неброскую пейзажную зарисовку в темные сферы медитации, разнообразно подготовлен грамматической фактурой текста. Первый катрен, рисующий состояние покоя, насыщен прилагательными (их 4 — по одному на каждый стих, плюс краткое предикативное «полны») и имеет лишь один глагол «спят». Второй катрен,

напротив, лишен прилагательных и перегружен глаголами — по одному в каждом стихе. Вообще говоря, прилагательные — это описательность, глагол — действие. Следовательно, на грамматическом уровне первая строфа статична, описательна, вторая — динамична, насыщена действием. Однако последовательность глаголов текста обнаруживает любопытный парадокс.

спят	—	несов. вид, наст. время	
не пылит	—	«-»	«-»
не дрожат	—	«-»	«-»
подожди	—	Imperativ	
отдохнешь	—	сов. вид,	буд. прост.

Цепочка глаголов открывается словом «спят», означающим бездействие. Глаголы II, *1не пылит*, *2не дрожат* имеют отрицательную форму, т. е. фактически означают «отсутствие действия», контекстуально передают все то же состояние покоя. Лексическая семантика императива II *3подожди* связана с идеей «отложенного действия», паузы, замирания. Замыкает цепочку глагол II *4отдохнешь*, смысл которого — опять-таки «бездействие». Иными словами, грамматически текст, как бы «набирая глаголы», «втягивает» нас в действие, а лексически устремляется в бездействие, завершающееся полным покоем сна — смерти.

Эта же цепочка наглядно демонстрирует устремленность всего текста к слову «отдохнешь» и его грамматическую выделенность. Несовершенный вид настоящего времени первых трех глаголов передает процесс, немаркированный во времени (парадоксально, что процесс здесь — это состояние бездействия). Затем — резкий грамматический «скачок»: императив совершенного вида, *3подожди*, выпадающий из категории времени и вводящий в текст человеческий аспект. Финал — перфект будущего времени «отдохнешь» (единственный в тексте), ставящий точку и завершающий движение грамматически, содержательно, композиционно.

Финальное двустипие в целом противопоставлено всему тексту стихотворения единичностью грамматических форм: только здесь используются императив (*3подожди*), наречие (*3немного*), совершенный вид будущего простого (*4отдохнешь*) и личное местоимение (*4ты*).

Ключевой глагол «отдохнешь», этимологически связанный с понятием «вздых», «дыхание», «воздух», «дух», неброско «предсказывается» фонетическими комплексами второй строфы:

1ДАрогь — 2ДРАжат — 3пъДАжг'и — 4ъгДАхн'ош.

5

Отдельных замечаний заслуживает единственное местоимение, замыкающее текст «Горных вершин», — II *4Ты*.

Как известно, местоимения представляют собой не совсем обычный класс слов, которому нередко отказывают в статусе особой части речи (например, А. А. Пешковский).

Не вдаваясь в лингвистическую дискуссию, можно констатировать, что, с точки зрения семиотики, местоимение есть знак, не имеющий означаемого в изолированном употреблении. Полноценным знаком местоимение становится либо благодаря контексту, либо интертекстуально, т. е. при подключении экстралингвистических, ситуативных знаков (жестов, мимики и т. д.). Употребляя местоимение, говорящий окружает его контекстом, «подставляет» временное означаемое, и именно этого и ожидает от него слушающий в стандартной ситуации общения.

В тексте «Горных вершин» местоимение «ты» использовано с виртуозной парадоксальностью.

II 4 «Отдохнешь и ты...». «Ты» — это, собственно, кто? Читатель? Автор? Некто третий, пятый, десятый? Вообще говоря, это кто угодно, и все мы, и никто. Можно вспомнить известное стихотворение Лермонтова «За все, за все Тебя благодарю я...», где местоимение пишется с заглавной буквы, а текст адресуется боже-ству, однако подобные сближения завели бы нас слишком далеко.

Мощное завораживающее воздействие последней строки «Горных вершин» объясняется, помимо прочего, еще и эффектом «обманутого семиотического ожидания»: местоимение помещено в контекст, однако неопределенность не снята, означаемое не указано. «Ты» становится в буквальном смысле знаком знаков, то есть знаком с бесконечным множеством или нулем означаемых, что порождает тревожное и пугающее ощущение неуловимости, ускользания смысла.

Текст «Горных вершин» с единичным стертым тропом (I 1 *вершины... 2 спят*) и парой слов в трафаретно-переносном значении (I 3 *тихие долины...*, 4 *свежей мглой*) не содержит практически никаких традиционных признаков «художественности». Он толкует о тайнах бытия и небытия с помощью виртуозного использования разнообразных грамматических средств.

Алексей Антонов

ОПЫТ ЛИТЕРАТУРНОГО СЫСКА

Фрагмент

...что же до реализма, так ведь это — как посмотреть. Где уж тут реализм, если самая разнокалиберная нежить (не к ночи будь и помянута) хороводится и клубится на страницах нашей классики. Завелась она, конечно, у Пушкина (с Пушкина, как известно, начинается все в русской литературе, включая и самое русскую литературу) и выглядела поначалу довольно безобидно: «Это, видно, кости гложет краснотубый вурдалак...» Дальше пошло гуще. Дальше — гоголевский шабаш: русалки, упыри, ведьмы. Вий. А следом — мелкотравчатые мефистофели, разговаривающие коты (и куда прежде шалуна Бегемота — лесковский, из «Леди Макбет...», с усами, как у оброчного бурмистра), прочие недотыкомки. Словом, чертовщина с дьявольщиной.

Но ведь и это, опять же, — как посмотреть. Чем черт не шутит, а вдруг тут-то и сокрыт «реализм в высшем смысле»? Чужаки, должно быть, классики, как вьется над Россией нечисть. Предполагали, должно быть, что добром не кончится. Оно и не кончилось. Кончилось, как и было предсказано, геенной огненной. Когда же поутихло и поулеглось, когда чуть прогорело и угли подернулись пеплом, когда стала даже устанавливаться эдакая призрачная видимость якобы мира и согласия, — появились в президиумах и на трибунах перед изумленным народом-богосломом такие хари, что только чур меня, чур!

И тут — любопытный психологический штрих. Казалось бы, беспрестанное мельтешение перед глазами бесов во плоти должны отвадить владеющих пером от высасывания бесов из пальца. Ведь вот они мы — настоящие. Живописуйте с натуры! Так нет. Переговорит, к примеру, по телефону Михаил Афанасьевич с Иосифом Виссарионычем, вдохновится — и к столу, к секретному роману о том, как прибыл в Москву сатана со свитой. Да сатана не какой-нибудь аллегорический, не с кавказским, скажем, акцентом, а самый что ни на есть, из ада. То бишь высосанный на все сто.

Понятно, что речь заходит о последнем шедевре нашего подопечного. И понятно, что не сплошь там все о дьяволе. Это — роман многоплановый или, как говаривал другой наш подопечный, полифонический. Есть в нем и — «в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой...» Есть и — «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает

убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!» Грамотно сказано. Но есть и другие, настоораживающие, интонации: «шел тяжелый гул самых невероятных слухов», «было большое брожение умов», «меры к ее поимке были, конечно, приняты немедленные и энергичные, но, к великому сожалению, результатов не дали...» Когда-то что-то подобное уже было читано. Только вот — где?

Темный этот пласт залегает на самом дне романа и наружу выходит лишь к эпилогу. Над ним — «пилатчина» и Маргарита. Еще выше — «жутко свинячащий в последнее время» Степа Лиходеев и румяногубый, пышнощекий («порционные судачки а натюрель») Амвросий-поэт. Там, наверху, царят определенность и рельеф. Илиада. В глубине же все зашифровано и вывернуто наизнанку, размыто или намечено тончайшим пунктиром. Господин Булгаков — хотя и пишет вовсе не затем, чтобы печататься — предельно бдителен: тщательно обрывает кое-какие, тянущиеся в прошлое, ниточки. И человека можно понять. Ведь не приведи Господи заведутся в ящиках его стола долгоносые литературоведы в штатском, адепты компаративного метода. Смертельно опасно дать им учуять, откуда до боли знакомая интонация просочилась в роман.

Однако наш подопечный явно недооценивает возможностей курирующей его организации. Здесь... (*зачеркнуто*) Там достаточно квалифицированных литературных консультантов и экспертов по особо важным делам с медалями и родословной, которые, только лишь заслышав о «невероятных слухах» или тем паче о «брожении умов», подберут впалые животы, замрут в стойках и внюхаются... Крамольный дух, действительно, густ. Но не старой легавой суке утыкать нос в первый попавшийся след и сломя голову мчаться к Торгсину. Слов нет, со Смоленской тянет резко. Просто шибает в обе ноздри. Только отдает-то невиннейшим и в глубине души «нашим» «Золотым теленком», социально-близким «товарищем Бендером». Нет, тут нужно брать верхним чутьем. Положиться на озарение.

И что вы думаете? Озаряет. Они явились в Москву впятером: Воланд, Коровьев (он же Фагот), Гелла, Бегемот, Азazelло. Они — бесы. Впятером — пятеро — пятерка. Пятерка и бесы. Разве никакой искры не высекает в мозгу столкновение этих слов? Разве ничего не слышит в них интеллигентное русское ухо? Ну конечно же он, архискверный Федор Михайлович, автор самого махрового из всех реакционных романов наших.

Но каков хитрец, однако, наш подследств... (*зачеркнуто*) подопечный! Как изобретательно и последовательно табуирует он самый термин! «Дьявол», «черный маг», «сатана», «черт» — все, что угодно, встретишь в романе, только не «бес». Такой увертливый материал любопытно и разрабатывать. Да только и тут (как, впрочем, при желании, везде) можно нащупать ниточку. Помнится, «глумятся» «бесы» подле спящего Алексея Турбина в «Белой гвардии». А в «Мастере и Маргарите» уже на второй странице читаем, что у персонажа Коровьева «физиономия, прошу заме-

тить, глумливая». И чуть дальше — опять. «Ты что же это, глумишься надо мной?» — кричит Иван Бездомный втируше-регенту. Косвенная, а улика.

Эдак-то, по мелочи, наберется, пожалуй, не одна дюжина совпадений. И главное среди них — конечно, сюжет (хоть какая уж сюжет мелочь?): появились, наскандалили, обделали под шумок свои темные делишки — и сгинули. А уж скандалы эти — под оркестр — похожи, как две капли воды. Вот — у Федора Михайловича: «Но тут случилось одно скверное недоразумение: оркестр ни с того ни с сего грянул туш, — не какой-нибудь марш, а просто столовый туш, как у нас в клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чье-нибудь здоровье».

А вот — у Михаила Афанасьевича: «...и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей марш. На мгновение почудилось, что будто слышны были некогда, под южными звездами, в кафешантане, какие-то мало понятные, полуслепые, но разудалые слова:

Его превосходительство
Любил домашних птиц
И брал под покровительство
Хорошеньких девиц».

У нашего подопечного скандал выходит даже побезобразнее, однако, возьмем поправку на всеобщее падение нравов.

Попутно можно порассуждать и в том направлении, что разгуливающий на руках человек (даже если он — участник «Кадрили русской литературы») явление почти столь же редкое, сколь и разгуливающий на задних лапах кот. И на этом основании заключить, что булгаковский шут Бегемот — суть трансформированный и впавший в полуживотное состояние шут Лямшин из «Бесов». Натяжка, конечно, но кто ж без греха?

Или обратить внимание на степень эмансипированности Геллы.

Или мимоходом сопоставить выдающуюся пронырливость Петра Степановича Верховенского, который, например, знает о Липутине, что тот «четвертого дня» на сон грядущий исщипал супругу, со сверхъестественной — Фагота. «Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах... и дома под полом двести золотых десятков», — дает он отчет о сбережениях буфетчика Сокова. Здесь налицо и традиция, и новаторство.

Или повнимательнее приглядеться к экзотическому слову «флибустьер», которое, кстати, встретишь далеко не в каждом русском романе. «Довольно! — восклицает в «Бесах» губернатор фон Лембке. — ...Флибустьеры нашего времени определены. Ни слова более. Меры приняты». Стоит ли уточнять, что флибустьерами обзвученный представитель власти называет бесов-нигилистов. А булгаковский «флибустьер» Арчибальд Арчибальдович одним из первых признает коллег и тоже «принимает меры».

Вот каких результатов можно достичь при разработке текста с помощью одного наружного наблюдения. (Если, конечно, за де-

ло берется профессионал.) Однако на этом пути легко погрязнуть в частностях, и поэтому важно вовремя остановиться, чтобы реконструировать ту цепочку тайных знаков, которую наш подопечный протягивает от своего романа к контрреволюционным «Бесам». Так сказать, в помощь просвещенному читателю. Получится: глумливая физиономия — флибустьеры — урежьте марш — скандал. И последнее звено — безумие.

Строго говоря, безумие — тема, заслуживающая специально-го расследования — вплоть до выделения в самостоятельное дело... (после слова «специального» все зачеркнуто) исследования. Где еще с ума сходят так часто, так легко и так естественно, как в «Бесах» или в «Мастере и Маргарите»? Где то и дело кусаются, бегают в белом по улицам, мечтают о принципах и о бронированных камерах? Николай Ставрогин, Иван Бездомный, Марья Тимофеевна Лебядкина, Жорж Бенгальский... Впрочем, скорбный этот список можно было и не приводить. Он всем известен. Ведь для нескольких поколений нашей инакомыслящей интеллигенции роман Булгакова служил своего рода Евангелием, а «Бесы» — катехизисом.

И ладно бы разума лишались только отдельные лица. Нет, оба автора питают какую-то труднообъяснимую, на первый взгляд, склонность к изображению надуманных и далеких от всякого реализма сцен массового, можно даже сказать — гипнотического, помрачения рассудка. Однако это — только на первый взгляд. Вчитавшись, здесь не так уж трудно обнаружить прозрачную аллегорию, которую, вслед за Достоевским, всячески развивает и наш подопечный. Ведь что, собственно говоря, преподносится доверчивому читателю под видом всех этих «Праздников» с продолжением и «Сеансов черной магии» с разоблачением (которое, к слову, под язвительным пером Булгакова приобретает буквальный смысл), как не перелицованная, на вкус авторов, евангельская притча о бесах, вошедших в стадо. Животные — помнит каждый, хоть понаслышке знакомый со Священным Писанием, — бросаются «с крутизны в озеро» и гибнут (Лук. VIII, 33).

И высшей степенью легкомыслия было бы рассматривать эпизоды безумия в романах Достоевского и Булгакова иначе, чем насланную бесами порчу. Бес Верховенский в совершенстве владеет отточенной технологией умопомрачения. Но, кажется, и в адской канцелярии Воланда под грифом «для служебного пользования» хранится несколько экземпляров «Катехизиса революционера». Во всяком случае, почерк Бегемота и Коровьева подозрительно напоминает почерк Петруши и его прототипа Сергея Геннадиевича Нечаева. Они ерничают и лгут, искушают и провоцируют. В их арсенале — сплетня и слух, взятка и донос. Совсем «по Нечаеву» поступает «неразлучная парочка» с «высокопоставленными скотами». Идеолог рекомендовал сперва выжать жертву, как лимон, — и из Варенухи выпивается кровь. А уж используя, вышвырнуть вон — и Степа Лиходеев оказывается в Ялте.

А чем прикажете объяснить пристрастие Бегемота и Коровьева к таким фирменным блюдам «Молодой России» и «Народной расправы», как пожары или фальшивые ассигнации? С трех концов загорается Заречье в «Бесах» — в трех концах пылает и булгаковская Москва. С потолка варьете сыплются фальшивые червонцы — и вот уже толпа, зараженная вирусом бесовщины, превращается в безумное стадо. Или убийства. У Достоевского казнь Шатова еще имеет практический смысл — склеить «пятерку» кровью. У Булгакова это — уже чисто ритуальное действие. Кровь доносчика, барона Майгеля, нужна не для «дела», а для бесовского обряда, без которого не сможет завершиться Великий бал сатаны...

Но довольно. И представленного здесь материала с избытком хватит любому суду, чтобы обвинить гражданина Булгакова в тайном следовании автору «Бесов» и тем самым зачислить его в лагерь мракобесов (да простят нам этот невольный каламбур). Конечно, не стоит и упрощать. Влияния Гоголя, Гофмана, Гете, Гуно, аллюзии с еретиками-альбигойцами и полемика с отцами-евангелистами, фантастика и гротеск — все это есть в поступившем на экспертизу тексте. Кто же спорит? Но пестрый и пышный этот наряд сшит на бесовско-достоевской подкладке...

Таким образом, — берет, наконец, слово прокуратура, — под самым нашим носом, в самом сердце нашей социалистической в целом культуры не просто жил, но и действовал не покладистый попутчик, а матерый и коварный враг-белогвардеец. Он только делал вид, что спешает за стальными рядами пролетарских писателей. Сам же, пользуясь благодушной рассеянностью отдельных инстанций, пытался под видом своих якобы фантастических, сатирических или исторических писаний протасить в литературу и подsunуть народу, занятому в этот период подготовкой к Великой Отечественной войне, насквозь прогнившие и преданные справедливому забвению идейки ретрограда и охранителя, мракобеса и обскуранта Ф. М. Достоевского (1821—1881), который, пользуясь темнотой и отсталостью большинства населения сермяжной и лапотной, пореформенной, но дореволюционной России, в своих плоских, злобных и бездарных произведениях высмеивал томящихся в это время в тюрьмах и ссылках героев второго этапа русского освободительного движения, названных Герценом «молодыми штурманами будущей бури»; который призывал «умный, бодрый наш народ» (Грибоедов) к истерическому покаянию, омерзительному смирению и рабской покорности; который, в то же самое время, строил агрессивные захватнические планы, склонял царизм (а в его лице — нарождающийся российский империализм) к отторжению от нашего южного соседа Турции вождедеемых им проливов вместе с так называемой столицей восточного христианства — городом Истамбулом; которого, между прочим, с большой помпой проводила в последний путь вся православная церковь; и которого не за красивые же глаза превозносит до небес буржуазный Запад...

Мы вынуждены признать, — вступает тут в бой защита, — что с нескрываемым интересом наблюдали за виртуозной и вы-

сокопрофессиональной работой следствия. Признаемся также и в том, что на какое-то мгновение и нас захватил, закружил и поверг ниц могучий, как смерч, обличительный пафос обвинения. Что ж, кажется, осталось только преклонить колена перед талантами глубокоуважаемых коллег и, немея от восторга, воскликнуть (используя, кстати, выражение нашего подзащитного): «Мы в восхищении!..»

Мы отдаем должное той изобретательности, которую проявил следствие, рисуя высокому суду фантастическую компанию, придуманную нашим подзащитным в часы досуга, в виде эдакой революционной пятерки, «склеенной» кровью невинных Берлиоза и Майгеля. Пытаясь в меру своих скромных сил развить эту увлекательную тему, мы без труда пришли к выводу, что в данной, с позволения сказать, подпольной организации весельчаку Бегемоту отводится роль Лямшина, вышибала Азазелло выполняет функции прапорщика Толкаченки, люмпен Фагот играет в параллель с Петрушей Верховенским, а черного мага Воланда, видимо, прочат в Ставрогини. Но в чем же наши коллеги видят здесь сходство? Что они инкриминируют персонажам нашего подзащитного? Чего больше в их искусных построениях — скрупулезного и объективного анализа или того безответственного наскока, который они определяют туманным термином «озарение»?

Чтобы ответить на эти вопросы, выхватим для начала наугад какой-нибудь один из груды вываленных перед нами аргументов. Выберем, конечно, поярче и поубедительнее. Вот, например, нам пытаются внушить, что Бегемот и Коровьев широко применяют в своих деяниях революционную тактику С. Г. Нечаева, поскольку используют в корыстных целях «сплетню и слух, взятку и донос». Но помилуйте, ведь, рассуждая подобным образом, нетрудно записать в «нечаевцы» чуть не пол-России. Кто же у нас не берет, не сплетничает, не распускает слухов и не доносит?

Или проанализируем поспешное, на наш взгляд, заявление о сюжетном сходстве предъявленных текстов. Следуя логике наших оппонентов, мы беремся тут же, не сходя с места, обнаружить подобное же сходство между реакционным романом Ф. М. Достоевского и дюжиной других произведений, уже ставших нашим национальным достоянием. «Появились, наскандалили, обделали под шумок свои темные делишки — и сгинули»? Но разве не тем же самым занимаются Онегин в деревне, Печорин и в отпуске, и по месту службы, Хлестаков, Чацкий, Чичиков, Базаров... Вынуждены напомнить, что на языке науки такие скандалы именуются конфликтами и обязательны для подавляющего большинства как прозаических, так и драматических произведений.

Но пусть, пусть наши оппоненты правы, и некая «тайная связь», некая отдаленная переключка между двумя романами все-таки существует. Как, однако, прикажете быть с тем непреложным историческим фактом, что к моменту прибытия Воланда в Москву пресловутые «бесы» сочинения покойного Достоевского одержали там полную и окончательную победу и переместились

из романтического подполья (блестяще, кстати говоря, описанного нашим подзащитным в идеологически выдержанной и политически грамотной пьесе «Батум») в обрамленный пунцовым бархатом президиум? Выходит — своя своих не познаша? Не узнают сатану на Патриарших прудах мелкие бесы Берлиоз и Бездомный, что легко объяснить обычной человеческой глупостью. Но как объяснить, что всеильный и всеведущий Воланд обрушивает гнев на младших товарищей, бьет, что называется, по своим? И это уже не говоря о симпатиях, которые дьявол питает к консервативному Мастеру и аполитичной Маргарите. Воля ваша, но Воланд и его компания предстают в изображении нашего подзащитного как сила, вне всякого сомнения, идеалистическая — и только воспаленный ум может усмотреть в этих наивных фантазиях какую-либо политическую подоплеку.

Приходится с сожалением констатировать, — переходит защита к выводам, — что версия, на создание которой затрачено столько рвения и сил, при первом же испытании рассыпается в прах. Перед нами не идеологический диверсант, а старорежимный чудак, эдакий беспартийный мечтатель, деятельность которого, бесспорно, заслуживает общественного порицания, но — не юридического наказания...

О, приемы либеральной адвокатуры стары, как мир! Чтобы доказать невинность своего подзащитного, она готова даже его оскопить... Но попробуем взглянуть на вопрос объективно. Действительно, шайка Воланда предстает в романе «частью той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Действительно, бесы побивают бесов, Берлиоз и Бездомный не узнают сатану, отказывают тому в существовании. «Нету никакого дьявола!» — заявляет атеист Иванушка дьяволу же в лицо. Но это ли не апофеоз отрицания? «О, дайте взрасти поколению!» — заклинал в свое время Петр Степанович Верховенский. И вот — взросло.

Не новичок в богословии (смотри папку «Родственные связи»), Булгаков как бы подсказывает читателю, что Бог отвернулся от России, и Князь Тьмы волей-неволей занял его место. А потому вынужден уже не столько искушать, сколько сдерживать и блюсти меру, хотя бы и в бесовщине.

Однако настало время высказать решающий аргумент, касающийся...

СОДЕРЖАНИЕ

Самуил ЛУРЬЕ. Из речи на церемонии вручения Литературной премии имени Петра Андреевича Вяземского. <i>Санкт-Петербург, 20 октября 1997 года</i>	6
Александр ЛЕОНТЬЕВ. Сафо и Алкей. <i>Стихотворения</i>	10
Сергей ДЕНИСЕНКО. Кот на котурнах	15
Денис ДАТЕШИДЗЕ. В поле местоимений. <i>Стихотворения</i>	50
Владимир СИМОНОВ. Белые ночи	60
Василий РУСАКОВ. <i>Стихотворения</i>	84
Юрий ЯКИМАЙНЕН. <i>Рассказы</i>	88
Михаил ОКУНЬ. <i>Рассказы</i>	93
Влад ПЕНЬКОВ. <i>Рассказы</i>	103
Сергей СИГЕЙ. Бесетка Садаря	107
А. Э. ХАУСМАН. Избранные стихи. <i>Перевод с английского, вступительная заметка и примечания Алексея Кокотова</i>	121
Игорь БАХТЕРЕВ. Лу. <i>Вступительная заметка Сергея Сигея. Послесловие Анны-Ры Никоновой-Таршис</i>	138
Александр КОНДРАТОВ. Происхождение жизни. <i>Мистерия-моралитэ</i>	152
Айн РЭНД. Гимн. <i>Перевод с английского Д. В. Костыгина. Предисловие Сергея Бернадского</i>	166
Валерий ХАЗИН. Хрестоматийный Лермонтов	201
Алексей АНТОНОВ. Опыт литературного сыска. <i>Фрагмент</i>	209

**Выходит в свет
пятнадцатый выпуск альманаха:**

*Главы из «букеровского» романа
Андрея Сергеева «Альбом для марок»;
проза Леонида Гишовича «7-го июля»;
граматургия Игоря Померанцева;
стихи Дмитрия Зернова,
Алексея Машевского, Алексея Пурина,
Бориса Рыжего и Александра Шаталова;
рассказы Владимира Саговского
и Юрия Шилова;
эссеистика Вадима Демидова
и Кирилла Кобрина;
исследование Валентины Моргерер
и Григория Амелина
о поэтике Пастернака;
сегодняшний «литературный быт» —
в «Стилизованном дневнике»
Алексея Кирдянова.*

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

*Стихи Дениса Датешигзе,
Александра Леонтьева и Василия Русакова;
прозу Сергея Денисенко, Михаила Окуня,
Влада Пенькова, Сергея Сигея,
Владимира Симонова, Юрия Якимайнена;
из наследия Игоря Бахтерева
и Александра Кондратова;
переводы стихотворений
А. Э. Хаусмана и прозы Айн Рэнд;
исследования
Алексея Антонова и Валерия Хазина.*